М. А. АЛДАНОВ — УЛЬМСКАЯ НОЧЬ

М. А. АЛДАНОВ

Ульмская ночь



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

М. А. АЛДАНОВ

Ульмская ночь

ФИЛОСОФИЯ СЛУЧАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1953

NIGHT IN ULM

by

Marc Aldanov

Printed in the U.S.A.

ОТ АВТОРА

Форма диалога почти вышла из употребления в философии и даже, быть может, подает, если не основания, то повод для упрека в «дилетантизме». Ей свойственны, однако, и некоторые преимущества. Разумеется, философский диалог имеет мало общего с разговором в романе или в театральной пьесе. Он по природе условен: в жизни люди не говорят длинных речей, не приводят длинных цитат. Автор считает возможным еще усилить условность выбранной им, по разным соображениям, формы тем, что в подстрочных примечаниях дает ссылки на цитируемые книги. Зато эта форма освобождает его работу от стилистических эффектов, которые в философских книгах всегда казались ему особенно неприятными и недопустимыми. Она может также служить некоторым смягчающим обстоятельством для многочисленных «отступлений в сторону», составляющих один из важных недостатков книги.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Марк Александрович Алданов родился в Киеве, окончил в России университет по физико-математическому и юридическому факультетам, а также Парижскую «Ecole des Sciences Sociales». После октябрьской революции покинул Петербург и поселился в Париже. В 1941 г. уехал в Соединенные Штаты. В молодости много путешествовал и побывал в четырех частях света.

В России были опубликованы две его книги: «Толстой и Роллан» и «Армагеддон». Вторая была тотчас изъята большевиками из продажи. В «Журнале Русского Физико-Химического общества», в «Comptes rendus de l'Académie des Sciences» и в «Zeitschrift für physicalische Chemie» автор напечатал немало экспериментальных работ по химии. Ему же принадлежат следующие труды, вышедшие отдельными изданиями: «Законы распределения вещества между двумя растворителями», «Actinochimie» (Paris, Hermann, 1937) и «De la possibilité de nouvelles conceptions en chimie» (Paris, Hermann, 1951).

Книги Алданова переведены на двадцать четыре языка. В 1943 г. его роман «Начало конца» (по-английски «The Fifth Seal») был избран американским обществом «The Book of the Month» («Книга Месяца»). В 1948 г. роман «Истоки» («Before the Deluge») избрало британское «Book Society» («Общество книги»).

С серией исторических и современных романов, которую заканчивает изданный Чеховским издательством роман «Живи как хочешь», новый читатель может озна-

комиться в следующем порядке: «Пуншевая водка» (1762 г.); «Девятое Термидора» (1792-4); «Чортов Мост» (1796-9); «Заговор» (1800-1); «Святая Елена, маленький остров» (1821); «Могила Воина» (1824); «Десятая Симфония» (1815-54); «Повесть о смерти» (1847-50); «Истоки» (1874-81); «Ключ» (1916-17); «Бегство» (1918); «Пещера» (1919-20); «Начало конца» (1937); «Живи как хочешь» (1948). Хотя каждый роман совершенно самостоятелен, все эти книги многое связывает, — от общих действующих лиц (или предков и потомков) до некоторых вещей, переходящих от поколения к поколению.

УЛЬМСКАЯ НОЧЬ

ФИЛОСОФИЯ СЛУЧАЯ

I

ДИАЛОГ ОБ АКСИОМАХ

Л. — В одном из наших разговоров вы употребили выражения «Ульмская ночь» и «Картезианское состояние ума». Второе, по вашему мнению, лучше звучит по-французски: «Etat d'ésprit cartésien». Не поясните ли вы, что вы под этим разумеете?

А. — Об Ульмской ночи вы можете прочесть у Байе. Как вы знаете, этот писатель 17-го века в сущности единственный настоящий биограф Декарта, — что без него делали бы все другие? 30 августа 1619 года состоялась во Франкфурте коронация германского императора Фердинанда II. Молодой Декарт был там в качестве «туриста». Ему хотелось «раз в жизни увидеть то, что там происходило, и узнать, как пышно ведут себя на театре Вселенной первые актеры этого мира», — говорит Байе[1]. Оттуда он отправился в Ульм. «Он оказался в глухом месте, весьма мало посещаемом людьми, устроил себе одиночество, которое могла ему дать его бродячая жизнь... Целый день он проводил взаперти, в избе, где имел достаточно времени, чтобы собрать мысли. Вначале это была лишь прелюдия воображения. Он смелел постепенно, переходя от идеи к идее. Свобода, данная им своему, не встречающему препятствий гению, незаметно привела его к опровержению всех других систем. Он решил раз навсегда отделаться от всех своих прежних взглядов... Огонь овладел его мозгом. Он впал в состояние восторга..., его стали посещать сны и видения. Декарт говорит

---

[1] Adrien Baillet, *Vie de Monsieur Descartes,* Paris, s. d., pp. 29-38. (Первое издание этой книги вышло в 1691 году).

нам, что 10 ноября он лег спать в состоянии крайнего энтузиазма. Ему показалось, что в этот день он постиг основы изумительной науки. Ночью ему снилось..., что Бог указывает ему дорогу, по которой следует направить жизнь в поисках правды»... «Можно было бы подумать, — добавляет наивно Байе, — что он вечером выпил перед тем, как лечь спать. И действительно это был канун дня святого Мартина, когда и там, как во Франции, люди обычно кутят. Но он уверяет нас, что провел день в трезвости и в последний раз пил вино за три месяца до того»... Сокращаю цитаты и прошу вас извинить неуклюжесть перевода: я здесь, как и в дальнейших переводах, приношу слог в жертву дословности. Осталась и краткая, не очень понятная, запись самого Декарта об этой ночи 10 ноября: «Cum plenus forem enthusiasmo et mirabilis scientiae fundamenta reperirem». И еще — повидимому, о той же ночи: «Coepi intelligere fundamenta inventi mirabilis»[2]. Больше ничего, никаких разъяснений. Как вам известно, он был таинственный человек. Говорил: «bene vixit bene qui latuit», — «хорошо жил тот, кто хорошо скрывал». Быть может, он в Ульмскую ночь сделал величайшее из своих научных открытий: открыл аналитическую геометрию. Но еще гораздо вероятнее предположение, что ему тогда впервые представилась вся созданная им позднее философская система. Возможно, в связи с ней, он наметил и свою жизненную программу, маленькой частью которой позволительно считать и только что приведенное мною латинское изречение. По-моему, всё это могло произойти одновременно, — у него ведь всё было связано, от его интереса к розенкрейцерам до великих математических открытий. Во всяком случае, тут остается место для фантазии исследователей. А это отчасти

---

[2] «Когда я был полон восторга и открыл основы изумительной науки»... «И начал я понимать основы открытия изумительного». (*Oeuvres de Descartes*, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Paris, vol. X, p. 179).

может оправдать несколько произвольный, отрывочный характер нашей первой беседы, которую я считаю как бы введением: мы поневоле должны будем в ней перебрасываться от одной темы к другой, оставляя обоснование для следующих бесед. Если мое понимание Ульмской ночи правильно, то первый связанный с ним вопрос относится к основному, к тому, из чего всё вытекает: к *аксиомам* в разных областях. Существуют ли они? Как их теперь понимают или как должно было бы понимать? Что от них осталось? Это вопрос важнейший и не только в картезианстве. Мы его вынуждены будем коснуться уже в первой беседе, и я заранее прошу извинить и ее беглый характер, и краткие ссылки на мнения авторитетов, и обилие цитат, которое может (боюсь, справедливо) показаться вам неприятным. Другого выхода у меня нет. В разговоре с ученым специалистом я, естественно, хочу избежать упрека в «дилетантизме» и в том, что черпаю сведения «из вторых рук».

Л. — Соглашаюсь и на это, хотя, при некоторой недоброжелательности, именно в обилии, а не недостатке, цитат можно порою усмотреть признак дилетантизма. Правил нет, и это никакого значения не имеет. Думаю, однако, что по тем сведениям об Ульмской ночи, которые вы привели, довольно затруднительно говорить о «картезианском состоянии ума». Между тем, вы, очевидно, склонны были бы сделать место паломничества из той избы, где Декарт провел эту ночь, — еслиб это место было точно известно. Его приведенные вами записи можно толковать более просто и более узко: вероятно, дело шло именно о каком-либо одном научном, скорее всего математическом, открытии.

А. — Тогда он не говорил бы об «опровержении всех других систем» и об «отказе от всех своих прежних взглядов». Да и тон этих записей, вероятно, был бы менее вдохновенным.

Л. — У знаменитых ученых, особенно у математиков, даже у не столь великих, как Декарт, бывали минуты вдохновения, довольно близко напоминающие эту. Кантор в 1882 году писал Дедекинду: «Как раз после наших недавних встреч в Гарцбурге и Эйзенахе, по воле всемогущего Бога, меня озарили самые удивительные, самые неожиданные идеи о теории ансамблей и теории чисел. Скажу больше, я нашел то, что бродило во мне в течение долгих лет»[3]. Давно известно, что вдохновение ученого, по природе, не так уже отличается от вдохновения писателя или музыканта... Но предположим, что и «картезианское состояние ума» создалось в ту же ночь. В чём же оно заключается и должно ли вас считать сторонником Декарта?

А. — Я только один из его наиболее ревностных поклонников. В парижской Sainte Chapelle показывают статую с опущенной головой; согласно легенде, она когда-то была прямой, но благоговейно опустила голову, когда в этой часовне Дунс Скотт истолковал один из самых важных и сложных догматов. Я вспоминаю эту легенду, читая некоторые написанные Декартом страницы. В них, по-моему, достигла высшего напряжения научная и философская мысль, та способность пристального внимания, которую он считал главной особенностью научного творчества (кстати сказать, Толстой считал ее главной особенностью творчества художественного). После Декарта начинается снижение. Снижение даже — Спиноза, Юм, Кант, Шопенгауер, обычно забываемый Курно. Но «системы» Декарта больше нет. Да и в прошлом определить ее было бы не так легко. Курсы по истории философии сделали из этого человека машину для производства силлогизмов, «воплощение логики, ясности» и т. д. В

---

[3] Jean Cavaillés, *Préhistoire. La création de Kantor,* Paris, 1938, p. 63.

школьных учебниках часто признаются картезианскими все общие места. Декарт отнюдь не всегда образец «ясного» рассуждения. Конечно, «Discours de la Méthode», — особенно его первая глава, — шедевр и в этом отношении. Но *так* он писал не часто. Современники, напротив, считали его «очень темным философом», да он и сам в письме к переводчику «Принципов философии» советовал всем читать его книги по три раза, — при чем в первый раз «так, как читают роман» (чтó было бы довольно трудно). Вы не потребовали бы, даже от картезианца, принятия всех идей «Méditations», теории вихрей, или бесчисленных научных утверждений и гипотез, так щедро рассыпанных в 212 параграфах «Les passions de l'Ame». К тому же Декарт, как и Платон, давал в своих книгах, всё, вплоть до житейских медицинских указаний, объяснял, например, в них, отчего люди полнеют, отчего худеют. Разумеется, он и сам не все свои теории считал вечными истинами. Его книги как бы гениальная увертюра оперы; в них намечены мелодии философского и научного мышления трех столетий.

Л. — Вы предложили считать нашу нынешнюю беседу чем-то вроде введения. Я ничего против этого не имею: хотел бы с самого начала понять сущность вашей «философской системы».

А. — Конечно, вы употребляете эти два слова в ироническом смысле и вы совершенно правы, но правы не только в отношении меня. Я несколько сомневаюсь, чтобы можно было бы в наши дни построить «стройное мировоззрение». То же, что вы называете моей «философской системой», строится на идеях *случая и борьбы с ним, выборной аксиоматики и греческого понятия «Красота-Добро»*. О каждой из этих идей мы должны будем говорить особо.

Л. — Считаете ли вы эти три идеи картезианскими?

А. — Идею случая ни в какой мере. Идея «Красоты-Добра» создалась за два тысячелетия до Декарта. Что же касается выборной, «произвольной» аксиоматики, то, как мне кажется, он не раз ей следовал и в своих научных, и в своих философских работах (если у него можно отличать первые от вторых). В аллегорическое понятие Ульмской ночи я ввожу лишь *дух* его книг.

Л. — Я предпочел бы начать с разъяснения идеи произвольной аксиоматики. По-моему, не только Декарт не высказывал этой мысли, но ничто не может быть более, чем она, чуждым самой основе картезианства. Эта основа достаточно известна: пытливое методическое сомнение, беспредельная вера в разум, отрицание всяких «тайных свойств», необходимость проверять каждое положение, постановка слова «ergo» перед, казалось бы, достаточно очевидным «sum», стремление к «Mathématique universelle».

А. — Об Универсальной математике Декарт говорит в «Правилах для руководства разумом». Я очень рад, что вы сослались именно на эту книгу. Это, по-моему, после «Discours» самое замечательное из всех произведений Декарта. Она выше даже «Принципов философии», неизмеримо выше «Méditations». И в ней, как, впрочем, во многих других его произведениях кое-что приходится читать между строк.

Л. — Я предпочел бы между строк не читать и говорить только о том, что в книге, действительно, написано. В ней чуть ли не в самом начале сказано: «Всякая наука представляет собой знание достоверное и очевидное»[4]. В «Принципах Философии» Декарт идет еще дальше. Он говорит, что было бы весьма полезно считать *ложным* всё, подлежащее хотя бы какому бы то ни было сомнению[5].

---

[4] Descartes, *Règles pour la Direction de l'Esprit*, Règle II.

[5] Descartes, *Les principes de la philosophie*, I, 2.

А. — Таков был его *метод* работы. Однако, поскольку дело касается *существа* знания, вы не только между строк, но и в строках «Правил для руководства разумом» прочтете совершенно иное. Основное положение этой книги: «Единственные науки, свободные от лживости и недостоверности, это арифметика и геометрия». Но это положение тотчас, в том же самом «Правиле II», ограничивается: арифметика и геометрия лишь гораздо более достоверны, чем другие науки. И в сущности, главная гарантия их достоверности следующая: их положения чрезвычайно просты и чрезвычайно ясны. Эта мысль проходит и через другие книги Декарта: «верно» то, что ясно и просто. Дальше же о науке высказываются мысли горькие и иронические: «Я не придавал бы большого значения этим правилам, еслиб они были полезны лишь для разрешения суетных (vains) проблем, которыми имеют привычку забавляться в свои досужие минуты Вычислители (les Calculateurs) и Геометры. Еслиб это было так, то я думал бы, что мне удалось только заниматься пустяками, быть может, с большей тонкостью, чем это делали другие»... «Нет более пустого занятия, чем заниматься бесплодными числами и воображаемыми фигурами до такой степени, чтобы казаться замкнувшимся в познавании подобных пустяков»[6]. Это говорит один из величайших математиков всех времен. Заметьте, «Правила для руководства разумом», повидимому, одно из последних произведений Декарта. Оно осталось незаконченным и было напечатано лишь через полстолетия после его кончины. Есть основания думать, что оно должно было заключать в себе результат всей его мудрости. Но в течение всей своей жизни он сыпал гипотезами и теориями с такой легкостью, с какой этого никто из великих ученых никогда не делал ни до него, ни после него. Это было бы трудно по-

---

[6] Указания на эту сторону картезианизма есть у Мальбранша (*De la recherche de la vérité,* Oeuvres, Paris, vol. IV, p. 355).

нять, если не допустить, что он не очень верил в вечные аксиомы, что он считал все гипотезы и теории очень способствующими развитию науки. Паскаля чрезвычайно раздражали многочисленные, порою ни на чём не основанные и, как ему казалось, совершенно не нужные теории Декарта. В одной из отрывочных, кратких записей, вошедших в «Мысли», сказано: «Написать против тех, кто слишком углубляет Науки. Декарт. Не могу простить Декарту: он очень хотел бы во всей своей философии обойтись без Бога, но ему пришлось сделать так, что Бог дает щелчок для приведения мира в движение. А после этого, ему больше нечего делать с Богом... Декарт бесполезен и недостоверен. Надо сказать в общей форме (en gros): «Это происходит посредством фигур и движения, ибо это правда. Но объяснять, какие, и составлять машину, это смешно. Ибо это бесполезно, недостоверно и тягостно»[7]. Из последних строк этой заметки, сокращенно сделанной для будущей работы, в девятнадцатом веке создалось учение Эрнста Маха, быть может, самое стройное методологическое учение в истории науки, — принцип экономии мысли.

Л. — От него теперь ничего не осталось. Но, действительно, если уж говорить об аксиомах, то вы должны начать с математики, с точных наук и их методологии.

А. — Как видите, Паскаль, человек не слишком позитивистического склада ума, в этом несостоявшемся споре оказался позитивистом avant la lettre. Маховский принцип экономии мысли, как мы увидим дальше, был по существу только частным случаем *эстетического* подхода к науке: простота одна из форм «красивого». Вы правы в том, что новейшая физика, физика двадцатого столетия пошла по пути Декарта, а не Паскаля. Хорошо ли это или нет, покажет будущее. В 1910 году произошла острая, необычно

---

[7] Pascal, *Les Pensées*, 77, 78, 79 (по классификации Брюншвига).

резкая полемика между Махом и Планком[8], касавшаяся атомной теории и относительности движения. «Мах, — писал Планк, — не верит в реальность атомов. Быть может, со временем он или один из его учеников разовьет более плодотворную («leistungsfähiger») теорию, чем нынешняя... Я нисколько не буду удивлен, если один из сторонников Маха сделает великое открытие: реальность атомов именно и вытекает из экономии мысли. Тогда всё будет в совершеннейшем порядке, атомная теория будет спасена, и вдобавок окажется еще специальное преимущество: каждый будет в состоянии понимать под словом экономия всё, что ему будет угодно»[9]. Так, кстати, оно и случилось. По этому вопросу Планк (а за ним отдаленно Декарт) одержал полную победу. Атом стал реальностью, и некоторые антиатомисты, вроде Вильгельма Оствальда, признали свою ошибку. Иначе обстояло и обстоит дело с идеей относительности движения. Планк говорил о «совершенно бесполезной для физики мысли» («der physikalisch ganz unbrauchbare Gedanke»), согласно которой невозможно в принципе решить, вращается ли звездное небо вокруг неподвижной земли или же вращается земля. «Теория Маха оказалась совершенно неспособной оценить по достоинству огромный прогресс, связанный с появлением системы Коперника»[10]. Когда создалась теория Эйнштейна, ее автор, основательно или нет, признал Маха своим предшественником[11]. Но вы, повторяю, правы: наука последних тридцати лет идет

---

[8] См. более подробное обсуждение этого спора и научной эстетики Декарта в книге автора настоящего труда, *Actinochimie*, Paris, 1936.

[9] Max Planck, *Zur Machschen Theorie der physikalischen Erkenntniss*, Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie, 34, 1910, p. 505.

[10] M. Planck, Там же, стр. 56.

[11] Albert Einstein, *Ernst Mach*, Physikalische Zeitchrift, XVII, p. 107.

никак не по пути, указанному Паскалем и разработанному Махом[12]. Теперь Декарт торжествует по всей линии. Напомню, что знаменитая его гипотеза о glandula Cartesii, 32-ая статья «Les passions de l'âme», была основана лишь на одном, довольно сомнительном, доказательстве: все другие органы человеческого тела имеются в двойном числе: есть две руки, два глаза, два уха — и есть *одна* такая железка. Больше ничего. Современные физиологи, вероятно, столь же редко читают Декарта, как врачи — Гиппократа или адвокаты Юстиниана. Если бы читали, то, вероятно, должны были вздыхать при таком «доказательстве» — особенно лет пятьдесят тому назад. Теперь же физики бросают гипотезы тоже с весьма большой легкостью. Мы пережили славу и падение эфира, но, быть может, еще увидим его победоносное возвращение. На наших глазах возникли кривое пространство, переход энергии в материю и материи в энергию, самое модное учение о «борьбе с бесконечностью» — и одновременно с ним признавание бесчисленных триллионов обитаемых или необитаемых миров. В последние годы возникла новая наука, радиоастрономия. Оказалось, что в одной туманности Андромеды есть двадцать миллиардов *солнц*. Это должно было бы еще усилить человеческую скромность и непритязательность маленького существа на крошечной песчинке, на той планете Земля, о которой, по забавному замечанию Вилье де Лиль-Адама, «будут еще долго говорить». Однако, все чудеса созданного пять лет тому назад телескопа горы Паломар

---

[12] Н. О. Лосский в своем основном труде видит в учении Маха (о котором, впрочем, говорит там лишь попутно, уделяя много больше места Спенсеру и Авенариусу) попытку «возродить *материалистическое* миросозерцание, хотя и с идеалистическим оттенком, неизбежным при допущении интуитивного знания». (*Обоснование интуитивизма,* СПБ, 1908, стр. 145). — Нельзя не признать, что это замечание чрезвычайно уступает в силе и основательности данной Н. О. Лосским критике учения Спенсера.

никак не отразились на нашем «отвлеченном» мышлении, не отразились и на нашей «большой» и «малой» истории, на нашей повседневной жизни, они не мешают нам любить, ненавидеть, веселиться, огорчаться, делать карьеру, сплетничать.

Л. — Конечно, не мешают. И не всё ли равно, идут ли до земли какие-то волны, отраженные какой-то космической катастрофой, один год или миллионы лет! Действительно это ни на чем не может отразиться, и в самом деле о Земле еще «долго будут говорить». Во времена Паскаля радиоастрономии не было, а то же чувство было: «le silence éternel de ces espaces infinis m'effraye», — я в этой знаменитой фразе без выводов не люблю последнего слова: оно снижает и музыку, и силу первых слов. Быть может, Декарт и не «боялся».

А. — Но это чувство, вероятно, ослабляло в нем уверенность в прочности научных теорий... Теперь пишут об «атомах времени», что сказал бы Кант? В наше время «вечность» физических теорий едва ли превышает двадцать лет. Люди — иногда почти наивно — стремятся к «корню вещей», и принцип экономии мысли, как в его настоящем, глубоком смысле, так и в вульгарно-позитивистическом («об этом пока незачем думать», и т. д.) у большинства нынешних физиков отнюдь не в чести. Очень немногие из них требуют, как математик Эмиль Пикар, «возвращения к здравому смыслу», и совершенно неизвестно, правы ли они... Меня всё это здесь интересует лишь из-за корней, идущих от Декарта и его аксиоматики.

Л. — Вы говорите об аксиомах так, точно они представляют собой вещь хрупкую, над которой надо сделать надпись «fragile», как на ящиках с севрским фарфором. Впрочем, еслиб это было и верно, то аксиомы действительно следовало бы кутать и беречь, — аксиомы во всех областях: в государственной жизни «перемена аксиом»

может повлечь за собой потоки крови. Тогда пришлось бы, кстати, ввести и *иерархию* аксиом. Но, к счастью, всё это не так. Есть вечные научные истины, есть факты, которые от человеческого сознания и не зависят. Северный полюс был фактом и до того, как его впервые увидел Пири. Внутренние явления человеческого глаза были фактом до того, как в живой глаз впервые в истории заглянул Гельмгольц при помощи изобретенного им зеркала. Точно так же есть и вечные аксиомы. Знаю заранее, что вы сошлетесь на не-эвклидовские геометрии, и такая ссылка будет неправильна: Лобачевский не отверг аксиом Эвклида, он лишь показал, что геометрию можно построить и на других аксиомах.

А. — Боюсь, что вы несколько смешиваете понятия. Но ваши слова и ваш пример лишь подтверждают то, что я сказал. В общежитии мы часто, в пояснение истин, говорим: «Это так же верно, как дважды два четыре». Многим ли, однако, известно, что Лейбниц именно стремился *доказать* это положение: «два плюс два составляют четыре»? А Анри Пуанкаре признал, что Лейбницево рассуждение нельзя считать доказательством: в нем есть только проверка (vérification), притом довольно бесплодная... Я лишь потому и позволяю себе — вероятно, к некоторому вашему удивлению — говорить о математических вопросах, что я немало занимался историей точных наук. Эта история, которой сами математики часто пренебрегают, в высшей степени поучительна. В ней же одна глава, история геометрии Лобачевского, точнее, история ее интерпретаций, пожалуй, самая поучительная из всех. Эту главу можно было бы разделить на несколько периодов: 1) Интерпретация первая: Лобачевский — психопат. Не думайте, что я шучу. Другой большой русский математик Остроградский, в ту пору гораздо более известный, чем создатель «Воображаемой геометрии», после ее появления заявил, что ее автора надо посадить в дом умалишенных. Такому отзыву, быть может, способствовало

то, что о Лобачевском в Казани ходили всякие анекдоты: у него было много причуд, он одевался как оборванец (какой-то иностранец, посетивший Казанский университет, принял его за сторожа и протянул ему начай серебряную монету, чем привел его в бешенство). На высоту собственно его поставил коронованный король математиков Гаусс, который ознакомился с его работой через четырнадцать лет после ее появления. Конечно, в дом умалишенных Лобачевского не посадили: всё-таки это был не двадцатый, а культурный девятнадцатый век. К тому же, правительство Николая I весьма мало интересовалось геометрией и не претендовало на ее понимание. Теперь у нас в России существует правительство, которое понимает геометрию, как и всё другое, и очень ею интересуется, как и всем другим. При нём Лобачевского легко могли бы посадить в концентрационный лагерь. 2) Интерпретация вторая: воображаемая геометрия — очень интересный математический фокус. 3) Интерпретация третья: может быть, эвклидовский постулат о том, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым, верен лишь для не слишком больших треугольников, а при треугольниках гигантских или же, при более усовершенствованных методах измерения, прав не Эвклид, а Лобачевский, и сумма углов треугольника меньше двух прямых. 4) Интерпретация четвертая, после Бельтрами: геометрия Лобачевского «реальна» на псевдосфере. 5) Интерпретация нынешняя (после Анри Пуанкаре): спорить о том, верна ли геометрия Лобачевского (или же геометрия Эвклида) всё равно, что спорить, «верна» ли метрическая система или же лучше в измерениях пользоваться футами и дюймами. Это сравнение, принадлежащее самому Пуанкаре[13], впрочем, едва ли очень удачно: метрическая система, почти везде заменившая прежние системы измерения, несомненно удобнее прежних. Здесь же новым словом была

---

[13] Henri Poincaré, *La Science et l'Hypothèse*, Paris, p. 67.

геометрия Лобачевского, в громадном большинстве случаев менее удобная, чем геометрия Эвклида.

Л. — Хронологическая ваша схема не совсем верна: вы не принимаете в расчет геометрию Римана с ее предположением, что сумма углов треугольника *больше* двух прямых. Эта геометрия (Феликс Клейн говорил даже о двух «возможных Римановских геометриях») очень способствовала успеху идеи русского геометра. Теперь Белл, вслед за Клиффордом, называет Лобачевского «Коперником геометрии»[14]. Между ним и польским астрономом есть, однако, разница: кажется, никто больше не доказывает, что солнце вращается вокруг земли; между тем, по свидетельству Пуанкаре, и в настоящее время многие математики попрежнему рассматривают воображаемую геометрию как логический курьез, а Французская Академия Наук еще и поныне каждый год получает работы, *доказывающие* постулат Эвклида.

А. — Я, действительно, несколько упрощаю хронологическую схему. Это отчасти связано с тем, что и у самого Эвклида вопрос об аксиомах не так уж прост. Сколько их он дал? Он с самого начала говорит о двенадцати аксиомах, но в некоторых дошедших до нас рукописях его труда одиннадцатая и двенадцатая находятся в перечне не аксиом, а вопросов[15]. Едва ли можно сказать с уверенностью, что сам Эвклид считал свою аксиоматику *единственной* возможной. Недаром он был учеником Платона. Доказательство посредством «сведения к абсурду» было приемом Эвклида, и *философская* заслуга Лобачевского заключалась в попытке не признавать абсурдом того, что таковым казалось Эвклиду и за ним сотне поколений ученых. Теперь нам даже трудно себе представить всю не-

---

[14] E. T. Bell, *Les Grands Mathématiciens,* Paris, 1950.

[15] *Les Elements de Géometrie* d'Euclide, traduits littéralement par F. Peyrard, Paris, 1809, p. 6.

обыкновенную смелость этой попытки: математики с тех пор ушли очень далеко, — не слишком ли далеко? Бертран Рессель, этот enfant terrible новейшей научной философии, будто бы сказал (я не нашел у него этих слов и цитирую не по первоисточнику): «Математика наука, где неизвестно, о чём идет речь, и неизвестно, верно ли то, что утверждается». Это, конечно, «бутада», — хотя без критики Ресселя и Уайтхеда теперь о смысле математических наук говорить было бы трудно. Известно ли вам, в каком положении находится математика сейчас? Белл, достаточно компетентный человек, пишет, что ее близкое будущее может предсказать «разве только пророк или седьмой сын пророка». Споры же новейших математиков и математических логиков и по тону иногда мало отличаются от политической полемики в газетах. Бруер говорил о «преступном поведении» своих критиков. Не решаюсь упоминать о новейших математических теориях, связанных с именем Бурбаки (я слышал, что это коллективный псевдоним группы математиков. Если это верно, то шутка довольно непонятная: до сих пор математика монмартрских шуток не знала). О них я, по недостаточности познаний, к сожалению, судить никак не могу: пытался читать Бурбаки — и просто ничего не понял. Но останемся в пределах той математики, которая всё-таки успела стать и стала классической. Пеано показал, и Рессель это принимает[16], что вся теория чисел строится на трех первоначальных идеях (primitive ideas): o; number; successor (из которых, кстати сказать, одной — нуля — древние математики не знали, что́ не мешало некоторым из них быть великими математиками) и на пяти первоначальных предложениях (primitive propositions). Философский их анализ завел бы нас слишком далеко, но, вопреки Ресселю, скажу, что эти предложения, в частности, третье

[16] Bertrand Russel, *Introduction to Mathematical Philosophy,* London, 1950, pp. 5-6.

(«No two number have the same successor»), *философского* анализа не выдержат, не выдержат, разумеется, как положения единственные и обязательные: новый Лобачевский мог бы создать новую теорию чисел. Иду еще дальше. Гильберт произвел в геометрии еще более глубокую революцию, чем Лобачевский, Риман и Больяи. Он оказал огромную услугу и математике, и теории познания, и научной методологии, и философии вообще. Не знаю, был ли он кантианцем, да в пору Канта эти проблемы едва ли могли быть поставлены. Но эпиграфом к своей основной работе Гильберт взял слово из «Критики Чистого Разума»: «Всякая человеческая наука начинается с интуиций, от них переходит к понятиям и кончается идеями». *Настоящая* геометрия «разъяснилась» только после его гениальных работ. Колерус правильно говорит, что Гильберт почти на вечные времена разъяснил сложнейший вопрос об основаниях геометрии, и называет его аксиоматику «одним из величайших шедевров всего 19-го столетия»[17]. Выразим основную мысль Гильберта его собственными словами: его цель заключалась в том, чтобы «выяснить, какие именно аксиомы, гипотезы и средства необходимы для доказательства геометрических истин»[18]. И, действительно, он объяснил или связал в одно целое структуру *всех* геометрий. Отбрасывая некоторые из аксиом, он получает из них любую. Математик, ему не сочувствующий, Племптон Ремсей, излагает учение Гильберта следующим образом: «Математика превращается в некоторый вид игры, ведущейся на бумаге при помощи ничего не значащих значков вроде нолей и крестиков... Поскольку каждый математик делает значки на бумаге, надо признать, что формалистическое учение содержит только правду; но трудно предположить, чтобы это была вся правда: ведь наш интерес в

---

[17] E. Colerus, *De Pythagore à Hilbert,* Paris, 1937, pp. 299-300.

[18] D. Hilbert, *Les principes fondamentaux de la géometrie,* Paris, 1900, p. 111.

символической игре, конечно, происходит от возможности дать смысл по крайней мере некоторым из делаемых нами значков и от надежды, что после придачи им смысла они будут выражать знание, а не ошибку»[19]. В этой критике видно огромное различие между таким человеком, как Гильберт, и математиком философски не одаренным (хотя, быть может, превосходным специалистом в своей области).

Л. — Вы хватаетесь за Гильберта для доказательства вашего положения о произвольности аксиоматики. Где же вы остановитесь? Как быть с областью точных наук, имеющих техническое применение? Мы живем в эпоху «суперсонических» аэропланов, атомных двигателей, гигантских циклотронов, чудовищных по мощи сооружений по использованию водной энергии. Каждое из этих великих достижений человеческой мысли и энергии состоит из тысяч приспособлений, которым должна быть свойственна совершенная точность (любая ошибка погубила бы всё дело), и которые основаны на твердых законах отдельных наук. Могло ли бы это быть, еслиб всё строилось на произвольных аксиомах? Тут несомненнейшие, нагляднейшие факты опровергают то, что вы говорите.

А. — При чем тут успехи современной техники и как можно было бы в здравом уме эти успехи отрицать? Величайшие технические создания могут существовать и существуют, несмотря на то, что в основе системы точных наук, которой пользуются для их создания и объяснения, лежат не-вечные гипотезы и произвольные аксиомы. Неплодотворных гипотез нет, каждая рабочая гипотеза плодотворна[20]. Вполне возможно, что через

---

[19] Frank Plumpton Ramsey, *Foundation of Mathematics*. The Encyclopaedia Britannica.

[20] См. об этом в работах автора, *Actinochimie,* Paris, 1936, pp. 31-45 и *De la possibilité de nouvelles idées en chimie,* Paris, 1950, pp. 10-16.

пятьдесят лет нынешняя теория циклотрона отпадет или будет основана на ином круге идей, но циклотрон Лауренса останется реальностью. Точно также атомная бомба есть самая трагическая реальность в истории, хотя процессы, на которых она основана, могут впоследствии получить и даже почти наверное получат другую интерпретацию. С давних пор существуют точные оптические приборы, телескопы становятся всё более грандиозными, но ведь создавались они при *разных* теориях света: эти теории не раз менялись, а при Галилее их собственно вообще не было. Если принять корпускулярную теорию света, то нельзя объяснить явлений интерференции и диффракции. Если принять волнообразную теорию, то непонятно явление фотоэлектричества. Если же остановиться на теории Луи де Брой, то мы вообще выйдем из пределов реального мира, как это признает и сам ее автор, считающий, что настоящий синтез еще впереди[21]. Не раз производились «круциальные» опыты для выбора между взглядами Ньютона и Гюйгенса — и они почти неизменно оказывались не совсем «круциальными». Трагедия физики именно в том, что в ней всегда «третье *дано*», и любое ее положение это временная ценность. Поскольку дело идет о теориях и гипотезах, ее гордое «Quo non ascendam?» приобретает разве лишь иронический характер: один Бог знает, куда еще мы «взойдем» на зло здравому смыслу, после кривого пространства и кривого времени!

Л. — По-моему, в высшей степени странно, да и просто невозможно, отделять гипотезы от научной практики. В пору второй мировой войны Эйнштейн написал президенту Рузвельту письмо с просьбой отпустить на работы по разложению атома огромные средства; они действительно и были Рузвельтом отпущены. В результате была

---

[21] Louis de Broglie, *Matière et Lumière*, Paris, 1937.

создана атомная бомба. А из чего же собственно исходил Эйнштейн? Преимущественно из своих идей о соотношении между массой и энергией. В вашем смысле, письмо Эйнштейна было торжеством картезианства. По-моему, оно еще замечательнее, чем вечно цитируемый в истории науки пример Леверрье. Вычисления показывают этому астроному, что в таком-то месте небесного пространства должна находиться какая-то неизвестная планета. По просьбе Леверрье, Галле наводит телескоп на это место: планета там, в 52 минутах от указанного пункта. Историки науки единодушно и справедливо считают этот факт изумительным. Но если бы планеты в указанном Леверрье месте не оказалось, то Галле потерял бы одну ночь наблюдений — и больше ничего. Между тем, если бы атомную бомбу создать не удалось, то пропали бы сотни миллионов долларов американского налогоплательщика и, пожалуй, мировая репутация Эйнштейна.

А. — В этом вы правы. И в самом деле из знаменитых физиков нашего времени Эйнштейн обладает умом наиболее картезианским (правда, лишь когда дело идет именно о физике). Всё же вношу поправку: Эйнштейн исходил не только из своих гипотез о соотношении между массой и энергией, но и из опытов двух ученых, Гана и Штрасмана (имена которых потомство верно будет вспоминать со смешанными чувствами): они разложили атом, не исходя из идей Эйнштейна.

Л. — Допустим. Но сложность, противоречивость и временный характер нынешних физических теорий ровно ничего не доказывают. Эддингтон лет двадцать пять тому назад сказал, а Альф Ниман недавно это напомнил, что у ворот здания современной физики надо вывесить надпись: «Ремонт. Вход воспрещен». Он, кажется, не пояснил, *кому* именно воспрещен. Добавим от себя: «посторонним и, в частности, философам». Но ремонт скоро кончится, всё придет в порядок, — если хотите, в поря-

док относительный, да он ведь был «относительным» и в пору классической физики, — доступ снова будет открыт всем желающим, и окажется, что законы природы никак не были «временными ценностями».

А. — Весьма сомневаюсь, чтобы «ремонт» когда-либо кончился. Но мы уделим законам природы нашу следующую беседу, в связи с теорией вероятностей. Я нисколько не отрицаю, что самые тонкие и искушенные в философии ученые всё же надеются прийти к чистой истине, хотя подход их к ней теперь не таков, каким был сто или двести лет тому назад. Мизес — для него несколько неожиданно — высказывает надежду, что при помощи усовершенствованной (частью им самим) теории вероятностей *можно* будет прийти zur Erkenntnis der Wahrheit[22]. Но он характера этой *истины* не разъясняет. В теории, орудиями остаются логика и математика. Однако, они теперь меняются неизмеримо быстрее, чем прежде. В настоящее время историки науки занялись вопросом о том, что появилось раньше, математика или логика. Этот вопрос разрешен в пользу математики (с астрономией). Производить изыскания, даже гениальные, в любой точной науке можно, не заглянув ни разу в жизни ни в один учебник логики. Так это, вероятно, и было с огромным большинством великих естествоиспытателей: они и вообще не были знатоками чисто-философских наук. Но когда мы говорим о «постижении истины» в смысле Мизеса, то уж надо указать, из какой логики мы будем исходить: из Аристотеля? из Фреге? из Ресселя? из Брувера? из трехвалентной логики Лукашевича? Арнольд Реймон пришел теперь к тому, что есть *шестнадцать* возможных функций (скорее видов) научной истины[23]. Не только Аристотелю, но и Джону Стю-

---

[22] Richard von Mises, *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit,* Wien, 1928, p. 179.

[23] Arnold Reymond, *Problèmes anciens et actuels sur la Logique. Nature des Problèmes en Philosophie,* Paris, 1949, II, p. 42.

арту Миллю показался бы диким самый язык современных (последовавших за Фреге) логиков, с их vrai possible, vrai probabilitaire, vrai demontré, vrai non encore demontré, vrai catégorique, vrai relatif («правда возможная», «правда вероятная», «правда доказанная», «правда еще не доказанная», «правда категорическая», «правда относительная»)[24]. А закон причинности? Сам Мизес уже говорит об «ограниченной причинности» («beschränkte Causalität»). Шредингер предложил исключить понятие причинности. Другие знаменитые физики теперь сочетают причинность с «комплементарностью». Нильс Бор даже так доволен этим сочетанием, что предлагает его перенести в биологию и в социологию[25]. В этой последней науке ему уж совершенно нечего делать, там оно ничего, кроме путаницы, произвести не может. Да и теперь, пока это еще, к счастью, не сделано, почти неловко говорить о неизменной аксиоматике в социологии, в гуманитарных науках вообще, — это после результатов в новейшей математике и в так называемых точных науках.

Л. — Напротив, нисколько не неловко, а в некоторой мере и обязательно. Вы сказали, что будете касаться аксиоматики в разных областях. Что ж вы могли бы тут же наметить ваш взгляд на аксиомы в науках гуманитарных. В точных науках вы в связи с аксиомами сразу противопоставили два основных, вековых течения, которые для краткости можно было бы назвать Декартовским и Паскалевским. В целях аналогии было бы желательно, наметить и тут — то, что вы противопоставляете

---

24 Готлоб Фреге считает разницу между категорическими суждениями и гипотетическими имеющей преимущественно грамматическое значение: “nur grammatische Bedeutung”. (Gottlob Frege, *Begriffsschrift, eine der arithmetischen Nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle*, 1879, p. 4).

25 Neils Bohr, *Causality and complimentarity*, в том же издании, что Реймон, II, стр. 75.

«état d'esprit cartesien», хотя вы еще не сказали мне, в чём именно заключаются в морали, в политике основные черты этого «картезианского настроения», — будем, тоже условно переводить именно так, несмотря на разницу в оттенках между «état d'esprit» и «настроением».

А. — Тут разница не только в оттенках: настроение есть нечто уж слишком переменчивое... Я собственно не вижу необходимости что-то чему-то противопоставлять. Но, если хотите, в первом подходе я картезианскому «настроению» противопоставил бы то, что можно было бы назвать «état d'esprit loyolien».

Л. — «Loyolien»! От Лойолы? Уж не стали ли вы антиклерикалом? Тогда уж, в тысячный раз, сделайте ссылку на «цель оправдывает средства» и разоблачите это его изречение.

А. — Антиклерикалом я не стал, никогда не был и не буду. Иду даже дальше. Я считаю «антиклерикализм» весьма печальной ошибкой, особенно в применении к России. Церковь представляет собой самую мощную из тех немногих сил, которые напоминают человеку, что он всё-таки не зверь (а он, увы, очень нуждается в этом напоминании). Церкви всех вероисповеданий обладают могущественными способами благодетельного воздействия на людей как в существе своего учения, так и в необыкновенной красоте своих обрядов. Я не враг и иезуитам. Кстати сказать, приведенное вами изречение: «Cui licitus est finis, etiam licent media» принадлежит не Лойоле; этот выдающийся человек никогда этого не говорил. Изречение принадлежит второстепенному иезуиту Бузенбауму. «Обличение» иезуитов действительно весьма надоело, — не говорю уже о той немалой доле лицемерия, которая есть в негодовании обличителей: следовали и следуют этому изречению не одни иезуиты, на нём строится добрая половина всей политики мира. Нет, когда я говорю об «état d'esprit loyolien», я, как и при обсуждении карте-

зианства, имею в виду просто способ мышления или его суррогат, — суррогат, на наших глазах, через сотни лет после Лойолы, оказавшийся необычайно действительным, сказочно успешным; он уже завоевал треть населения вселенной. Новое, введенное Лойолой, заключалось даже не в принципе абсолютного послушания воле начальства: ведь это всегда было основой и военной дисциплины. Новое заключалось в том, что с начальством *надо* быть и внутренно-согласным. Так прямо сказано в «Exercices»[26]: «Необходимо всегда следовать правилу: то, что мне кажется белым, я должен считать черным, если таково иерархическое определение предмета». Эта идея стала завоевывать мир именно в двадцатом столетии.

Л. — Для защиты свободы мысли, право, не стоит беспокоить тень Декарта: вы могли бы взять любого среднего нынешнего демократа вроде нас с вами.

А. — Вы, в целях ясности, желали «противопоставления», я его вам и даю. В мире аксиоматики Лойолы (разумеется, только в этом ограниченном ее смысле) теперь живет около восьмисот миллионов людей. Разумеется, я никак не говорю, что они ее почитают. Но они, по необходимости, ее «принимают».

Л. — Это в настоящем случае двусмысленное и потому очень вредное слово.

А. — Оно, разумеется, условно. Из восьмисот миллионов людей, живущих в тоталитарных странах, многие, к несчастью, ничего не понимают, другие молчат стиснув зубы, третьи принимают «лойолизм» искренно, четвертые строго ему следуют, но, разумеется, пришли бы в крайнее негодование, еслиб им сказали, что это истины не Маркса, а Лойолы, — о котором они, быть может, и не слышали. Гитлер и Сталин были типичные

---

[26] *Exercices spirituels,* Paris, s. d., положение 13-ое.

«лойолисты», сами того не зная. *Логически доказать* превосходство одной аксиоматики над другой в этике еще неизмеримо труднее, чем в геометрии. Я не могу *опровергнуть* принципы Лойолы или Бузенбаума, как не могу *доказать* хотя бы сложную мораль Декарта.

Л. — Перейдите же к определению картезианской аксиоматики в морально-политической области. Или, скажем, не к определению, — я прекрасно понимаю, что тут оно было бы особенно затруднительно, — вы могли бы лишь кратко *наметить* основное. Считаете ли вы религиозной моральную аксиоматику Декарта?

А. — Не берусь ответить. О религиозности Декарта судить нелегко: это он держал про себя и по той же природной скрытности, и по политическим условиям того времени. Решающего ответа на вопрос о религиозности Декарта до сих пор не дано никем. Я привел вам саркастическое замечание Паскаля. К его мнению склонялся и Лейбниц, считавший автора «Discours» «опасным мыслителем». Мальбранш думал иначе. Из новейших философов Владимир Соловьев писал: «Декарт говорит и о Боге, но так, что лучше бы он о Нем молчал»[27]. Виндельбанд причислял его к индифферентистам в вопросах религии[28]. Напротив, Бертран Рессел говорит: «Психология Декарта темна, но я склоняюсь к мысли, что он был искренним католиком и хотел убедить Церковь — в ее собственных и в его интересах — занять менее враждебную позицию по отношению к науке, чем та, которую она заняла в деле Галилея. Есть люди, думающие, что его ортодоксальность была только политической. Хотя это предположение возможно, однако, я не думаю, чтобы оно

---

[27] Владимир Соловьев, *Теоретическая философия,* Собрание сочинений, С.-Петербург, т. VIII, стр. 267.

[28] Wilhelm Windelband, *Die Neuere Philosophie,* Die Kultur der Gegenwart, Leipzig, 1913, p. 467.

было самым вероятным»[29]. Оставляет вопрос открытым и Ясперс. Он говорит, что одни видят в Декарте католика, другие — основоположника протестантской философии, третьи — революционера во имя разума. К этому Ясперс справедливо добавляет: «Быть может, никто в философии не имел с Декартом подлинного внутреннего общения[30]. Во всяком случае некоторыми своими чертами мораль Декарта приближается к высшему в морали положительных религий.

Л. — Очевидно, вы и ее считаете частью той же самой символической «Ульмской ночи». Поистине вы в последнее понятие включаете уж слишком многое и делаете это довольно произвольно. Допускаю условность такого приема, но не очень ценю его чрезмерно «литературный» характер, вообще никогда не нравившийся мне ни у Киркегардта, ни у Ницше, ни у Гюйо, ни у Шестова. Говоря о философских вопросах, мы собственно прекрасно могли бы обойтись без этого, тем более, что и вам, и никому не известно, о чём думал, и что нашел Декарт в эту ноябрьскую ночь 1619 года. Изложите же мне по возможности без ульмских ночей, как вы понимаете Декартовскую моральную и морально-политическую аксиоматику. Была ли она у него вообще? Ведь всё-таки он был «в другой плоскости», почти как Флобер, который совершенно серьезно утверждал, что лет через пятьдесят такие слова, как «прогресс», «демократия», «социальная проблема», будут звучать столь же комически, как сентиментальные выражения 18-го столетия, вроде «сладких уз сердца»[31]. А если у Декарта такая аксиоматика была, то может ли она быть приемлемой в наше время?

---

[29] Bernard Russell, *A History of western Philosophy*, New York, 1945, p. 559.

[30] Karl Jaspers, *Descartes und die Philosophie*, Berlin, 1937, pp. 93-4.

[31] Flaubert, *Correspondance*, vol. IV.

А. — Она, пожалуй, наиболее приемлема из всех *вполне* осуществимых. В чистой политике она теперь даже, быть может, единственная вполне приемлемая. При этом я с большой радостью утверждаю, что она становится совершенно «одиозной» в те периоды новейшей, самой новейшей истории, когда в мире начинает царить идиотизм. Тогда почти неизменно философским врагом № 1 оказывается именно Декарт. Известно ли вам, что после прихода Гитлера к власти немецкий философ Франц Бем выпустил целую книгу о сопротивлении, будто бы оказывавшемся германской философией Декарту, которого этот национал-социалист обвиняет в «антиисторической пустоте», рационализме и индивидуализме: он обращался не к Gemeinschaft, — Бем разумел, вероятно, гаулейтеров. Этот господин, стремившийся в 1938 году к установлению «Kosmogonien und Theogonien unserer Väter» в свете «великого движения, охватившего наш народ», так и говорит: «Декарт и теперь наш ближайший философский противник»[32].

Л. — Я тоже этому рад. Не знаю, как относятся к Декарту в СССР. Появился ли уже там свой Франц Бем?

А. — Это мне неизвестно. Если не ошибаюсь, и неподневольная марксистская литература вообще не слишком интересовалась Декартом. Ее главный философ Франц Меринг в «Zur Geschichte der Philosophie» и в других своих писаниях много места уделял философским (или литературно-философским) трудам Плеханова, Ленина и даже, помнится, Максима Горького, но Декарта не удостоил ни единой страницей... Если вы хотите, чтобы я «наметил» «картезианское состояние ума» в области морали и политики, то позвольте передать лишь мое общее впечатление, тут уж без ссылок, так как пришлось

---

[32] Franz Böhm, *Anti-Cartesianismus. Deutsche Philosophie im Widerstand,* Leipzig, 1938, pp. V и 283.

бы приводить отдельные фразы из двадцати разных книг и особенно из писем Декарта... Его мораль самая «индивидуалистическая» из всех существующих. Для него самого она не такова как для рядового человека. Разумеется, это надо понимать отнюдь не в духе, скажем, идей Наполеона или Ницше или Раскольникова. Никаких особых прав и преимуществ Декарт себе не присваивал: ни на то, чтобы «забывать армию в Египте», ни на то, чтобы убивать старух-процентщиц. Едва ли даже могло бы быть что-либо более чуждое и «картезианскому состоянию ума», и лично Декарту, как человеку. Но, зная себе цену, он думал, что имеет право устроить свою жизнь не так, как она проходит у громадного большинства людей. Заметьте, тут есть некоторая разница между Декартом *до* Ульмской ночи, и Декартом *после* нее. В ранней юности он немало путешествовал, без всякого дела, просто из любопытства к чужим странам, к замечательным событиям, явлениям и людям. Служил в армиях, притом в иностранных. Это тогда случалось с людьми часто, но в перемене «политической ориентации» они обычно руководились выгодой, чаще всего весьма вульгарной, денежной, а то честолюбием и соображениями удобства. Им было всё равно, *чему* служить, и почти всё равно, *кому* служить. Последний вопрос, повидимому, не имел большего значения и для молодого Декарта, — какое ему дело было до принца Нассауского или до герцога Баварского? «Он принял решение, — рассказывает Байе, — нигде не быть актером, а всюду зрителем всевозможных ролей, разыгрываемых на театре мира. Стал же он солдатом только для того, чтобы изучать разные нравы людей». Быть может, впрочем, тогда еще искал приключений и любил военное дело (написал ведь трактат о фехтовании). Позднее, очевидно, вследствие решений, принятых в Ульмскую ночь, жизнь его совершенно изменилась. Он навсегда бросил военное ремесло и отзывался о нем без большого уважения. Войны он ненавидел, —

даже в то далекое время, когда они были крошечными и настолько малозаметными, что за двести-триста верст от тех мест, где шли бои, население часто ничего о войне не знало. Декарт был едва ли не первым по времени «пацифистом» и «интернационалистом» и в пору войн говорил, что ни с какой страной не связан, а в письмах к принцессе Елизавете, которой не везло в политике, утешал ее тем, что «самый маленький кусочек Палатината лучше, чем вся империя Татар или Московитов».

Л. — Повидимому, он по наслышке чрезвычайно преувеличивал культурную разницу между Палатинатом и Московией того времени. Но и для «интернационализма» опять-таки не стоило беспокоить его тень. Так думали и многие древние. Напомню вам: «Считаю себя гражданином не одного города, а всего мира».

А. — Декарт столь пышные слова употреблял чрезвычайно редко и не очень заботился о выигрышных исторических позах. Очень прост и не «пышен» он и в своем отрицательном отношении к революциям. По его основной политической мысли, результаты войн и революций не окупают приносимых жертв; чаще же всего войны и революции приводят к порядку вещей худшему, чем тот, который был до них. Слишком тяжелы государственные тела, слишком многое они уносят в своем падении, и неизмеримо лучше и легче чинить здание, чем воздвигать новое после того, как старое будет взорвано. Из двух зол надо выбирать меньшее, — это основной его политический принцип. Худой мир лучше доброй ссоры, не очень хороший и всё же не слишком плохой государственный строй обычно лучше кровавой и не достигающей цели революции. Это нисколько не мешало Декарту ненавидеть все деспотические и диктаториальные формы правления. По складу своего характера, он мог бы, вероятно, ужиться и с Ришелье, но предпочел покинуть Францию и поселился в Голландии, бывшей тогда самой свободной

страной Европы. Ненавидел он и все виды хитроумного политического маккиавелизма, и даже так называемую «высокую политику» вообще. Повидимому, ее глубокомыслие не вызывало у него особенного преклонения. Он писал принцессе: «Самая лучшая хитрость это не пользоваться хитростью. Общие законы общества ставят себе целью, чтобы люди помогали друг другу или, по крайней мере, не делали друг другу зла. Эти законы, как мне кажется, настолько прочно установлены, что тот, кто им следует без притворства и ухищрений, живет гораздо счастливее и спокойнее, чем люди, идущие другими путями. Правда, эти последние иногда достигают успехов, вследствие невежества других людей и по прихоти случая. Но гораздо чаще это им не удается, и, стремясь утвердиться, они себя губят». В этих правилах своей политической философии Декарт опередил государственных людей столетия на три. Гитлер, кстати, «достиг успехов» именно вследствие невежества других людей и по прихоти случая. Он же, «стремясь утвердиться», себя и погубил.

Л. — К несчастью, так бывает не всегда. Не всегда себя губят и самые жестокие из тиранов. Порою их даже хоронят с великой торжественностью, причем приходят горячие сочувственные телеграммы от людей, от которых никак их ждать не приходилось.

А. — «Je ne sais rien de gai comme un enterrement»[33], — сказал Верлен. Но Декарт и не утверждал, что диктаторы губят себя *всегда*. Он высказался осторожнее: «гораздо чаще». В перспективе же столетия — а вдруг и много раньше? — он, будем надеяться, окажется тут прав во всём, без исключений. В области морали *личной* он тоже выбрал аксиомы, необычные для его времени, да, может быть, и для нашего: желал, чтобы люди оста-

---

[33] «Не знаю ничего более веселого, чем похороны».

вили его в покое, предоставили ему работать *на их же пользу,* но без них, не лезли ни в его душу, ни в его жизнь. Он и поселился «в глуши», в далеком от шумных дел голландском замке, где, почти не видя людей, занимался точными науками и философией. Этот замок существует по сей день. Когда-то я в нем побывал. По издевательской воле случая, там теперь помещается (или помещался до войны, не знаю, как теперь) образцовый дом умалишенных. В своей политике Декарт принимает жизнь и людей такими, каковы они есть, себя и других не обманывает, ничего и никого не идеализирует...

Л. — Идеализировать жизнь и людей в его время было бы и нелегко: в пору 30-летней войны в лавках съестных припасов продавалось на вес человеческое мясо.

А. — «Аморальная эпоха», правда? А наша нет, совершенно другая? Согласитесь, однако, что и теперь довольно трудно было бы удивить кого-либо отрицательным отношением к событиям, делам и людям. В любую историческую пору находились философы и особенно писатели, совершенно беспощадно относившиеся к человеку, и это не всегда объяснялось их биографией или личными особенностями, тем, что «у злой Натальи все люди канальи». Так и в наше время историю можно рассматривать хотя бы с точки зрения «сверхсвиньи», той «Super-pig No. 1», которую, после десяти лет труда, удалось недавно воспитать в Миннесоте. Могут быть даже мыслители, от всей души желающие атанасии всем нынешним формам жизни. Однако, с Декартом это ровно ничего общего не имеет. Он писал: «Я, к счастью, не взволнован никакими страстями»... «Я себе обеспечил возможный покой в одиночестве, буду серьезно и свободно заниматься по общему правилу разрушением всех моих прежних взглядов»... Конечно, жизненная программа Декарта не могла бы подходить для рядового челове-

ка. Декарт, повидимому, и не верил в существование общеобязательной этики. Этика ведь преимущественно наука о том, что должно быть, а не о том, что есть. И если и в *ее* «том, что есть» всё-таки должно быть больше «лживого и недостоверного», чем в арифметике и в геометрии, то никак уж не приходится особенно увлекаться незыблемыми аксиомами ее «того, что должно быть»... Ради беспристрастия, следует добавить, что Декарта не слишком соблазняли «героические» жизни. Быть может, он и на них направил свое «пристальное внимание» и расценивал их по-своему. Не знаю, как вы, а я с ним тут особенно и не спорил бы: наше с вами поколение разных героических жизней насмотрелось достаточно, и не всегда от них было много добра (ничего, конечно, не обобщаю). На костер Декарт не спешил, — знал, что попасть может легко. По поводу тюрьмы и процесса Галилея он давал понять в письме к Мерсенну, что сам он «не так влюблен в свои идеи», чтобы из-за них рисковать тюрьмой, пыткой, казнью. И действительно, если между космогоническими идеями Птоломея, Коперника, Тихо де Браге и его собственными Декарт видел разницу преимущественно в простоте, ясности и изяществе (об этом скажу дальше), то уж так ли необходимо было Джордано Бруно всходить на костер? Аксиоматика героической морали еще менее устойчива, чем все другие.

Л. — Я остаюсь при своем мнении. У Декарта нет и намека на неустойчивость аксиоматики. Вы это именно вычитали «между строками». Идея всемогущества случая, как вы сами признаете, у него совершенно отсутствует. Скажу даже, что это самая антикартезианская из всех мыслимых антикартезианских идей. О «Красоте-Добре» мы еще не говорили, но эта идея создана не им. Я думаю, что нашу *вводную* беседу можно закончить, как ни странно мне в ее результате убедиться, что «картезианское состояние ума» состоит из не-картезианских или антикартезианских слагаемых.

II

ДИАЛОГ О СЛУЧАЕ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

А. — Теория вероятностей, быть может, одна из самых замечательных наук; Лаплас называл ее даже самой замечательной[1]. Но у нее есть странные особенности. Одна из них заключается в том, что нет вполне удовлетворительных определений ее основных понятий, — по крайней мере определений философских. По существу ведь «случай» (как и «вероятность») основное понятие этой науки. Паскаль, один из главных ее создателей, назвал ее «геометрией случая». Напрасно было бы, однако, искать точного определения этого понятия в трудах ее классиков; по крайней мере, я такого не нашел ни у Паскаля, ни у Кондорсе, ни у Лапласа, ни даже (это говорю с ограничением) у Курно. Чебышев в своей замечательной по глубине работе[2], почему-то иногда замалчиваемой точно умышленно[3], не произносит слова «случай». Очень плохие определения этого понятия есть у философов, никогда теорией вероятностей не занимав-

---

[1] P. S. Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités,* Paris, 1921, vol. I, p. 106.

[2] П. Л. Чебышев, *О средних величинах,* Сочинения, под редакцией академиков А. А. Маркова и Н. Я. Сонина, С.-Петербург, 1889, т. I, стр. 687.

[3] О нем не упоминает ни Кейнс (J. M. Keynes, *A Treatise on probability,* London, 1921) ни Пакье (Gustave du Pasquier, *Le Calcul des Probabilités,* Paris, 1926), ни Башелье (Louis Bachelier, *Le Jeu, la Chance et le Hazard,* Paris, 1920), ни Пуанкаре (Henri Poincaré, *Calcul des Probabilités,* Paris, 1912). Ничего, к сожалению, не говорит о Чебышеве вообще и Белль в своей книге «Великие Математики».

шихся. «Мы называем случайными такие события, неожиданное свершение которых представляется нам самопроизвольным («spontané») и как бы излишним, т. е. не вызванным настоятельной необходимостью», — говорит Ридингер[4]. «Факты, которые мы не можем связать посредством причинности с другими точно определенными фактами, вызывают у нас ощущение случая», — говорит де Монтессю[5]. Случайность «везде нарушает закон вещей, преобладающее, правильное», — говорит Адольф Лассон[6]. Даже по форме это не определения. А по существу они, конечно, не определяют ровно ничего. Что такое «самопроизвольность» в событиях? Какие события надо считать вызванными именно настоятельной необходимостью? Как следует понимать «закон вещей»? Названные авторы пытаются определить неясное понятие понятиями еще более неясными. К тому же, если мы сегодня не можем связать двух событий между собой, то, быть может, это будет сделано завтра: случай не может быть понятием временным. Если же такую возможность предположить, то очень легко прийти к полному отрицанию случая. Многие ученые, не желающие отступать от абсолютного детерминизма (который, как им кажется, подрывается идеей случая), действительно случай и отрицают. Лаплас и Кетле, независимо один от другого, высказали почти в одних и тех же словах мысль: «Случай есть только псевдоним незнания». В действительности это изречение принадлежит Боссюэту: «Не будем больше говорить ни о случае, ни о счастье (Fortune), или же будем о них говорить как о названии, которым мы прикрываем наше невежество. То, что есть случай для нашего слабого (incertain) суждения, есть принятое намерение в совете высшем, в том вечном совете, куда вхо-

---

[4] E. F. Riedinger, *L'idèe du Hasard,* Paris, 1907, p. 5.

[5] R. de Montessus, *Définition logique du hasard,* Paris, p. 3.

[6] Adolf Lasson, *Über den Zufall,* Berlin, 1918, p. 20.

дят в одном порядке все причины и все следствия»[7]. Перевожу опять очень нехорошо, нет ничего труднее, чем переводить Боссюэта. Но мысль я передаю во всяком случае правильно, и это, вероятно, единственное, в чём Боссюэт сходится с многими материалистами. В теории вероятностей есть одно уравнение, называющееся formule du hasard, но в философском смысле оно ничего не дает. Из математиков лучше других определил случай Пуассон: «Под случаем (hasard) надо разуметь совокупность причин, способствующих осуществлению события и не оказывающих влияния на размер его вероятности, т. е. на отношение числа случаев (cas), благоприятных его осуществлению, к общему числу возможных случаев»[8]. По необходимости употребляю одно слово «случай» для перевода французских слов «hasard» и «cas». Это определение тоже не может быть названо удовлетворительным, так как оно у Пуассона, в связи с его общим пониманием причинности, устанавливает какое-то различие между «настоящими» причинами явления и причинами, которые только «способствуют» (concourent) его осуществлению. Многие определения случая основаны на неправильном разделении между «известными и постоянными факторами события» и «факторами неизвестными, меняющимися». Чубер и называет первые «причинами», а вторые «случаем»[9]. Между тем «известность» и «неизвестность» опять-таки всегда имеют лишь временный характер; а «постоянство» никакой роли тут не играет: солнце встает и заходит каждый день, тогда как землетрясения или извержения вулканов бывают непостоянно; однако, у нас не больше оснований считать извержения и

---

[7] Bossuet, *Discours sur l'histoire universelle.*

[8] S. D. Poisson, *Recherches sur la Probabilitè des jugements en matière criminelle et en matière civile,* Paris, 1837, pp. 79-80.

[9] Emmanuel Czuber, *Wahrscheinlichkeitsrechnung,* Leipzig, 1908, I, p. 8.

землетрясения явлением «случайным», чем считать таким явлением восход и заход солнца. Поэтому и определения Чубера я никак принять не могу. В сущности близок к его позиции и Мах, рассматривающий случай, как «скрытую правильность» и сводящий его к «обстоятельствам, которые нам неизвестны, и на которые мы не можем оказать влияния»[10].

Л. — Я предпочел бы узнать то, что думали о случае классики новейшей философии. Если не ошибаюсь, Кант употребляет это слово лишь в бытовом, повседневном смысле. Но, быть может, я ошибаюсь: я не читал *всего* Канта, как не прочел *всего,* даже всего главного, из книг других классиков.

А. — *Всего у всех* классиков философии не прочла, верно, и одна десятая специалистов. О себе я мог бы сказать разве лишь то, что у Декарта я прочел всё, а «Discours de la Methode» читал не один раз, читал так, как именно Кант советовал читать шедевры. Он где-то пишет: «Я должен так долго читать Руссо, чтобы меня перестала беспокоить красота выражения, и чтобы я мог рассматривать его прежде всего разумом». К этому Кант — весьма, по-моему, для него неожиданно — добавляет: «Великие люди блестят лишь на расстоянии, и князь много теряет в глазах своего лакея. Это происходит оттого, что великих людей нет»[11]. В отношении Канта вы тут не вполне правы: Кант кое-где говорит о случае, о Zufall, и, чаще, о Zufälligkeit[12]. Но он стоит на классическом, предшествовавшем Курно, противопоставлении случая и причинности, хотя занимает тут не крайнюю (Боссюэто-Лапласовскую) позицию: «Принцип: ни-

---

[10] Ernst Mach, *Erkenntnis und Irrtum,* Leipzig, 1906, p. 251.

[11] Kant, *Aussprüche,* Herausgegeben von Raoul Richter, Lepzig, 1933, p. 22.

[12] См. об этом Rudolf Eisler, *Kant Lexicon,* Berlin, 1930, pp. 620-621.

что не происходит в силу слепого случая (in mundo non datur casus) есть априорный закон природы. То же самое относится к другому принципу: в природе нет слепой необходимости, но есть необходимость условная (non datur fatum)», говорит он[13]. Кант дает и определение случая, но чисто отрицательное и беспредельно общее: «Etwas dessen Nichtsein sich denken lässt»[14]. Но вы правы в том смысле, что и у него, как и у других классиков новой философии, идея случая почти не занимает места в системе.

Л. — Вам остается только дать ваше собственное определение случая.

А. — Для ясности спора я очень «заострю» свой ответ, в надежде, что вы сделаете поправку на заострение. Случай есть всё, что происходит в мире, его возникновение, создание планеты Земля, появление человечества на этой планете, его возможное в будущем исчезновение, рождение человека, его смерть, бесконечная совокупность больших, средних, малых явлений, всё что «по законам природы» происходит во Вселенной, то, что Кант называет совокупностью всех фактов, «die absolute Totalität des Inbegriffs existierender Dinge». С моей точки зрения, историю человечества, с разными отступлениями и падениями, можно представить себе как сознательную или бессознательную, героическую или повседневную, борьбу со случаем. Однако, ходячие слова «не оставлять ничего на волю случая», «ne laisser rien au hasard», представляются мне предельным выражением человеческого высокомерия и легкомыслия.

Л. — Нелюбезный и недоверчивый человек, вероятно, в ваших словах увидел бы сознательное или бессозна-

---

[13] Emmanuel Kant, *Critique de la Raison pure* (traduction I. Barni, Revue et corrigée par P. Archambault), Paris, s. d., vol. I, p. 244.

[14] В тяжелом переводе: «Нечто, отсутствие чего мыслимо».

тельное желание épater le bourgeois. Они вдобавок и противоречивы. Если *всё* случай, то какая же может быть с ним «борьба»? А если борьба возможна, то «предельное выражение человеческого высокомерия и легкомыслия» есть лишь ее удачная, победоносная форма. Впрочем, я думаю, что вы к этому вернетесь и пока лишь слишком «заострили» вашу мысль? Вы и говорите так, точно пишете слово «случай» с большой буквы. В очень далекие времена понятия «случай», «судьба» чрезвычайно занимали людей. У греков для них было пять или даже, кажется, шесть слов, означавших одно и то же или, собственно, почти ничего не означавших. Много говорилось о судьбе и в Средние века. Но чем культурнее становился мир, чем дальше шли наука и философия, тем меньше места уделялось этим медленно умирающим понятиям. Во всяком случае, никто никогда не толковал историю человечества, как процесс борьбы со случаем, и никто не связывал случай с законами природы. Может быть, я сегодня умру от удара или меня кто-нибудь убьет, — это будет, если хотите, случай. Но то, что я рано или поздно умру непременно, — это уже не случай, а закон природы, очень для нас печальный.

А. — Вы здесь только передвигаете случай в пространстве и во времени. Я действительно считаю нужным различить случай *непосредственный* и случай *отдаленный*. В чисто-случайном многотысячелетнем процессе космического и биологического развития вышло так, что человек живет лет 60-80, слон гораздо больше, а собака гораздо меньше. К тому же человек будто бы когда-то жил и дольше. Мафусаил дожил до 969 лет, и Мечников, предполагая, вместе с Гензелером, что в те времена под годом разумелся сезон, считал возможным, что Мафусаилу в момент смерти было 242 года[15], — возраст тоже

[15] Elie Metchnikoff, *Etudes sur la nature humaine, Essai de philosophie optimiste*, Paris, 1903, p. 336.

довольно почтенный... Что же касается «законов природы», то они и представляют собой попытку борьбы со случаем в области научно-познавательной. Они — первые, вторые, третьи приближения к тому, что называется научной истиной; а какое будет десятое приближение — неизвестно. Теперь многие физики и химики, как вы знаете, склонны считать законы природы некоторым подобием статистических обобщений. В предельно заостренной форме выражают это Джинс и Борель: нельзя считать *невозможным,* что вода, поставленная на огонь вместо того, чтобы закипеть, замерзнет; это лишь чрезвычайно маловероятно[16]. У других физиков такой взгляд не вполне удовлетворяет «потребность причинности», и они предпочли бы считать подобную интерпретацию законов природы лишь временной. Мизес справедливо называет их взгляд «предрассудком»[17]. Да, собственно говоря, нет и ничего особенно нового в идее статистического подхода к законам природы. Сходный взгляд высказывал еще Лаплас. «Строго говоря, — писал он, — можно даже сказать, что почти все наши знания только вероятны, а в небольшом числе вещей, которые мы можем знать достоверно, в самих математических науках, главные средства для достижения истины, индукция и аналогия, основываются на вероятности». Говорил так детерминист из детерминистов, типичнейший мыслитель 18-го столетия с его безграничной верой в разум. В сущности, в настоящее время закон природы может быть в общей форме выражен лишь следующим образом: в таком-то кругу явлений, при таких-то аксиомах и обозначениях, связь таких-то величин *почти* всегда может быть выражена такой-то *приблизительной* математической формулой. В древности безграничной веры в

---

[16] Emil Borel, *Le Hasard,* Paris, 1948, p. 231.

[17] Richard von Mises. *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit,* Wien, 1928, p. 181.

разум не было и быть не могло. Перед ранними исследователями природы было то, что непосредственно последовало за первозданным хаосом. К нему надо было как-то подойти, за что-то ухватиться. У греков мифология приукрасила хаос и сделала его богом. По Гезиоду, рядом с Хаосом было нечто много худшее, Тартар, и нечто много лучшее, Любовь. Между ними шла борьба. По иному, хоть, может быть, и не менее поэтично, изображает это мифология индусов. Было только великое и страшное *одно* (по другим переводам, кажется, *оно*). Не было ни солнца, ни звезд, ни дня, ни ночи, ни жизни, ни смерти. Конечно, это поэтическое «преувеличение»: и солнце было, и звезды, и день, и ночь. Были даже и жизнь и смерть, хоть они мало друг от друга отличались, ибо живой чудовищный ихтиозавр ничем не лучше мертвого, — а с точки зрения позднейшего гостя, человека, даже много хуже. До появления этого гостя всё было хаосом и не в греческом мифологическом смысле, а в нашем нынешнем. Хаос бывал и при человеке, — однако, до него был только хаос. Он, быть может, еще вернется. Так думали и не одни поэты: «Но раздвинут мирозданьем, — Хаос мстительный не спит». Так думали и ученые (и многие религиозные мыслители). В отличие от нас, прежние ученые, не дожившие до 1945 года, допускали возможность возвращения хаоса лишь в результате какой-либо космической катастрофы, например, столкновения земли с другой планетой. Разложив атом, человек показал, что он может добиться такого же результата и без чужой помощи, своими собственными мозгами и руками. Несколько тысяч лет тому назад человек на земле еще застал хаос. До философского понятия случая он естественно тогда еще не возвысился, но всё в мире могло и должно было ему казаться «случайным» (или делом нездешних сил). Сегодня такое-то явление происходило, на следующий день нет. Не так просто было заметить, что при этом что-то ме-

нялось в условиях явления. Наблюдения накоплялись. Их было достаточно для *первого* ограничения роли случая и, разумеется, недостаточно для того, чтобы признать его *вечность* при любом ограничении, — этого не сделали еще и мы. Наблюдения египетских астрономов, наблюдения Плиния были изумительны; некоторыми из них до сих пор пользуется или еще недавно пользовалась наука. Древнему человеку понемногу становилось ясно, что для размышлений над наблюдениями требуются какие-то недоказуемые общие положения. Появились — говорю здесь только о сфере познавательной — аксиомы Эвклида (оставим в стороне вопрос об его предшественниках, для нас мало интересный). Появились первые опытные обобщения, первые открытия в нашем нынешнем смысле слова. Без аксиом они едва ли были бы возможны. Архимед ездил в Александрию к Эвклиду учиться. И как Эвклид создал первую научную аксиоматику, так Архимед, кажется, в древности первый, говорил о законах природы языком эпохи Возрождения или даже нашим нынешним. Быть может, именно поэтому его имя две тысячи лет окружено настоящим культом: его убийцы или вернее их главнокомандующий воздвигли ему памятник. Д'Аламбер считал, что только он может быть поставлен рядом с Гомером, а совсем недавно Белль признал его одним из трех величайших математиков в истории (другие два, по мнению Белля, Ньютон и Гаусс). Заметьте, однако, почти все законы природы, найденные в древнем мире, оказались неверными... Вы меня опровергали аргументом о нынешней технике, в основе которой должны же лежать вечные истины. Римляне строили гигантские акведуки, до сих пор приводящие в изумление людей; тем не менее они аксиом, законов и философских оснований нынешней механики никак знать не могли. У них ничего не было, кроме первых и весьма несложных обобщений. И в течение долгих веков эти обобщения и представляли собой то, что я называю бессознательной или полусозна-

тельной борьбой со случаем, попытку внести порядок в мировой хаос. Этим обобщениям, законам природы, со временем придается математическая форма. Еще Лейбниц говорил, что, при достаточно сложной формуле, можно выразить математически какое угодно явление природы, хотя бы единичное. Но, разумеется, мысль, желающая упорядочить хаос, инстинктивно ищет формул наиболее простых. Меня всегда удивляло, что большим естествоиспытателям не казалась несколько подозрительной огромная роль цифры 2 в формулах их законов. Это особенно относится к разным отделам физики (в химии *таких* законов гораздо меньше). Имею в виду законы типа: «то-то пропорционально или обратно пропорционально *квадрату* того-то»... Что такое цифра два? Второй «сексессор» в ряду Пеано-Ресселя? Почему именно на ее долю выпала бы такая роль в природе? Почему, вместо цифры 2, не оказалось бы 1,99 или 2,01, или даже 2,10? Впоследствии так часто и оказывалось. Можно было бы составить толстую книгу из многочисленных научных исследований, тщетно старавшихся в течение двух столетий привести опыты в полное согласие со столь простым, столь элементарным законом Бойля-Мариотта. Но природа не всегда заботится о простоте и «круглости счета». Она даже о них не заботится никогда. Вполне точных законов природы нет и теперь. Ученые долго это приписывали «несовершенству опытов», «неизбежным ошибкам». Однако, не удалось сохранить в совершенной точности даже закон сохранения материи (а без совершенной точности очень уменьшается его философская ценность). В полной сохранности не остались и законы Ньютона. Я понимаю, как это тяжело физикам. Уайтхед утверждает, что верность Ньютоновых законов движения, в пределах точности наблюдения, совершенно различна в применении к звездам, молекулам и электронам[18]. Он всё же признает

---

[18] A. N. Whitehead, *An Enquiry concerning the Principles of Natural knowledge*, Cambridge, 1919, p. 18.

их как первое приближение к истине (first approximation) и для уравнений инфрамикроскопического мира. Книги Уайтхеда одно из последних слов в области математической философии. Но, быть может, физики *самого* последнего поколения под этим его признанием и не подписались бы.

Л. — Один из самых последних исследователей именно утверждает, что теория Эйнштейна стремится не к уничтожению Ньютоновской механики, а к ее поглощению, оставляя за ней ценность истины в первом приближении[19].

А. — Если это и верно, каково же считать «первым приближением» то, что в течение двух столетий признавалось непоколебимой основой точных наук и идеалом каждой из них?

Л. — Сам Ньютон этого не думал. Эйнштейн как-то отметил, что Ньютон «лучше знал слабые стороны своего «здания идей», чем следующие поколения ученых»[20]. И мне кажется, что то же самое можно сказать о самом Эйнштейне.

А. — Я этого не думаю. Прочтя три раза его последнюю, тоже очень нашумевшую работу, я, просто по недостаточности познаний, не понял ее математического аппарата. Если не ошибаюсь, эту участь со мной разделяют люди, имеющие неизмеримо большие, чем я, познания, вплоть до знаменитых математиков и физиков. Могу судить только о философской стороне основной идеи. Скажу и тут, она a priori подозрительна по своей монистической простоте. Сам Эйнштейн называет свои четыре заключительных уравнения «необычайно простой систе-

---

[19] E. Baudin, *Précis de logique des sciences,* Paris, 1938, p. 343.
[20] Albert Einstein, *Mein Weltbild,* Amsterdam, 1934, p. 207.

мой»[21]. В начале же этой работы он говорит, что, вследствие математических трудностей, еще не нашел практического пути для сопоставления результатов своей теории с данными опыта[22]. Допустим, что он практический путь найдет. Допустим даже, что опыт его выводы подтвердит. Я почти не сомневаюсь, что это наткнется на «дано третье». Нельзя, думаю, и стараться дать закон, объединяющий разнородные силы и явления природы. Всё слишком «монистическое», слишком «простое», слишком «круглое» маловероятно и искусственно. Земля вращается вокруг солнца в 365 с чем-то суток, — это a priori нисколько не подозрительно. Но еслиб астроном далекого прошлого заявил, что она совершает свой круг ровно в 1.000 или 10.000 суток без часов и минут, то это у некоторых философов вызвало бы чрезвычайный восторг, но у людей точного знания *должно было бы* вызвать и сомнение.

Л. — Однако, в обоих случаях, с «круглостью» или без «круглости», они не сделали бы вывода, что закон природы был результатом борьбы со случаем, — взгляд, неизмеримо более «подозрительный». В вашей мысли я вижу лишь некоторый пережиток окказионализма.

А. — Ваше последнее замечание очень типично. Вы, как многие, судите по словесным ассоциациям. Слово случай в известном смысле переводится на французский язык словом «occasion» (в моем смысле надо переводить hasard). А уж если «occasion», то, значит, и «окказионализм»! Нет, тут ничего общего нет. Я для своей «системы» готов обойтись и без ученого «изма», в отличие от немецких профессоров философии: у них есть свой «изм»

---

[21] Albert Einstein, *Generalized Theory of Gravitation,* приложение к третьему изданию *The meaning of Relativity,* Princeton, 1950. p. 146.

[22] Там же, стр. 134.

в каждом германском университетском городе, благо это очень удобно запоминается, выгодно для рецензий и для упоминания в учебниках... Что такое окказионализм? Учение Геулинкса о двух часах для пояснения взаимоотношений души и тела? Попытка преодолеть трудности некоторых картезианских понятий? Всё это теперь совершенно не интересно. Сущность же Мальбраншевского окказионализма, по-моему, заключалась в желании перенести причинность из человеческого круга в круг высший. Многое в мире дает Богу случай (occasion) от причинности отступать или же заменять временную причинность в действиях человека своей собственной вечной причинностью. *Отдаленный* отголосок этого учения есть в философии «Войны и мира». Меня в «мальбраншизме» интересовала одна мысль, — та, что мир может оказаться недостойным Бога и перестанет Его интересовать. Мысль смелая.

Л. — Будто? Мальбранш вообще смелостью никак не отличался. Он больше всего на свете боялся огорчить Боссюэта, который, в конце концов, к великой его радости, его признал, хотя раньше на полученной им, в качестве верноподданнического подношения, книге Мальбранша начертал свою высочайшую резолюцию: «Красиво. Ново. Ложно». Вдобавок, Мальбранш был сумасшедший. Ему всю жизнь казалось, что у него на носу повис кусок баранины.

А. — Если это не было выдумкой его врагов. Скажем правду: вы, разумеется, как теперь почти все, открещиваетесь от позитивизма и еще больше от «Фогта, Бюхнера и Молешотта» (ведь для обозначения грубого материализма почему-то всегда называют именно этих популяризаторов из десятка других таких же). В этом вы совершенно правы. Тем не менее ваше презрение к Мальбраншу как-то, корнями или каким-либо залежавшимся корешком, уходит к позитивистическому, а может быть, и

материалистическому началу, всё же кроющемуся в уме громадного большинства естествоиспытателей. Мальбраншу можно многое простить и за тонкость многих его страниц, и за его культ Декарта и особенно за его литературный талант: ведь порою на нём отдыхаешь душой после долгого изучения немецких философов, начиная с Лейбница...

Л. — Простите отступление в сторону, но я не могу согласиться и с общим местом о тяжеловесности немецких философских книг. Германские философы придерживались мнения, что «элегантность надо предоставить портным», — это изречение приписывают Эйнштейну, но на самом деле его автор Людвиг Больцман. Философия не фельетон.

А. — Разумеется. И я был бы крайне огорчен, еслиб она пошла на какие-либо уступки фельетону. «Элегантность» ей нисколько не нужна, хотя, по случайному совпадению, быть может, самыми глубокими философами были именно те, которые и писали ясно, хорошо, «блистательно». Литературный талант никак не повредил Платону, св. Августину, Декарту, Паскалю, Шопенгауеру, из новых — Ницше, Соловьеву, Бергсону, Файхингеру, Франку. Впрочем, я говорил преимущественно о немецких *профессорах*, да и тут ничего не обобщаю. У самого Гегеля есть страницы, замечательные и в чисто-литературном отношении. Возвращаясь к предмету, скажу, что «измы» есть вещь предательская. Так, например, по сходной словесной ассоциации вы могли бы назвать мои мысли близкими и к пробабилизму. Я и это должен был бы отрицать.

Л. — И напрасно. Поскольку вы идее случая и, следовательно, вероятности отводите в своих мыслях столь важное место, я имею право хоть до некоторой степени связывать вас с пробабилизмом не только по словесным ассоциациям. Ведь его создатель Карнеад может считать-

ся в философском отношении предтечей теории вероятностей. Его, в отличие от Мальбранша, я ставлю очень высоко. Не думаю, чтобы философия по настоящему ответила на тот десяток его страниц, которые удалось восстановить историкам.

А. — Очень хорошо, что вы его назвали. Правда, предтечей теории вероятностей его можно назвать лишь с оговоркой: всё-таки без математики эта теория висела бы в воздухе... Я рад, что вы не боитесь «отступлений в сторону»: их у нас было и будет очень много. Но если я кратко коснусь *истории* теории вероятностей и еще более кратко поставлю ее в связь с личностью ее трех основоположников, Карнеада (повторяю, с оговоркой), Паскаля и Фермата, то тут и отвлечения в сторону не будет. Люди были совершенно разные, разные по складу ума, по душевному настроению, по взглядам, по всему. Тем не менее в чём-то с теорией связанном, с какими-то из нее отдаленными выводами, они сошлись, — это обстоятельство само по себе имеет значение. Карнеад пошел дальше всех. Заметьте, самое слово «вероятность» встречается у него не часто, кажется, не более четырех раз во всём, что от него осталось (или, что ему приписывается). Но свой метод он применяет ко *всему,* ни перед чем не останавливаясь. Вера в богов? «Я с верой в богов не борюсь, а только считаю несостоятельными принятые методы ее доказательства». На самом деле он в пользу «вероятности» существования богов не приводит никаких доказательств, а в пользу «невероятности» очень много. Он отрицает существование истины в геометрии, при чём ее не отделяет от литературы и музыки[23]. Его страница о политических формах правления, о тирании, олигархии и демократии состоит из жестокой и одинаковой над всеми насмешки[24].

---

[23] *Die Nachsokratiker,* Собраны и переведены на немецкий язык Вильгельмом Нестле, Iena, 1923, стр. 270.

[24] Там же, стр. 266.

Карнеад был первый нигилист в истории мысли. По словам Цицерона, он, при своем огромном ораторском таланте, мог доказать, что белое черно, а черное бело. Кто-то другой рассказывает анекдот: приехав с дипломатической миссией из Греции в Рим, Карнеад в блестящей лекции произнес похвалу справедливости. Но на следующий же день, в другой блестящей лекции, он доказал, что справедливость самое отвратительное из явлений. Обе лекции имели огромный успех. Цицерон, старый адвокат и политический делец, повидимому, испытывал нечто вроде профессиональной зависти. Разумеется, Карнеад был циником не в древнем, а в нынешнем смысле этого слова. Паскаль — прямая противоположность, о нём распространяться не приходится. И наконец, Фермат, человек промежуточного типа, еще, к сожалению, мало изученный, хотя по гениальности близкий к Леонардо да Винчи...

Л. — Не слишком ли сильно сказано?

А. — Не думаю. Хорошо ли вы помните его биографию?

Л. — Я не вижу, какое отношение может иметь к делу биография ученого.

А. — Только отдаленное, в том смысле, в каком Гельвеций говорил, что гений шедевр случая[25]. Большой, удивительный сюжет Фермат мог бы дать для романа, если б его жизнь была всё-таки немного лучше известна. Этот сын лавочника сделал головокружительную карьеру. Он считался одним из самых лучших и беспристрастных судей Франции. Вероятно, он мог бы стать первым министром короля, ибо был умнее и ученее всех министров вместе взятых, а Людовик XIV охотно назначал на

---

[25] Цитируется по книге И. Лапшина, *Философия изобретений и изобретение в философии,* Прага, 1924, том I, стр. 15.

самые высокие посты людей невысокого происхождения и даже предпочитал их аристократам, к крайнему негодованию этих последних и особенно герцога Сен-Симона («неуклонная линия прогресса» шла так хорошо, что столетием *позднее*, при Людовике XVI, накануне революции, человек, не имевший четырех поколений дворянства, не мог получить даже лейтенантского чина, тогда как в 17-ом веке Катина, отнюдь не знатный человек, был главнокомандующим и маршалом Франции). Но Фермат не был честолюбив. По должности он был занят почти целый день. Об его судебно-административной работе почти ничего неизвестно. Из одного его письма можно заключить, что он был человек справедливый и добрый[26]. В свободное время он писал стихи на французском, латинском и испанском языках. В его некрологе, помещенном в «Journal des Scavans» в феврале 1665 года, сообщается, что писал он их «с такой элегантностью, как если бы жил во времена Августа или провел большую часть своей жизни при французском и мадридском дворах»[27], — автор некролога, очевидно, думал, что придворная жизнь очень способствует развитию поэтического таланта. Фермат был также знатоком древности и разъяснил немало темных мест в произведениях писателей классического мира, — это он делал только по просьбе друзей. И, наконец, немного занимался он и математикой. Своих математических работ он почти никогда не печатал, — поместил лишь одну без подписи в приложении к математической книге другого ученого, Лалуэра. Обычно же излагал свои математические изыскания только в письмах к компетентным друзьям. Они читали и изумлялись. Паскаль считал его «первым человеком на земле» и говорил, что сам он, как математик, в подметки не годится Фермату. Очень

---

[26] *Oeuvres de Fermat*, publiées par les soins de Paul Tannery et Charles Henry, Paris, 1894, v. II, p. 250.

[27] Перепечатано там же, т. I, стр. 360-61.

высокого мнения об его математическом даре держался и Декарт, хотя они недолюбливали друг друга, особенно вначале, и порою в геометрии расходились взглядами. Теперь всеми признается, что Ферма был одним из величайших математиков в истории. Белль называет его «королем дилетантов» — и добавляет, что, «как чистый математик, Ферма был по меньшей мере равен Ньютону»[28], — для «дилетанта» похвала недурная! Что же было бы, еслиб он дилетантом не был? Лаплас утверждал, что именно он, а не Ньютон и не Лейбниц, открыл дифференциальное исчисление, и что он до Декарта наметил основные положения аналитической геометрии. С этим согласился и Белль. Сам же Ферма не придавал большого значения своим ученым трудам, да и ученым трудам вообще, — ну, открыл, велика важность! Но, повидимому, он был человек не лишенный лукавства. Иногда в письмах посылал знаменитым ученым математические загадки, — вот как, быть может, в суде благодушно строил юридические козни состязающимся сторонам: спрашивал ученых, как бы они решили такой-то вопрос, не сообщая им своего решения. Одну из его задач разрешил Лейбниц, другую Эйлер, проработавший над ней семь лет. С третьей же, последней теоремой Ферма[29], вышла странная история. На полях одной старинной математической книги, «король дилетантов» записал: «Я нашел поистине замечательное решение этой теоремы, но поля этой книги недостаточно велики для того, чтобы привести мое доказательство». Ферма умер в 1665 году, а доказательство не найдено по сей день. Над ним уже три столетия тщетно ломали и ломают головы знаменитейшие математики, в том числе Лагранж, Эйлер и Гаусс. В 1908 г. дармштадтский ученый профессор Пауль Вольфскель завещал сто тысяч марок тому, кто найдет

---

28 E. T. Bell, *Les Grands Mathématiciens,* Paris, 1950, p. 68.

29 *Oeuvres de Fermat,* Paris, 1891, t. I, p. 291.

полное доказательство последней теоремы Фермата[30]. Никто до сих пор премии не получил, а вследствие германской инфляции премия обратилась в ноль... Простите эти небольшие замечания, не имеющие прямого отношения к нашему спору. Из них виден образ человека: в политике «centre gauche», в жизни благодушный, лукавый наблюдатель событий, одинаково чуждый и карнеадовскому цинизму, и страстной, аскетической, построенной на крайностях натуре Паскаля, с которым его непонятным образом связывала тесная дружба (психологически было бы естественнее, еслиб они друг друга ненавидели). И перед столь разными людьми стоял один и тот же вопрос о *вероятности* истины. Кто-то сказал, что «геометрия случая» появилась в мире по случайности. Ну, что ж, для создания закона всемирного тяготения потребовалось, чтобы с дерева упало яблоко, но потребовалось также, чтобы при этом оказался Ньютон. Так и здесь. Для создания математических теорий вероятности нужно было, чтобы у шевалье де Мере за игрой в трик-трак произошел какой-то редкостный казус, но нужно было также, чтобы он был знаком с Паскалем...

Л. — Простите, я не помню: какой шевалье де Мере и при чем тут еще и он?

А. — Тогда «отступление в сторону». Шевалье Антуан де Мере был игрок, светский шалопай и очень образованный человек, недурно писавший мадригалы и разные очерки. Он был хорошо знаком с Паскалем. Тут уж казалось бы, на заказ трудно было и подобрать человека, который должен был бы возбуждать такое отвращение у Паскаля, как этот шевалье. Он был вдобавок влюбленный в себя фат и невероятный хвастун. Семидесяти лет отроду, узнав, что мадам де Мэнтенон доби-

---

[30] В комиссию Wolfskell-Stiftung входили Элерс, Гильберт, Клейн, Минковский и Рунге (см. ее *Bekanntmachung*).

лась, наконец, своей цели и выходит замуж за Людовика XIV, он явился к ней и предложил ей свою руку и сердце: он тоже готов на ней жениться. Воображаю изумление маркизы! Она всё же предпочла выйти замуж за короля. К Паскалю Мере относился благодушно покровительственно, считал даже себя его учителем в математике. Тем не менее Паскаль отзывался о нем скорее тепло[31]. В один прекрасный день 1654 года Мере задал Паскалю два вопроса, касающиеся игры в трик-трак. У великого человека мгновенно возникла мысль о возможности математического подхода к этим вопросам. Он и нашел новые методы математического мышления, которыми через полтора века еще восхищался Лаплас. По другой случайности, вышло так, что своим открытием он поделился с Ферматом. Тот чрезвычайно заинтересовался, послал Паскалю свое решение, сходное и более общее. Таким образом создалась теория вероятностей. Эти два гениальных или даже сверхгениальных человека не занимались ее приложением к социальным проблемам. Семнадцатый век вдобавок был для этого неподходящим временем. Они исходили из с л у ч а я в самой маловажной его форме: Паскаль и Фермат игроками не были, да и для человечества не представляло большого интереса, к а к будет вестись игра в трик-трак и можно ли вообще играть «разумно». Учение Паскаля-Фермата осталось почти незамеченным. К нему вернулись по-настоящему в восемнадцатом столетии. Отчасти вернулись в связи с проблемами страхования людей от смерти. Но мог быть интерес и гораздо более общий. В начале столетия Николай Бернулли, член известной династии швейцарских математиков, напечатал работы своего уже умершего дяди[32]. Следуя за Гюйгенсом, Бернулли дал ее

---

[31] Письмо Паскаля к Фермату от 29 июля 1654 года.

[32] Jacques Bernoulli, *L'Art de Conjectures*. Цитирую по изданию 1801 года (Caen, An X). Николай Бернулли сообщает, что

первое основное положение. Теория вероятностей была впервые дана в ее развитой форме. Нелегко передать впечатление, какое она тогда произвела. Время переменилось, настал восемнадцатый век, век разума, век оптимизма, век безграничной веры в знание. Новая наука не дала, но обещала ответ на очень многое. Она отвечала эпохе и ее wishful thinking: всё можно будет со временем подвергнуть математическому расчету, можно будет предсказывать события, устанавливать коэффициент человеческих ошибок в науке, в правосудии, в политической жизни, в общественном строительстве, — можно будет, значит, и вносить соответственные поправки[33]. Были увлечены чуть ли не все математики и философы. Насколько мне известно, единственное исключение — и странное — составил д'Аламбер. Странное потому, что, по своей пламенной вере в торжество разума, он должен был бы ухватиться за новую науку крепче, чем кто-либо другой. Зато столь близкий ему по духу Кондорсе увлекается больше всех. Он хочет создать «социальную математику». Впрочем, он допускает, что в общественных науках не всё будет доступно исчислению и предвидению; однако разве дело не обстоит так же с физикой и с близкими к ней точными науками? И там, и здесь есть «бесконечное множество предметов, к которым всегда будет закрыт доступ математике; можно на это себе ответить, что и там, и здесь число вещей к которым математический анализ может быть применен, столь же безгранично»[34]. Труд Кондорсе характерно и называется: «Опыт применения анализа к вероятности решений, при-

---

его дядя изложил свои мысли впервые в мемуарах Академии Наук в 1705 году и в «Эфемеридах Парижа» в 1706 году. Автор настоящей книги этих статей не видел.

[33] См. об этом в не очень ценной и безнадежно устаревшей работе Шарля Гуро, вышедшей более ста лет тому назад.

[34] Condorcet, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix,* 1785, p. CLXXXIX.

нимаемым большинством голосов». Уж если можно применять теорию вероятностей к решениям будущего Учредительного Собрания (книга появилась за четыре года до революции — и за девять лет до самоубийства автора), то к чему же собственно ее применять нельзя! Кондорсе не только верил в будущее торжество разума, но не сомневался в его близости. Теория вероятностей обещала победу над случаем, — чего же было желать еще! Легко было математику Бертрану через сто лет после того говорить об очевидных ошибках и наивности Кондорсе[35]. Тогда его труд был принят иначе: он отвечал настроению эпохи. Менее простительно было такое настроение Лапласу, по крайней мере в ту пору, когда он писал «Essai philosophique sur les probabilités». Удивительное дело: в этой книге перечисляются почти все его предшественники по созданию и по применению теории вероятностей, но имени Кондорсе Лаплас не произносит, хотя писали они в сущности на одну и ту же тему и почти в одном и том же духе.

Л. — Это, быть может, по политическим соображениям было не очень удобно наполеоновскому графу, позднее ставшему королевским маркизом. Лаплас, при всем своем гении, был лукавый царедворец. В 1810 году он посвятил свой труд «Наполеону Великому», а после крушения Наполеона довольно бессовестно, хотя и совершенно справедливо, писал: «Взгляните, в какую бездну несчастий часто погружает народы честолюбие и коварство их вождей». Мог ли такой человек сочувствовать погибшему жирондисту, одному из светских святых революции?

А. — Вы видите, что и вам не всегда удается отвлекаться от личности и биографии ученого. Тут ничего непозволительного нет, особенно, когда дело идет о Лап-

---

[35] J. Bertrand, *Colcul des probabilités*, Paris, 1889, p. 320.

ласе: он тоже достаточно «красочная» фигура. Всё же ваш подход к нему частью политический, частью моральный. Я ставлю вопрос иначе. В 1814 году всё, случившееся в мире в течение двадцати пяти лет, могло казаться людям лишь глупой шуткой. На престол казненного Людовика XVI вступил его брат, и совершенно непонятно было, зачем и во имя чего погибло несколько миллионов людей. О торжестве разума тогда было говорить уже довольно неловко, тем более, что, на беду, теория вероятностей ровно ничего не предсказала. Но во взглядах Лапласа никакой перемены не произошло. Напомню вам его сто раз с толком и без толку цитировавшуюся фразу: «Ум, который в известный момент знал бы все действующие в природе силы и относительное положение составляющих ее существ, — если бы он был достаточно обширен для того, что бы подвергнуть анализу эти данные, — мог бы объединить в одной формуле движения самых великих тел и самых легких атомов: ничто не было бы ему неизвестным, его взору предстало бы будущее, как прошлое»[36].

Л. — Что ж, эта мысль сродни учению Декарта и отвечает «картезианскому состоянию ума».

А. — Ни в какой мере. Лаплас не очень любил «картезианское состояние ума» и недолюбливал самого Декарта[37]. В истории точных наук, кажется, не было слов более знаменитых, чем приведенная мною фраза Лапласа. Ею восторгалось несколько поколений ученых, да, может быть, продолжает кое-кто восторгаться и в нынешнем поколении. Но, кажется, не было и слов более антифилософских, — даже не грубо-материали-

---

[36] Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*, Paris, 1921, v. II, p. 3.

[37] Laplace, *Exposition du Système du monde*, Oeuvres complètes, Paris, 1884, vol. VI, pp. 454-5.

стических, а почти маниакально-механических. Это получше «Бюхнеров и Молешотов», получше и диалектического материализма, который, по крайней мере в его новейшем выражении, такого механизма и не проповедует (хотя всем видам материализма отказываться от фразы Лапласа было бы одинаково трудно). Отмечу и странную судьбу этой фразы, — как бы завещания 18-го века 19-ому в истории точных наук. Ее считали откровением, но следовать ей в изысканиях было невозможно: можно было только скорбеть о том, что такой «ум» еще не появился на свет Божий... Кажется, Н. О. Лосский высказал мысль, что в условиях свободы диалектический материализм переродился бы в одну из идеалистических систем. С механизмом лапласовского вида и этого случиться не могло бы. Если бы по случайности нашлась какая-либо государственная власть, которая сделала бы с ним то же, что советская власть сделала с историческим материализмом, т. е. объявила его обязательным ученьем и десятилетьями вдалбливала его в головы своих граждан, то они задохлись бы в «Лапласизме» еще гораздо хуже, чем теперь Россия задыхается от советской метафизики. С ним просто нечего было бы делать и некуда ткнуться, тогда как при помощи методов нынешней советской философии всё-таки можно изучить, например, вопрос об исторической роли хлопководства в Туркестане. Непонятно, что сказал эти слова именно Лаплас, видевший вблизи, как происходят большие исторические события. На его глазах прошла французская революция, он был министром Наполеона, хорошо его знал и мог бы видеть, определялись ли «движением атомов», могли ли бы быть «объединены в общую формулу» решения, от которых зависели судьбы мира. Что ж делать, можно быть гениальным математиком, никак не будучи философом. Лаплас вдобавок в душе ненавидел и презирал всё «метафизическое». Пуассон, во многом похожий на Лапласа, в частном разговоре однажды со-

общил, что они вдвоем часто проходили по Avenue de l'Observatoire, почему-то всякий раз, вступая на эту прекраснейшую из улиц, начинали беседу на «метафизические» темы — и всякий раз, доходя до какого-то дерева в конце улицы, Лаплас неизменно произносил непристойные слова. Эти два великих математика были настоящими энтузиастами теории вероятностей; едва ли кто другой больше, чем они, способствовал ее необычайному развитию. Но думаю, что философская сторона этой теории была им не очень ясна. Они не видели и того, что исходят из аксиоматики всё-таки произвольной. Через сто лет после них известный физик Липпман говорил Анри Пуанкаре об основной теореме теории ошибок: «Все в нее верят, так как экспериментаторы считают ее математической теоремой, а математики думают, что она экспериментальный факт»[38]. Это порою случается и с общими положениями теории вероятностей. В философском отношении некоторые из них всё-таки недалеко ушли от простой неученой человеческой речи с простыми неучеными определениями: «верно», «вероятно», «похоже на правду», «сомнительно», «ложно», «нелепо».

Л. — Вы много говорили об определениях случая и предложили одно, весьма странное. Есть ли у вас заодно и определение смежного понятия вероятности? Математики его дают. Не знаю, как философы, в частности те, которые занимались историей математических наук.

А. — *Философского* определения вероятности не дают ни те, ни другие. Курно вначале вообще не хотел пользоваться этим понятием, — так оно неясно[39]. В не-

---

[38] Trechet et Halbwachs, *Le Calcul des Probabilités,* Paris, 1924, p. IX. Не называя имени Липпмана, Пуанкаре сам об этом рассказал в *La Science et l'hypothèse.*

[39] M. A. Cournot, *Exposition de la Théorie des Chances et Probabilités,* Paris, 1843, p. V.

давнее время прямо или косвенно возражали против него Анри Пуанкаре и особенно Бертран. Мизес, кстати, указал[40], что самое слово «вероятность» Гете употреблял не в том смысле, в котором его употребляют математики. Конечно, семантические соображения большого значения не имеют. Отмечу попутно, что Курно был не очень доволен и словом «hasard»: «Оно иностранного происхождения и случайного ввоза (d'importation accidentelle) и не принадлежит к органическому фонду языка»[41]. Кант говорит: «Вероятностью называется то, что имеет на своей стороне больше половины уверенности (Gewissheit), дабы быть признано истинным». Уж лучше тогда пользоваться одними математическими определениями. А такие понятия теории вероятностей, как «математическая надежда», «моральная надежда»? Если не ошибаюсь, в русской науке Чебышев первый стал пользоваться термином «математическое *ожидание*»[42], который, по-крайней мере, свободен от элемента желательности, присущего слову «надежда». Да и он свое выражение предлагает в несколько условной форме: «Если мы примем называть вообще математическим ожиданием» и т. д. Быть может, не слишком удачно тут и слово «моральный». О «моральной надежде» сам Лаплас говорит, что она «определяется (se règle) тысячей обстоятельств, точно расценить которые невозможно»[43]. Спорны в философском отношении и понятия «равновероятный», «равновозможный», — «equiprobable», «gleichmöglich». А можно ли считать философски бесспорным основное поло-

---

[40] Richard von Mises, *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit*, Wien, 1928, pp. 10 и 182.

[41] M. A. Cournot, *Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme*, Paris, 1875, p. 305.

[42] П. А. Чебышев, *Сочинения*, Петербург, 1899, т. I, стр. 687.

[43] Laplace, *Théorie analytique des Probabilités*, Oeuvres complètes, Paris, 1886, vol. VII, p. 441.

жение теории вероятностей, первый принцип Лапласа: «Вероятность это отношение числа благоприятных случаев к числу всех случаев возможных»? Пуанкаре считал его сомнительным. Так же как будто относится к нему и Мизес, который своей теорией «коллективов» один, после Курно, внес нечто новое в философскую часть теории вероятностей. Лаплас (да и другие до него и после него) называл это положение неопределенным словом «принцип». Это, конечно, не теорема, так как она не доказана и недоказуема. Это и не гипотеза, так как на ней построена вся теория вероятностей, а трудно было бы построить огромную науку на недоказанной гипотезе. Вы видите, что это произвольная аксиома, оказавшаяся необычайно плодотворной.

Л. — Это положение самого обыкновенного здравого смысла. Лаплас и называет теорию вероятностей «здравым смыслом, сведенным к вычислению», «le bon sens réduit au calcul»[44].

А. — Здравый смысл говорит также, что через одну точку можно провести на плоскости только одну линию, параллельную данной прямой. Быть может, теория вероятностей еще ждет своего Лобачевского. Первые философские возражения были против нее сделаны еще в 18-ом столетии, повторяю, д'Аламбером. Его скептические замечания вызвали против него резкие и даже грубые нападки. «Некоторые большие геометры, — пишет он сам, — признали мои сомнения заслуживающими внимания. Другие большие геометры нашли их *абсурдными,* — зачем смягчать употребленные ими выражения?»[45]. Я не мог установить, кого д'Аламбер разумел

---

[44] Laplace, *Essai philosophique sur les Probabilités,* v. II, p. 105.

[45] D'Alambert, *Doutes et questions sur le calcul des Probabilités. Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie,* Amsterdam, 1767, vol. V, p. 275.

под первыми «большими геометрами». К вторым же принадлежал Даниель Бернулли, который отозвался об его соображениях даже в еще более сильных выражениях («ridicule»). К чему сводилась критика д'Аламбера? Он указал на разницу между математически-возможным и физически-возможным. Математически совершенно возможно, что, в игре в чёт и нечёт, чёт выпадет подряд сто или тысячу раз, а нечёт не выпадет ни разу. Однако, этого физически быть не может. Собственно, полагалось бы дать доказательство физической невозможности этого; д'Аламбер привел лишь аналогию: «Можно дать только следующую ее причину: не бывает в природе, чтобы эффект был всегда и неизменно один и тот же, как нет в природе сходства между всеми людьми, между всеми деревьями». Мы опять тут видим, как опыт или наблюдение легко меняются местами с математической дедукцией в проблемах теории вероятностей. Примером могла бы быть и так называемая «Петербургская проблема», чрезвычайно занимавшая математиков восемнадцатого века. Математически было бы совершенно возможно, чтобы, при игре Павла с Петром, с такими-то правилами о ставках (не буду утомлять вас подробностями), Павел выиграл бесконечное число раз и выигранная им сумма превысила всякую данную величину. Петербургские и иностранные математики долго бились над этой проблемой; с философской точки зрения она собственно не разрешена и до сих пор. Один из ученых даже договорился до такого довода: такая возможность при игре Павла с Петром исключается, так как состояние Петра, как бы богат он ни был, всё же имеет пределы; он не мог бы проиграть больше того, что у него было! — По свойству человеческой природы, мы легче воспринимаем не математические, а физическую возможность и невозможность. Если в рулетке, скажем, номер 22 выпадет пять раз подряд, то верно ни один игрок не поставит на него в шестой, хотя математически он может так же

легко выпасть снова, как может выпасть какой угодно иной номер. В романе капитана Марриетта «Простак Питер», во время морского сражения ядро пробивает дыру в палубе враждебного судна. Находящийся на этом судне молодой моряк уткнул в эту дыру голову, «ибо, по вычислениям профессора Иннмана, есть 32,647 с десятыми шансов против того, чтобы в ту же дыру попало еще второе ядро». Я не читал этого романа, но нашел упоминание о моряке и ядре в книге доктора Левинсона[46]. Конечно, профессор Иннман никаких таких «вычислений» сделать не мог — и не только потому, что никогда не существовал. Но не-ученому человеку вы в подобном случае и не вдолбили бы в голову, что второе ядро может с одинаковой математической вероятностью угодить и в эту дыру, и в любую другую точку судна. Это шутка романиста. Возможна, однако, гораздо более серьезная философская критика теории вероятностей. Вероятное, правдоподобное предполагает существование верного, правды. Но если правда сама основывается на теории вероятностей, то получается внутреннее противоречие или заколдованный круг. То, что относится ко всем научным законам, должно ведь относиться и к закону больших чисел. «Случай есть нечто стоящее вне законов». Тогда не ищите закона для случая. «Случай есть псевдоним нашего незнания»? Какая же у незнания может быть теория? Основной закон Бернулли висел в воздухе до того, как Чебышев дал ему чисто-математическое доказательство. Из десяти принципов Лапласа, из которых я привел лишь один первый (основной принцип всей теории), лишь немногие, никак, например, не третий и четвертый[47] (тоже основной и чрезвычайно важный), выдержа-

---

[46] H. C. Levinson, *La Chance,* Paris, 1952.

[47] Laplace, *Essai philosophiques sur les Probabilités,* Paris, 1921. v. I, p. 11-13. Этот принцип, согласно которому сложная вероятность представляет собой произведение простых вероятностей, обычно включается в теорию, как второй.

ли бы строгий и критический экзамен. Теория вероятностей могла бы откровенно это признать (но не признала), и это нимало не уменьшило бы ее огромного значения, как новые геометрии не уменьшили значения геометрии Эвклида, — она ведь осталась полезнейшей и необходимейшей из геометрий. Так и теория вероятностей оказывает человечеству очень большие услуги, хотя и не в тех областях, к которым ее пытались применить Кондорсе, Лаплас и Пуассон. Очень высока и ее внутренняя ценность, не уступающая ценности учений Лобачевского и Гильберта. Главная же ее заслуга в том, что она до сих пор — самая мощная, самая общая и самая успешная попытка человеческой мысли *ограничить роль случая во многих областях познавательного.* Это должен был с особенной ясностью чувствовать Паскаль. Бессмертная книга «Мыслей» вся насквозь проникнута «метафизическим ужасом» перед мощью Случая с большой буквы. Это, конечно, не имеет отношения к его соображениям о задаче де Мере: трик-трак метафизического ужаса вызывать ни у кого не мог. У людей же 18-го века, вместо метафизики, столь им ненавистной, было просто глубокое сознание того, что надо бы свести случай к минимуму, надо, чтобы и войн не было, и чтобы невинных людей не отправляли на казнь. Когда Кондорсе в последние недели жизни, скрываясь от властей, ожидая каждый час ареста и казни, писал «Esquisse d'un tableau historique du progrès de l'ésprit humain», со всей прежней трогательной и непонятной верой в близкое торжество Разума, он верно и думать забыл о своей книге по теории вероятностей. Но если бы о ней вспомнил, то, конечно, пришел бы к выводу, что оба эти его труда, столь несходные по форме, исходили из одних и тех же душевных настроений и служили одной и той же цели. От этой веры 18-го века наука, конечно, отошла. Она и в детерминизме теперь уверена не очень твердо.

Л. — Еслиб наука отказалась от детерминизма, то

она тем самым вообще покончила бы с собой, и это было бы, разумеется, наиболее трагическое харакири в истории мысли: при отрицании детерминизма никакое научное исследование вообще невозможно. Вы, вероятно, здесь имеете в виду уравнения Гейзенберга? Но с ними просто произошло недоразумение[48]. Вопрос об индетерминации, к которому они имели отношение в одной частной физико-математической теории, смешали с общим спором о детерминизме и индетерминизме.

А. — Не уверен, что вы правы: кто, быть может, смешал, а кто и не смешивал. Принцип Гейзенберга может быть верен или неверен, причинность может быть «ограниченной» или нет, но к случаю это отношения не имеет. Я приведу вам, в несколько измененной и «модернизированной» форме, превосходный пример Курно. Человек Икс выходит из дому на улицу. Он делает это по известным *причинам:* скажем, прогулка полезна для его здоровья; или же он привык уходить в тот час, когда у него убирают дома кабинет; или же у него назначено в это утро свидание; или ему нужно что-то купить. Можете прибавить к этим сознательным мотивам еще несколько полусознательных или подсознательнах, вплоть хотя бы до Фрейдовских. Как бы то ни было, перед вами тут реальная конкретная цепь причинности. Но наряду с ней, совершенно независимо от нее, действуют другие сходные цепи. В конце улицы, на которой живет этот человек, стоит высокий старый дом, по таким-то причинам нуждающийся в ремонте. Его владелец, по своим соображениям, решается произвести ремонт. Под крышей на подмостках работает каменщик Игрек. Он работает плохо: стар, или болен, или устал, или в этот день много выпил.

---

[48] Знаменитый физик, профессор Ланжевен, в давнем разговоре с автором этой книги, сказал «Принцип Гейзенберга не очень хорошо поняли и физики. Философы же его совершенно не поняли».

В ту минуту, когда человек Икс проходит по тротуару мимо этого дома, человек Игрек неумышленно роняет ему на голову тяжелый кирпич, — его рука со скрюченными от ревматизма пальцами этого кирпича не удержала. Человек Икс падает мертвый с раздробленной головой. Во всех этих отдельных цепях причинность действовала без отказа. Но скрещение цепей было случаем. Можно, конечно, придумать философские «объяснения»: например, «видно, такова была судьба Икса», — это объяснение ровно ничего не объясняет, да собственно ничего и не значит. Наука в этом и в других сходных объяснениях не при чём. Другие примеры Курно гораздо менее убедительны. Два брата, — говорит он, — служат в одной армии и погибают в одном сражении. Человеческий ум в этом ничего странного не находит: естественно, что братья старались держаться близко друг к другу, поэтому они попадали часто в одни и те же опасные места поля битвы и легко могли погибнуть рядом. Но вот другое событие. Знаменитые генералы Клебер и Дезэ долго были братьями по оружию, вместе сражались на Рейне, вместе отправились с Бонапартом в Египет. Затем Клебер в Египте остался, а Дезэ вернулся в Европу. Но оба они погибают *в один день и в один час:* Клебера в Каире закалывает убийца, а Дезэ под Маренго убивает австрийская пуля. Третий пример: тоже в один день и один час умирают далеко друг от друга Джефферсон и Джон Адамс, которые долго были вождями враждебных партий и один за другим правили Соединенными Штатами. Эти примеры Курно не только не поясняют идеи случая, но скорее ее затемняют. Еслиб даже было верно, что Дезэ и Клебер или Адамс и Джефферсон умерли в один *час* (разница *в минутах* во всяком случае была), то это было бы не более «неестественно», чем, например, то, что Шекспир и Сервантес оба скончались в 1616 *году,* или даже чем то, что в одном месяце, в феврале 1953 года, в Нью-Йорке и в Филадельфии умерли два знавших

друг друга столяра. Цепи причинностей тут даже не скрещиваются. Но огромной заслугой Курно, разительно сказавшейся в его первом примере, было именно разъяснение понятия цепей причинности и его применение к идее случая. Другая его заслуга в том, что он разрушил несостоятельную и даже нелепую концепцию Боссюэта-Лапласа, согласно которой никакого случая нет. Курно дал случаю и определение. Оно меня, как вы можете вывести из моего общего взгляда, удовлетворить не может, но, конечно, оно неизмеримо лучше всех дававшихся до него и после него. Вот оно: «Мы называем случайными (fortuits) или результатами случая (hasard) такие события, которые вызываются сочетанием явлений, принадлежащих к независимым цепям в общем порядке причинностей»[49]. По-моему, в учении Курно есть пять недостатков. Первый заключается в том, что он не признал *полной прерывности* общего понятия причинности, — того, что физики называют le discontinu: или же, пользуясь для иллюстрации (разумеется, только для иллюстрации) языком современных физиков, я скажу, что он мог бы ввести и не ввел в свое учение идею квант, которую Планк ввел в физику. Второй недостаток был в его подходе к цепям причинности во времени: для Курно важен лишь момент единого скрещения двух цепей А и В: тогда возникает случай. Однако цепь А имеет свою историю и до, и после момента скрещения с В. На протяжении этой истории цепь А скрещивалась с другими цепями С, Д, Е, и эти цепи оказываются вовлеченными в соотношение с цепью В. В применении к нашему примеру предположим, что раздавленный камнем человек Икс был богачом и имел завещание, по которому его состояние отходило к его молодой жене. Оставшись неожиданно вдовой, она через год или через десять лет

---

[49] M. A. Cournot, *Exposition de la théorie des chances et des probabilités*, Paris, 1843, p. 73.

выходит замуж за бедного человека Дзет, жизнь которого таким образом меняется в прямой зависимости от скрещения цепей А и В, т. е. от несчастного конца человека Икс. Человек Дзет следовательно вовлекается в цепь причинности до того совершенно чуждую ему: он, быть может, отроду не знал и не видел человека Икс.

Л. — По-моему, тут противоречие. Можно говорить либо о первом «недостатке», либо о втором. Выходит как будто, что у вас причинность то прерывна, то беспрерывна.

А. — Тут противоречия нет, ибо цепь беспрестанно перескакивает из одной плоскости в другую... Винсент Шин где-то говорит: «у каждого из нас есть две жизни: та, которая есть, и та, которая могла быть». Не могу с этим согласиться: у каждого из нас есть подлинная жизнь и *тысяча* других возможных... Третий, уже иного порядка, недостаток учения Курно заключается в принимаемом и им принципиальном различии между явлениями малыми и глубокими. На самом деле никакого принципиального различия тут нет: вторые интеграл первых. Часто, например, теперь различают так называемую «малую историю», la petite histoire, от истории «настоящей» или «большой». И здесь нет ни малейшего принципиального различия. Четвертый недостаток Курно разделяет со всеми классиками теории вероятностей. Он не видел, что в основе этой теории лежат произвольные аксиомы. Правда, он писал до революции, произведенной в геометрии Гильбертом, и мог не знать о другой, гораздо более ранней революции, произведенной Лобачевским. И, наконец, пятый недостаток, тоже общий у него, по крайней мере, с Кондорсе, Лапласом и Пуассоном (никак не с д'Аламбером): он верил в возможность применения теории вероятностей к целому ряду научных «дисциплин», в которых ей решительно нечего делать. Курно родился в 1801 году, но, по общему складу своего ума, он всё-таки

еще был человеком 18-го столетия со всеми его иллюзиями.

Л. — Вы этих иллюзий не разделяете. К каким же научным дисциплинам вы считаете эту теорию неприложимой?

А. — Я считаю ее неприложимой именно к тому, к чему ее прилагали Кондорсе, Лаплас, Пуассон и столь многие другие. Возьмите любой современный курс этой науки, — вы увидите, что в первой части даются ее общие положения с разными иллюстрациями, в частности с неизменным в течение почти трех столетий, очень полезным, но немного надоевшим примером шаров и орла и решетки; затем начинаются главы о применениях в разных науках, в разных кругах явлений: теория вероятностей в физике, в химии, метеорологии, в климатологии, в биологии, в статистике, в страховом деле, в социологии, в истории, в свидетельских показаниях, в судебных решениях, в парламентских голосованиях и т. д., вплоть до явлений сомнамбулизма (о которых есть что-то не совсем мне понятное у самого Лапласа). Так, в старых учебниках по этике, сначала дается чистая этика, излагаются ее обоснования, ее история, а затем начинаются главы об этике в личной жизни, в политике, в семье, в браке, в отношении к жене, в педагогии и т. п. Едва ли нужно говорить, что некоторые применения теории вероятностей не только совершенно законны, но и дали превосходные, ценнейшие результаты. Могут быть и еще новые, тоже совершенно законные и даже обязательные, ее приложения. Думаю например, что подготовка войны может и будет все в большей мере основываться на теории вероятностей. Да так собственно было и в прежние времена, только тогда хорошие военные министры руководились ею бессознательно, быть может, никогда о ней и не слышав (до Паскаля и Фермата теории вероятностей не было, но хорошие военные министры были). При со-

здавании вооруженных сил страны можно до некоторой степени исходить из соображений вероятности, особенно в подсчете того, чем располагает и будет располагать противник. Да и тут возможны полные сюрпризы. В 1939 году ни один человек на свете об атомной бомбе не думал. Чем больше места занимает в данном круге явлений вопрос о вероятности *причины,* тем труднее в ней работать с теорией вероятностей. Чем меньше данный круг явлений насыщен числами, тем меньше эта наука к нему приложима. К биржевым спекуляциям она поэтому приложима лучше, чем ко многому другому. Но если бы, скажем, Бернулли, пользуясь всеми им найденными секретами теории вероятностей, играл на бирже, он наверное потерял бы состояние, ибо, по самому складу своего ума, едва ли мог разбираться в «вероятности причин», экономических, политических, психологических, действовавших в Европе в его время. Любой биржевик наверное понимал их много лучше, — хотя и биржевики не большие знатоки политической экономии, международной политики и массовой психологии. Лаплас прилагал теории вероятностей к свидетельским показаниям. Каков его исходный пункт? Свидетель говорит, что в такой-то лотерее, включающей тысячу номеров, выпал номер 79. «Допустим, — начинает Лаплас свою (очень стройную) цепь доказательств, — опыт показал, что этот свидетель обманывает один раз из десяти». По первому общему положению теории вероятностей, вероятность выпадения одного номера из тысячи равна 1/1000, и т. д. — отсылаю к его труду. Допустим, что его общие положения неоспоримы. Но каким образом «опыт» мог бы показать, что один раз из десяти свидетель лжет? Лаплас не обязан был быть психологом (хотя в жизни он не раз обнаруживал достаточное знание людей). Однако в психологическом отношении его математическое допущение абсурд. Барон Мюнхгаузен наверное иногда говорил правду. Сократ наверное иногда лгал. Обыкновенный че-

ловек то говорит правду, то лжет. Это было и без Толстых, Прустов и Фрейдов, а в свете их психологических находок это еще много вернее. Пьер Безухов — правдивейший из толстовских героев и правдивейший из людей; но, когда его арестовывают французы во время пожара Москвы, он, «сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь», сообщает им, что спас из огня свою собственную дочь. Какая же тут может быть статистика: «обманывает один раз из десяти»! И как на такой основе применять теорию вероятностей?

Л. — Это возможно, так как все выводы теории вероятностей имеют силу лишь тогда, когда относятся к достаточно большому числу фактов одного коллектива (употребляю это слово в смысле Мизеса).

А. — Отчасти именно это и лишает их практического значения. Кондорсе поставил себе вопрос, сколько присяжных нужно для того, чтобы исключалась возможность судебной ошибки. Но если и принять его расчеты, то выходит, что для этого нужно колоссальное число присяжных, и следовательно никакого практического применения идея Кондорсе иметь не может. Борель, тоже фанатик теории вероятностей, перевел на ее язык заповедь «Люби ближнего как самого себя». В интерпретации Бореля, которую он считает единственной разумной, эта заповедь имеет следующую форму: «Рассматривай каждого из твоих ближних не как свой эквивалент во всяком случае, но как эквивалент части тебя самого, заключающейся в пределах между нолем и единицей, никогда не достигающей нижнего предела (ноля), но могущей порою достигнуть высшего предела (единицы)»[50]. Боюсь, что от этой интерпретации не будет большой пользы ни религии, ни этике, ни теории вероятностей. А как прилагать эту последнюю теорию к нау-

---

[50] Emile Borel, *Le Hasard,* Paris, 1948, p. 195.

ке исторической? В истории действуют биллионы биллионов отдельных цепей причинности. Поэтому ее «законы» совершенно недостоверны. Она истинное царство случая. Мы могли бы взять темой нашей следующей беседы именно роль случая в истории.

Л. — Этот вопрос не имеет смысла именно с *вашей* точки зрения, по крайней мере в той ее форме, которую вам угодно было назвать «заостренной»: если случай есть «всё что происходит во Вселенной», то как же его *выделять* из истории?

А. — Я говорил вам о различии между случаем *непосредственным* и случаем *отдаленным*.

Л. — Этого, по-моему, недостаточно. Но подождем ваших исторических разъяснений. Что ж, я так и назову «философией случая» вашу систему мыслей.

А. — Если непременно хотите придумать название. Но вы при этом выдвинете одно ее слагаемое из трех.

Л. — Зато, вероятно, самое главное.

III

ДИАЛОГ О СЛУЧАЕ В ИСТОРИИ

а) — О войне 1812 года

А. — В трудах по теории вероятностей, по крайней мере многих, классических и современных, вероятность *причины* часто противопоставляется вероятности *случая*. По всему тому, в чем я вас пытался убедить до сих пор, это противопоставление не имеет смысла, так как случай нисколько причинности не противоречит. Но когда мы говорим об истории, то противопоставлять надо не вероятности причины и случая, а вероятности *разных* причин. Это необычайно осложняет вопрос: здесь уже не чет или нечет, не орел или решетка, не детерминизм или индетерминизм неорганического мира. Ученые, пытающиеся приложить теорию вероятностей к историческим событиям, в сущности берут у нее лишь начала ее языка, да еще ее первый постулат: «Вероятность это отношение числа благоприятных случаев к числу всех случаев возможных». И тотчас оказывается, что с этим ученым аппаратом в истории решительно нечего делать. Во-первых, знаменатель тут приближается к бесконечности, так как возможно в истории решительно всё. Во-вторых, числитель имеет характер неопределенный: то, что историческому деятелю кажется «благоприятным случаем», сплошь и рядом затем оказывается неблагоприятным; да и сам этот исторический деятель в процессе хода событий совершенно меняет свою цель, — производит перемену политической самооценки. В-третьих, в *настоящей* теории вероятностей явления однородны: в ней, например, вычисляется, как может падать шарик рулетки, но

она не соединила бы в вычислениях скачки этого шарика со скачками кошки или шахматного коня. И, наконец, в-четвертых, лишь очень немногие из исторических явлений имеют численное выражение, и потому математика тут оказывается ни при чем. То, что ученые, якобы применяющие методы теории вероятности, гордо и тщетно, пытаются в истории понять или даже — задним числом — предсказать, сводится именно к неученым словам: «возможно», «вероятно», «сомнительно», «нелепо», которыми Фукидиды и Тациты пользовались за тысячелетия до теории вероятностей. Последним примером ее применения к так называемым гуманитарным наукам была книга Вандриеса, очень интересное ученое исследование об египетской экспедиции Бонапарта[1]. Этот автор вводит в историю новое *слово*: «историческая надежда» (l'espérance historique), по образцу «математической надежды», о которой мы говорили. Слово хорошее и, быть может, войдет в употребление. Но в *понятии* ничего нового для историков нет: они только выражали его прежде более простыми словами. Добавлю, что Бонапарт был для этого нововведения довольно неподходящим человеком. Люди, применяющие теории вероятностей к истории, должны в принципе отвергать роль личности в событиях...

Л. — Почему же «отвергать»? Они в принципе, вероятно, хотят ее учитывать.

А. — Это невозможно, — особенно, когда имеешь дело с такой натурой, как Наполеон... Если кто мог бы применять теорию вероятности к истории, то уж, конечно, Курно, который писал и исторические работы. Он этого не сделал. В своих «Considérations» он осторожно говорит, что роль случая в политической истории всегда го-

---

[1] Pierre Vendryès, *De la probabilité en histoire. L'exemple de l'expédition d'Egypte,* Paris, 1952, pp. 63-65.

раздо больше, чем в точных науках[2]. Курно занял в этом вопросе позицию промежуточную. Он допускает *возможность* самых странных событий. Говорит, например, что еслиб Наполеон погиб где-либо между русской границей и Москвой, то Россия, Англия, Австрия, Пруссия могли бы договориться с императорской Францией, и «империя без императора» долго существовала бы и жила бы с ними в мире[3]. Так как Наполеон действительно легко мог быть убит в 1812 году, то в смысле недоверия к «законам истории» и я ничего не мог бы больше потребовать от Курно... Жду с нетерпением и трудов тех ученых, которые очень точно и очень серьезно сведут к «законам истории» бедламическую жизнь Гитлера, покажут, почему он не мог не прийти к власти в Германии, объяснят, почему он не мог в конце концов не потерпеть крушения, — иными словами, по выражению Клемансо, предскажут всё, что было. Они объяснят даже, почему у Гитлера не оказалось атомной бомбы. Рузвельт дал деньги на ее создание по совету Эйнштейна. Гитлер не дал, несмотря на то, что ему это советовал Гейзенберг. Еслиб она появилась раньше в Германии, кто знает, чем кончилась бы война? Это кстати не дает особенных гарантий прочности свободных учреждений в мире. Война и есть истинное торжество случая. Искусство выдающегося полководца именно заключается в умелом, талантливом, смелом использовании тысячи благоприятных случайностей... Позвольте же для нашей первой беседы о роли случая в истории взять именно войну 1812 года.

Л. — Я предпочел бы примеры чисто-политические: в военных делах мы с вами одинаково некомпетентны.

---

[2] A. Cournot, *Considérations sur la marche des idées et les événements dans les temps modernes,* Paris, s. d., vol. I, p. 7. — Почти непостижимо, что Эрнст Трельш в своей огромной и столь ученой книге по философии истории даже не упоминает о Курно.

[3] Cournot, там же, vol. II, pp. 345-6.

А. — Другие два примера будут чисто-политическими, да и этот ведь не чисто-военный: «война есть продолжение политики». Наполеон в июне 1812 года начинает войну с Россией. Это было далеко не самое отважное из его предприятий. Он всю жизнь был отчаянным игроком. Египетскую экспедицию Жак Бэнвилль справедливо считал чистым безумием. Не было ведь и одного шанса из ста, что французский дессант пройдет через Средиземное море, не встретившись с английским флотом, — а это означало бы почти неминуемую катастрофу. Так думали и многие участники экспедиции, например будущий маршал Мармон[4]. Тысяча счастливых случайностей, в том числе и метеорологических, были причиной того, что доплыть до Египта удалось. Естественно напрашивается замечание: «победителей не судят». Действительно, судят редко: Бэнвилль по резкости суждения выделяется среди историков. Но был ли тут Бонапарт победителем и, если не был, то в каком смысле? После высадки французская эскадра была уничтожена Нельсоном. Историческая «ответственность» была возложена на ее командующего, который, вероятно, был бы даже предан суду, когда бы не погиб в Абукирском бою. А был ли виноват этот адмирал Брюес, с самого начала не веривший в успех экспедиции? Во всяком случае, Бонапарт избежал всякой ответственности: его армия успела высадиться до поражения на море, и сам он был не моряк. Еслиб Нельсон, признанный гений морского дела, не прозевал в Средиземном море французскую эскадру, то, конечно, Бонапарт погиб бы или был бы взят в плен, и вся история дальнейших двадцати лет пошла бы по-иному. Ничего не вышло и из завоева-

---

[4] «Мы не могли рассчитывать на победу на море, да и победа не спасла бы нашего экспедиционного корпуса. У нас не было и одного благоприятного шанса на сто: мы таким образом с легким сердцем шли на почти верную гибель» (*Memoires du duc de Raguse*, Paris, 1857, vol. I, p. 356).

ния Египта. Но это тоже не отразилось на личной карьере Наполеона. Его затея подействовала на воображение французского народа: «Пирамиды!..». Бомарше, еще доживший до египетской экспедиции, совершенно правильно сказал о Бонапарте: «Этот молодой человек работает не для истории, а для эпопеи. Он — вне правдоподобного. Всё изумительно в его действиях и в его идеях. Когда я читаю его Бюллетени, мне кажется, будто я читаю «Тысячу и одну ночь»[5]. Война 1812 года на воображение действовала меньше, но в ней, напротив, все шансы были на стороне французского императора. У него было огромное превосходство в силах. Он мог рассчитывать — и рассчитывал — на гипнотическое действие своего гения или своей военной славы: напоминаю вам, что еще в 1813 году, когда ореол его непобедимости уже был поколеблен катастрофой предшествовавшего года, союзники приняли решение: нападать на французские войска только в тех случаях, когда ими командует какой-либо из маршалов; если же командует сам Наполеон, то по мере возможности уклоняться от сражений. Далее, внутреннее положение России было непрочно: Александр I стал чрезвычайно непопулярен, из Петербурга приходили сведения, что дворцовый переворот возможен чуть ли не в любой день. Кроме того, по мнению французского императора, он в 1812 году шел «по линии прогресса», — его «несла волна», — этому он всегда придавал огромное значение. Он считал войну с Россией самой осмысленной, самой разумной из всех своих войн. Называл ее «войной здравого смысла», думал, что она отвечает интересам всей западной Европы: Россия, по ее размерам и огромному потенциальному могуществу, имела шансы в более или менее близком будущем подчинить своей власти весь мир; поэтому ее ослабление

---

[5] Ida Saint-Elme, *Mémoires d'une contemporaine*, Paris, 1895, p. 109.

будто бы было выгодно его союзникам, Австрии, Пруссии, почти всем. Наполеон никогда не имел целью расчленять и делить Россию, считал это невозможным, да и ничего не имел ни против Александра I, ни против русского народа. Хотел только (да и то без твердой уверенности в успехе) установить «барьер», воссоздав независимую Польшу. Русскому же народу собирался и помочь, — предполагал отменить в России крепостное право. Он надеялся (или говорил так), что после победы над Россией во всей Европе установится единый порядок, войн больше никогда не будет, не будет границ и виз, жители Парижа, Москвы, Варшавы, Берлина, Вены, Рима все будут везде у себя дома. На острове святой Елены он уверял, что и во Франции положил бы конец своей диктатуре, а его сын уже стал бы конституционным монархом[6]. Говорил также об единой Италии, о независимой Венгрии, о многом другом, впоследствии осуществленном, вплоть даже до прорытия канала через Суэцкий перешеек. В его словах были противоречия, кое в чем, он просто фантазировал, но общая его идея, вероятно, была именно такова. Разумеется, я ее не «расцениваю», — да и с какой «объективной» точки зрения ее можно было бы расценивать хотя бы и теперь, через полтора века? Французская точка зрения тут никак не совпала бы с русской, от обеих отличалась бы точка зрения английская, — уже не говорю о различии политических взглядов историков. Наполеон читал Тацита и мог бы именно при этом случае вместе с ним сказать: «Что до меня касается, то чем больше перебираю я в уме новых или древних событий, тем больше я во всём замечаю какую-то насмешку над делами человеческими»[7]. Во всяком случае император был убежден, что его противники ни-

---

[6] Las Cases, *Mémorial de Sainte Hélène,* Paris, 1842, pp. 341-343.

[7] *Сочинения Корнелия Тацита,* русский перевод и примечания В. И. Модестова, т. II, стр. 147. *Летопись,* кн. III, гл. 18.

чего не могут противопоставить его идее. И в самом деле, что же тремя годами позднее они ей противопоставили? Священный союз, который не революционеры и не либералы, а лорд Кэстльри назвал возвышенной мистикой и вздором: «A piece of sublime mysticism and nonsense»? Идеи князя Меттерниха? Бред госпожи Крюденер? От всего этого история не оставила ни следа. Правда, история не оставляет следа и от очень многого другого: случай съедает случай, — остаются преимущественно создания мысли и искусства. Но от идей победителей Наполеона не осталось ничего уж очень скоро. «Мог ли я думать, — спрашивал он Лас-Каза, — что именно на этом (т. е. на войне 1812 года) я потерплю крушение и что это будет моей гибелью?». Если же прилагать здесь теорию вероятностей, то, конечно, превосходство в военных силах, ореол главнокомандующего, возможность переворота в Петербурге, общая идея, руководившая Наполеоном, были благоприятными шансами, его «исторической надеждой». Только мы тут же сразу начинаем складывать шарики с кошками. Из этих благоприятных шансов имел численное выражение лишь один первый; но и без теории вероятности достаточно очевидно, что шестьсот тысяч солдат лучше, чем триста или четыреста тысяч. Что же касается знаменателя в постулате, т. е. числа *возможных* случаев, то в его основе лежат биллионы скрещивающихся цепей причинности. Возьмем лишь одну, чисто-военную, — буду ссылаться на мнения авторитетов. Вы, конечно, помните в «Войне и мире» сцену на поле Бородинского сражения. Обе стороны уже понесли огромные потери, не добившись решающих результатов. У французов потери были меньше, и старая гвардия оставалась нетронутой. «Один из генералов, подъехал к Наполеону, — рассказывает Толстой, — позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбались на бессмысленное

предложение этого генерала. Наполеон опустил голову и долго молчал. — «За восемьсот миль от Франции я не дам разгромить свою гвардию», — сказал он и, повернув лошадь, поехал назад к Шевардину».

Л. — Что же из этого эпизода следует?

А. — Тут прежде всего одна из очень немногочисленных ошибок в исторической части «Войны и мира». И даже не только ошибка, а какая-то «умышленность», вроде той, которую Толстой проявил в изображении Кутузова. Конечно, он откуда-то заимствовал этот разговор с глупым генералом, и, быть может, литературоведы установили, откуда именно. От себя он мог естественно вставить лишь художественные подробности: «переглянулись между собой», «презрительно улыбались», «опустил голову». Как известно, главными историческими источниками войны 1812 года были для Толстого произведения Тьера и Михайловского-Данилевского. Но он прочел и изучил еще немало других книг[8]. Источник в этом случае оказался неосновательный. Маршал Ней в течение всего Бородинского сражения командовал четырьмя дивизиями правого фланга, был в самой «гуще огня» и едва ли хотя бы и очень недолго мог находиться при императоре. Кроме того, Ней и Мюрат больше всех и требовали присылки подкреплений. Что же касается Бертье, то он действительно находился при Наполеоне; однако и он был одним из главных сторонников введения старой гвардии в бой. «Дарю, — пишет генерал де Сегюр, — побуждаемый Дюма и *особенно Бертье,* тихо сказал императору, что со всех сторон кричат: «Настал момент для того, чтобы гвардия пошла в атаку!». Наполеон ответил: «А если завтра произойдет

---

[8] В. Шкловский в очень интересной работе перечисляет 54 «источника» (Войны и Мира). (Виктор Шкловский, *Материалы и стиль в романе Льва Толстого «Война и Мир»*, стр. 248-9, Москва, 1928 г.).

второе сражение, с чем я его буду вести?». Министр не настаивал, однако был удивлен тем, что в первый раз император откладывает на завтра, отсрочивает свое счастье»[9].

Л. — Граф де Сегюр был участником войны 1812 года, но если вы предполагаете, что Толстой заимствовал свою сцену из воспоминаний какого-либо другого ее участника, то сообщения обоих генералов имеют приблизительно равную ценность, и автор «Войны и мира» имел право взять из них то, какое ему почему-либо казалось более точным или хотя бы даже более интересным.

А. — Это не совсем так. Вы преувеличиваете права исторического романиста. Во всяком случае, Толстой не имел права говорить, что Ней и Бертье признали предложение неназванного генерала «бессмысленным», если «со всех сторон кричали», что старую гвардию *надо* ввести в бой. Допустим, Толстой забыл об этих строках. Но Тьера он изучал самым тщательным образом. Вот что говорит Тьер: «Что касается гвардии, то она сделала бы чудеса и *желала* их сделать... Насморк, бывший у Наполеона, очень его беспокоил, однако, не настолько, чтобы парализовать его мощный ум... Окружавшим его людям Наполеон, в столь новом для него состоянии нерешительности, показался настолько необъяснимым, что они пытались говорить, будто он болен... Тем не менее, в конце концов, нельзя было знать, уж не восторжествует ли отчаянье (т. е. отчаянная храбрость русских войск) над восемнадцатитысячной гвардией и не будет ли она без пользы принесена в жертву для истребления еще нескольких тысяч врагов. Наполеону показалось, что на таком расстоянии от операционной базы было бы опро-

---

[9] Général Comte Philippe de Segur, *La Campagne de Russie*, Paris, v. I, 1936, p. 92. — Только один военный историк, Пеле, передает по-иному, в высшей степени неясно, мнение Бертье.

метчиво не сохранить в неприкосновенности единственного еще не тронутого корпуса: выгоды не компенсировали опасности. И, обратившись к своим главным офицерам, он сказал: «Я не дам разгромить свою гвардию. За восемьсот миль от Франции я не стану рисковать своими последними резервами». Тьер к этому прибавляет: «Он, конечно, был прав, но оправдывая решение, принятое им в тот момент, он тем самым выносил приговор этой войне. Во второй или в третий раз после перехода через Неман, он искупал избытком непривычного ему благоразумия ошибку своей смелости»[10]. Еще по-иному передает это происшествие участник войны 1812 года, известный генерал Марбо: «Мюрат поручил генералу Беллиару умолять императора прислать часть своей гвардии для довершения победы, иначе для победы над русскими понадобится второе сражение! Наполеон был склонен на это согласиться, но маршал Бессиер, командовавший гвардией, сказал ему: «Позволяю себе обратить внимание вашего величества на то, что вы находитесь в настоящее время за семьсот миль от Франции». Повлияло ли на императора это замечание, или он признал, что сражение еще не достигло нужной стадии, но он отказал»[11]. Как видите, окружавшие Наполеона люди даже приписывали его болезни отклонение предложения[12]. У Кутузова в тот момент оставалось не более

---

[10] A. Thiers, *Histoire du Consulat et de l'Empire,* Paris, 1856, vol. 14, pp. 345-7.

[11] *Mémoires du général Marbot,* Paris, 1891, vol. III, pp. 135-6.

[12] По парадоксальному мнению генерала Гурго, Наполеон потому не ввел в бой старую гвардию, что сражение уже было выиграно, а законы военной науки запрещают вводить в дело резервы без крайней надобности. Более основательно Гурго отвечает на довод о болезни: очевидно, император болен не был, если мог отклонить настояния генералов, требовавших отправки старой гвардии в атаку. (Gourgaud, *Napoléon et la grande armée,* Paris, 1827, vol. I, pp. 269-270).

60 тысяч солдат. Нет следовательно ничего неправдоподобного в том, что атака 18-тысячной старой гвардии действительно *могла бы* решить судьбу сражения. Повидимому, несмотря на некоторую свою уклончивость и на слова «он, конечно, был прав», отчасти склоняется к этому взгляду и Тьер, лично знавший многих участников войны 1812 года и, вероятно, отражавший их суждения.

Л. — Вероятно, вы привели несколько расходящихся версий этого эпизода в доказательство того, что сведенья о ходе сражений часто между собой расходятся? Это давно всем известно. Я никогда не мог понять, как серьезные историки посвящают толстые томы сражениям вроде битвы при Каннах, о которых почти ничего в сущности неизвестно, кроме коротких, отрывочных и пристрастных рассказов древних авторов, мало смысливших в военном деле, говоривших обычно по наслышке. Бородинское сражение происходило сравнительно недавно, но до сих пор с точностью неизвестно, сколько войск было у Наполеона, сколько у Кутузова, и какие именно потери понесли обе армии: указания историков расходятся между собой процентов на тридцать, если не больше.

А. — Это совершенно верно. Генерал Липранди, бывший в 1812 году оберквартирмейстером 6-го корпуса при Дохтурове и доживший до глубокой старости, составил сводку нескольких десятков иностранных работ об Отечественной войне[13]: двадцать восемь авторов говорили, что численное превосходство в день Бородина было на стороне французов, тринадцать держались противоположного мнения, а одиннадцать утверждали, что армии были равны. Еще значительно больше расходятся

---

[13] И. П. Липранди, *Пятидесятилетие Бородинской битвы,* Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских, 1886 г., стр. 23.

сведения о числе убитых и раненых. Но я говорю не об этом. Ошибка, допущенная Толстым, конечно, важна не сама по себе. Еслиб даже Ней и Бертье были противниками введения в дело старой гвардии, предложение не названного генерала «бессмысленным» никак считаться не могло. Воспоминания Марбо вышли уже после появления «Войны и мира». Но и до их появления о Бородинском сражении уже существовала немалая литература; романист мог и даже обязан был знать, что в ней вопрос признается весьма спорным. Однако Толстому требовалось, чтобы победа Наполеона при Бородине была и «в теории» совершенно невозможна. Тут дело было не в патриотизме: он Аустерлиц описал никак не хуже, чем Бородино. В действительности же тут ничего утверждать нельзя. Возможно, что был прав глупый генерал. Разгром русской армии *мог* означать конец войны: вдруг Александр I тогда снова, как после русского поражения под Фридландом, предложил бы победителю перемирие, а потом заключил бы мир? А может быть, прав был Наполеон: если бы сражение продолжалось и на следующий день (Кутузов действительно вначале собирался продолжать его), то с какими силами император стал бы его вести? Военный историк, стоящий за мнение не названного Толстым генерала, сказал бы, что на следующий день сражения не было и не могло быть. Военный историк, защищающий решение Наполеона, ответил бы, что при отступлении из Москвы только старая гвардия (так до конца в боях и не участвовавшая) одним своим существованием спасла французскую армию от полной катастрофы. Этот спор можно было бы и продолжить. — «Да, но в самом конце войны старая гвардия всё равно погибла от голода, холода, болезней и лишений. Бертье 4-го декабря 1812 года писал Наполеону: «Я должен доложить Вашему Величеству, что армия совершенно рассеяна и распалась, *даже ваша гвардия,* в ней под ружьем от 400 до 500 человек. Генералы и офицеры по-

теряли всё свое имущество. Почти у каждого отморожены руки, или ноги, или уши, или нос. Дороги покрыты трупами; корчмы и дома ими завалены»[14]. — «Да, но без существования старой гвардии казаки или партизаны голыми руками захватили бы самого императора. Русские генералы в конце войны, перед Березиной, почти не сомневались, что захватят Наполеона в плен. Чичагов издал даже по войскам и населению довольно курьезный приказ об его приметах: «Он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные, Для вящшей надежности ловить и привозить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника: известные щедроты Монарха нашего за сие ответствуют»...[15]

Л. — Мне всё же не совсем понятно, почему вы так долго останавливаетесь на одном эпизоде Бородинского сражения и на его изображении в «Войне и мире». Это значит из-за деревьев не видеть леса. Как бы важен этот эпизод ни был в чисто-военном отношении, он едва ли может иметь отношение к вопросам философско-историческим.

А. — Напротив, он имеет прямое отношение к ним, — по крайней мере к философии истории самого Толстого, от которой вы никак отмахнуться не можете.

Л. — Могу и отмахнуться. Еслиб от «Войны и мира» остались только философско-исторические страницы, они никак не создали бы Толстому бессмертия.

А. — Вам нужен «изм», философская «фирма»? Что ж, я сейчас предложу их вам за Толстым: Мальбранш это ведь и фирма, и «изм». Но до того я хочу под-

---

14 Михайловский-Данилевский, *Описание Отечественной войны в 1812 году*, Петербург, 1839, кн. IV, стр. 287.

15 Там же, кн. IV, стр. 141.

черкнуть, что Толстого эпизод с не-введением старой гвардии в Бородинский бой должен был тревожить именно в связи с его философией истории. Отделавшись без всякого права и основания несколькими строчками от «бессмысленного» предложения генерала, он в другом месте «Войны и мира» пишет: «Французам с воспоминанием всех прежних 15-летних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сражения, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть 20-титысячная нетронутая гвардия, *легко было* сделать это усилие (новой решительной атаки)... Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, всё равно, что говорить о том, что бы было, если бы осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Но Наполеон не дал свою гвардию, не потому что не захотел этого, но этого *нельзя было* сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого *нельзя было* сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого». — Таким образом: и «легко было», и «нельзя было»!

Л. — Я не вижу тут противоречия. Не знаю, было ли Бородинское сражение военным шедевром. Но описание этого сражения в «Войне и мире» бессмертный литературный шедевр.

А. — Совершенно с вами согласен. Эта эпопея (что ж, другого слова нет) бессмертна в самом точном смысле слова. «Величайшая книга всех времен это «Война и мир» Толстого», — недавно сказал Сомерсет Мохэм[16]. И если в ней редко, чрезвычайно редко встречаются крошечные кляксы, то они объясняются тем, что

---

[16] *Le Figaro Littéraire,* 7 марта 1953, стр. 11.

Толстой, едва ли не в первый раз в художественном произведении, хотел подогнать жизнь под свою философию и впадал в противоречие сам с собой. Так, в одной главе он очень скептически говорит вообще о тактических позициях: «Бородинская позиция (та, на которой дано сражение) не только не сильна, но вовсе не есть почему-нибудь позиция более, чем всякое другое место в Российской империи, на которой, гадая, указать бы булавкой на карте». В другой же главе о позиции под самой Москвой сказано: «Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, т. е. до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения всё-таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения». Это опять не очень точно. Не только ненавистный Толстому Беннигсен, но и Дохтуров, второй, после Кутузова, его «любимец», считал, что можно и должно дать еще одно сражение для защиты Москвы. Сходное противоречие и в вопросе о духе войск. В главе, описывающей конец Бородинского сражения, говорится: «В каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всё и побежать куда попало». Но почти в это самое время

(тот же конец сражения) Кутузов, после бурного разговора с немцем Вольцогеном, точно на зло ему, подписывает приказ об атаке на следующий день. «И, узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись». Ради своей общей идеи, автор «Войны и мира», можно сказать, «пересаливал» и в чисто художественном отношении. В разгар Бородинского сражения Наполеон, по совету Бертье, отправляет в бой дивизию Клапареда. «Через несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению. «Нет, — обратился он вдруг к Бертье, — я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана», — сказал он. *Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана,* но приказание было с точностью исполнено». Какую уверенность в антидетерминизме или в мальбраншевском детерминизме свыше (об этом скажу дальше) надо было иметь для того, чтобы приписать Наполеону роль либо Кита Китыча, либо сознательно вредящего себе дурака! Толстой *знает,* что у императора не было никаких причин для перемены распоряжения и что в эти несколько минут колебания ему никакие соображения и в голову не приходили! Весьма возможно, что военных гениев вообще нет (в этом Толстой, вероятно, прав). Но Наполеон командовал армиями в десятках сражений и имел огромный опыт главнокомандующего. Об этом, говорит ведь и сам Толстой в другом месте: «Наполеон в Бородинском сражении исполнял свое дело представителя власти так же хорошо и еще лучше, чем в других сражениях. Он не сделал ничего вредного для хода сражения: он склонялся на мнения более благоразумные, он не путал, не противоречил сам себе, не

испугался и не убежал с поля сражения, а, с своим большим тактом и опытом войны, спокойно и достойно исполнял свою роль кажущегося начальствования». Автор «Войны и мира» ненавидел Наполеона, так сказать, вдвойне: французский император был ему ненавистен, как человеку и художнику, воплощая в себе всё то, что было в жизни гадко и отвратительно Толстому; но кроме того, Наполеон совершенно не вязался с его философией истории. Роль беспристрастного судьи Наполеона тоже автору «Войны и мира» не очень удавалась; всё же в ней он был справедливее, чем в роли прокурора. Получается снова противоречие: какое же «кажущееся» начальствование, если обе дивизии тотчас пошли в атаку по приказу? Однако, старую гвардию, по Толстому, двинуть в атаку в день Бородина было и невозможно: «Этого нельзя было сделать, упадший дух войск не позволял этого». Как перевести это соображение на обычный Толстовский, правдивый и точный язык? Нельзя перевести. В главе, предшествующей Бородинским главам, Толстой говорит — опять-таки в угоду своей философии истории, — что французы *должны были* дать генеральное сражение: «Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо». «Они бы его *убили!*» Разве вы не чувствуете здесь и *художественной* кляксы? Так неправдоподобно и невозможно это предположение: убили бы Наполеона, в дни его высшей славы, когда он шел от победы к победе, без единого поражения за 16 лет, — убили бы за отказ от генерального сражения! Что же всё-таки было бы, еслиб Наполеон приказал старой гвардии пойти в атаку на русских? Тьер говорит, что старая гвардия *желала* «сделать чудеса». Допустим, тут преувеличение, цветы красноречия. Но неужели она, в отличие от дивизий Клапареда и Фриана, почему-то отказалась бы исполнить боевой приказ? Или эта лучшая, самая дисциплинированная часть француз-

ской армии именно убила бы императора — теперь, кстати, за прямо противоположное тому, за что его убила бы накануне! Не может быть никакого сомнения, что ничего такого не произошло бы и что гвардия беспрекословно приказ исполнила бы. Тогда мы возвращаемся к серии «еслиб» и «быть может»: *Еслиб* Наполеон в день Бородинского сражения бросил в атаку старую гвардию, то, *быть может,* русская армия была бы разгромлена. *Еслиб* русская армия была разгромлена, то, *быть может* (как это ни маловероятно), мир был бы заключен. *Еслиб* мир был заключен, то, *быть может,* вся история Франции и жизнь самого Наполеона сложилась бы совершенно иначе. Слово «еслиб» с последующим «быть может» не имеет никакого значения для хода событий, имеет очень мало значения для выяснения их существа, так как ничего тут *доказать* нельзя, и имеет большое значение для историков и политиков, ибо *доказывать* тут можно что угодно и сколько угодно: в данном случае они этим и занимаются уже полтора столетия. Толстой же здесь пошел по линии наименьшего сопротивления. Приписывать важную роль в истории случаю Толстой не мог, — это противоречило бы его моральному чувству. Приписывать какую бы то ни было роль отдельной личности он тоже не мог, — Наполеон у него такая же пешка, как последний трубач французской армии. Кто же сокрушил Наполеона? Первый ответ: русский народ, впервые в 1812 году сражавшийся за свою землю и на своей земле. Но ведь на своей земле до того сражались пруссаки, австрийцы — и были разгромлены. На своей земле после того сражались французы — и тоже были разгромлены. Толстой в эпоху создания «Войны и мира» не был совершенно свободен от национализма. Как ни странно, на него в этом, как и в его восторженном отношении к Кутузову, как и в его ненависти к Наполеону, некоторое влияние оказал именно Михайловский-Данилевский, которого иностранная критика, быть может, несколько

преувеличивая, считала весьма националистическим историком[17]. Но всё-таки Толстой не мог исходить и не исходил из убеждения в огромном превосходстве русского народа над всеми другими. Вдобавок, ведь и русских на их земле, случалось, побеждали иностранные завоеватели; было ведь и татарское иго. С другой же стороны, русские войска не раз вели блестящие победоносные войны и на чужой территории. Они почти всегда и везде сражались превосходно, — в последнюю войну так же хорошо под Берлином, как под Сталинградом. В русской военной истории очень редки случаи полной внезапной деморализации войск, вроде деморализации прусской армии и командного состава после Иены, или французской в 1940-ом году. Конечно, в 1812-ом году героизм русских войск был главной причиной поражения Наполеона. Император и до своего несчастного похода не рассчитывал на то, что вдруг побежит с фронта русский солдат, которого он очень высоко ставил. Это в его «историческую надежду» не входило...

Л. — Я рад, что вы хоть один фактор событий 1812 года признаете постоянным, то есть не «случайным». Найдутся и некоторые другие.

А. — Кто же это отрицает! Я сказал вам в нашей прошлой беседе, что несколько «заостряю» свое определение случая; но уж вы его сильно огрубляете, в частности этим вашим «то есть». Свойства русского народа могут считаться «случайными» лишь в такой же степени, как огромные размеры России, как численность ее населения; или даже, как образование планеты Нептун, как продолжительность жизни человека на земле, — о чём мы уже говорили. Я лишь сказал вам, что Толстой не мог приписывать поражение Наполеона в 1812 году *только*

---

[17] См. И. П. Липранди, *Война 1812 года,* Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских, 1868 г., кн. I, стр. 12.

особенным свойствам русского народа. Наполеон *должен был* потерпеть поражение, чтобы не нарушить этиологии Толстого, принятого им учения о причинности. Поскольку дело шло о войне, критика отметила, кажется, все влияния, испытанные Толстым: от Руссо и Местра до Стендаля[18] (влияние «La Chartreuse de Parme» в художественном отношении было, конечно, главным, — это признавал и Лев Николаевич). Лишь два влияния, по-моему, критикой были упущены; быть может, оба были косвенными. Одно из них это влияние самого Наполеона: он говорил о войне и о военном искусстве то же, что Толстой[19]: почти до буквального сходства в выражениях, — не могу здесь касаться этого подробнее. А кроме того, было влияние Мальбранша. Толстой, которого иные наши горе-критики попрекали «невежеством»[20], был человек огромной и разносторонней учености. Я не знаю, значится ли «De la recherche de la verité» в каталоге яснополянской библиотеки. Я в ней когда-то видел множество старых французских книг, но мне неизвестно, были ли в

---

[18] Весьма обстоятельное критическое изложение этого вопроса дано в ценной статье I. Berlin, *Lev Tolstoy's Historical Scepticism.* Oxford slavonic papers, II 1951.

[19] Лишь один пример. Андрей Болконский говорит: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами; но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли». Это основная мысль «философии войны» Толстого. — Наполеон сказал дословно то же самое за полвека до «Войны и Мира». А еще много раньше точно такую же мысль высказал маршал Морис Саксонский: "Une bataille perdue, c'est une bataille qu'on croit perdue" (J. Michelet, *Histoire de France,* Paris, 1876, vol. IX, p. 174).

[20] Так, например, романист Болеслав Маркевич (очевидно, именно по поводу «Войны и Мира») бесстыдно писал Тургеневу о «кадетски-наглой в невежестве своем фигуре Льва Толстого, постоянно выталкивающей рыло из-за его дивно-художественного несознательного таланта». *(Звенья,* Москва, 1935 г., т. V, стр. 295).

их числе произведения Мальбранша. Однако, идея мальбраншевой причинности должна была в шестидесятых годах отвечать собственному настроению Толстого. В чём эта идея? Человеческая, земная причинность действует в нормальное время, — кому же и было это знать, как не гениальному живописцу-психологу? Всё же от этой причинности порою отступает *высшая* неземная причинность. По Толстому, ей было угодно, чтобы в начале девятнадцатого века сотни тысяч людей с оружием в руках двигались сначала в течение нескольких лет с запада на восток, затем три года с востока на запад. Чем же это кончилось? Ничем не кончилось. Осталась «круглая» философия «круглого» Платона Каратаева: благолепие. Осталось круглое семейное счастье Пьера Безухова с Наташей Ростовой и почти такое же графа Николая с княжной Марьей. Правда, Платона Каратаева французы не кругло пристрелили, а на фоне общего счастья в Лысых Горах появляются темные, даже грозные, пятна, мечтанья юного Николеньки Болконского, будущего декабриста, сына не круглого князя Андрея. Это всё же деталь. Заметьте, художественное чутье очень точно подсказало Толстому, какие именно пределы ему надо взять в истории для торжества его философско-исторического учения. Он обошелся без террора французской революции, без царствования Павла с его страшным концом, без Аракчеевщины, без Николая I. В России социальным фоном на протяжении почти всей эпопеи служит «дней Александровых прекрасное начало»; о последовавшем только упоминается в эпилоге, — оно не показывается, как не показывается по-настоящему и крепостное право. Очень мало написано Толстым и о военных зверствах. Их и в 1812 году с обеих сторон было достаточно. Всё же Отечественная война в этом отношении резко отличалась от нынешних, никак не рыцарских войн. Тогда особенно щеголяли рыцарством Мюрат и Милорадович. После занятия французами Москвы, 5-го сентября, Мюрат, без

трубача и белого флага, проехал за русскую цепь и предложил Милорадовичу отойти без боя, предупреждая, что атакует через четверть часа, — «к чему проливать кровь?» Милорадович показал ему свою позицию и «по просьбе его уступил ему находившуюся впереди ее деревню, не имев надобности удерживать ее», затем сам проводил его до французских аванпостов. Так же было и при их первой встрече: «Милорадович, объезжая передовую цепь, увидел Мюрата, находившегося на французских аванпостах. Сближаясь понемногу, они подъехали друг к другу. «Уступите мне вашу позицию», — сказал Мюрат. — «Ваше Величество», — ответил Милорадович... — «Я здесь не король, — прервал Мюрат, — а просто генерал». — «И так, господин генерал, — продолжал Милорадович, — извольте взять ее; я вас встречу. Полагая, что вы меня атакуете, я приготовился к прекрасному кавалерийскому делу: у вас конница славная, пусть сегодня решится, чья лучше: ваша или моя? Место для кавалерийского сражения выгодно: только советую вам не атаковать с левой стороны: там болота». Милорадович повел Мюрата на левое крыло и показал ему топкие места»[21]. «Господа англичане, стреляйте первые»! Да, война тех времен иногда старалась быть рыцарской, — не в пример нашему столетию. Не без «круглости» был даже финал, остров святой Елены: это не Нюрнбергская зеленая зала с трапом, где были повешены главные сподвижники Гитлера. Разумеется, Толстой выбрал эпоху удачно. Из его романа о Петре, по совершенной не-круглости эпохи, ничего не вышло и не могло выйти. В великой же эпопее, — в «Мире» кругло почти всё, в «Войне» во всяком случае очень многое. В литературе уже указывалось, сколько красоты, веселья и радости внес Толстой в свои военные сцены; было сказано, что в

---

[21] Михайловский-Данилевский, *Описание Отечественной войны в 1812 году*, Петербург, 1839 г., кн. III, стр. 2-3.

юной читательской среде эта книга наверное сделала больше военных, чем пацифистов. Романиста, равного Толстому, вероятно, никогда не будет, но если бы оказался другой с его гением и с тем же философски-историческим учением, то ему с нашей, уж совсем не благолепной, эпохой было бы нечего делать. Октябрьский переворот открыл цепь злодеяний, невиданных и неслыханных в истории. Попробуйте придумать «круглый» эпилог к Катынским лесам, к Колыме, к людоедству, с другой стороны к Бухенвальдам, средневековым пыткам и камерам для сожжения! Мальбранш был бы ни к чему, — разве та его, не случайно мною процитированная в нашей прошлой беседе, мысль, столь смелая для католического философа: мир может и опротиветь Богу.

Л. — Как ни мало убедителен ответ Мальбранша, он гораздо сильнее вашего. Если вы всё приписываете случаю, вы просто должны отказаться от признания возможности исторического исследования...

А. — Нисколько. Я отказываюсь лишь от признания «законов истории». История и социология должны быть науками преимущественно повествовательными, описательными.

Л. — И какое же основание вы подводите под вашу мысль? Эпизод Бородинской битвы, о котором политические историки даже не упоминают!

А. — Политические историки, по самому своему определению, такими эпизодами и не могли заниматься. Военные же историки всегда приписывали этому эпизоду большую важность. Их мнения разделились: совершенно твердый ответ естественно невозможен: где есть «если бы», там неизбежно и «может быть». Я и привел эту страницу из Толстого в пояснение того, что ему, по его философско-историческим взглядам, нужно было назвать «бессмысленным» небессмысленное. Когда вопрос об ата-

ке старой гвардии встал перед Наполеоном на поле Бородинского сражения, у него для решения было несколько минут. Если, как я надеюсь, вы отвергаете предположение, что Наполеон тут был ничем не руководившимся, вредившим себе самодуром, как якобы в деле замены Клапареда Фрианом, то вы для этих фатальных минут примете то или другое причинное объяснение, — их может быть много. Но ни к одному из них вы никакой теории вероятности не приложите. Я начал с этого эпизода, — перейдем же теперь к 1812-ому году в целом, притом без малейшего отношения к Толстому. Военные историки (опять-таки не все) еще при жизни Наполеона считали его важнейшей ошибкой то, что он слишком рано двинулся в поход на Москву: надо было остановиться в Витебске или Смоленске на зиму, довольствуясь уже достигнутыми немалыми успехами и захватом значительной части русской территории. Тогда положение Александра I стало бы чрезвычайно затруднительным, а поход на столицу, в случае надобности, можно было бы начать и весной 1813 года, гораздо лучше его подготовив: Наполеон слишком растянул свои коммуникационные линии, не обеспечил себе тыла, не заготовил для отступления запасов продовольствия, теплой одежды, обуви. С другой же стороны, он слишком поздно выступил из Москвы в обратный путь: еслиб двинулся назад не 19 октября, а раньше, то избежал бы морозов и связанной с ними катастрофы. Всё это вы можете прочесть в любой книге о 1812-ом годе. Наполеон, как мог, отвечал на острове святой Елены. Говорил, что для охраны коммуникационных линий между Неманом и Москвой он оставил не более и не менее, как 200.000 солдат, что поэтому ни одна его эстафета, ни одно письмо его приближенных из Москвы не были перехвачены русскими по пути в Париж, — всё доставлялось, и от него в Париж и из Парижа к нему, каждый день совершенно регулярно. Относительно запасов продовольствия он сообщал, что они будто бы были

им заготовлены в Смоленске, в Минске, в Вильне, — катастрофа произошла не из-за их отсутствия. В дорогу же с собой из Москвы он взял продовольствия на 20 дней, — больше, чем было нужно до Смоленска; но морозы начались очень рано, люди дезорганизовались, лошади погибали, не на чем было везти что бы то ни было. Относительно морозов Наполеон объяснял, что в Москве в октябре велел себе представить сведения за двадцать лет о температуре в этой полосе России, и в них сообщалось, что сильные холода начинаются только в декабре, а в ноябре самая низкая температура это десять градусов ниже нуля, — 1812 год оказался совершенно непредвиденным исключением (тогда и метеорологи еще о теории вероятностей не думали). Таким образом вся катастрофа была, по его словам, цепью самых ужасных случайностей. Конечно, он кое-что задним числом присочинил. В 1812 году он был несомненно не в ударе, почти по всеобщему мнению очевидцев. Порою даже впадал в апатию. Сопровождавший его камердинер Констан в своих мемуарах (или в мемуарах, написанных по его рассказам) сообщает, что в Кремле перед оставлением Москвы император почти ни с кем даже не разговаривал: «Иногда днем ложился на диван с романом в руке, — может быть, читал его, а может быть, и не читал... Уделил три дня составлению регламента Французской Комедии»[22]. Тыл был им организован на самом деле худо. В Смоленске не было заготовлено почти ничего[23], Наполеон пришел в дикое бешенство. Говорили, что смоленский интендант был расстрелян. Повидимому, это неверно. Этот интендант был казнокрад, но вина была не только на нем. «Провиантские комиссары, посылаемые для закупки хлеба, и команды, отряжаемые на фуражировки, —

---

[22] *Mémoires de Constant,* Paris, s. d., vol. IV, pp. 424 et 432.

[23] Eugène Tattet, *Journal d'un chirurgien de la Grande Armée,* Paris, 1913, p. 224.

рассказывает Михайловский-Данилевский, — или гибли под ударами православных, или возвращались израненные, избитые, не исполнив данных им поручений». Заметьте, вопреки легенде, снабжение в Наполеоновской армии, как во всех армиях того времени, всегда было организовано плохо. Из множества мемуаров, вы могли бы узнать, в каком печальном состоянии находилась продовольственная и санитарная часть в пору самых удачных походов Наполеона. Тем не менее он шел от победы к победе. Недостаток запасов в Смоленске[24] произвел на отступавшую французскую армию такое ужасающее впечатление, что некоторые историки видят в этом одну из причин катастрофы; задержаться было невозможно, надо было уже не отступать, а бежать дальше в поисках складов, которые почти до конца отступления оказывались мифом. Нашлись они только в Вильне, где Наполеон уже на них и не рассчитывал. За 28 верст от этого города он встретил Маре и откровенно сказал ему: «Армии нет, нельзя назвать армией толпы солдат и офицеров, без обуви и одежды, в 26 градусов стужи всюду скитающихся для отыскания пищи и крова. Еще можно составить из них войско, если в Вильне найдутся продовольствие и одежда. Но главный штаб мой ни о чем не заботился, ничего не предвидел». Маро представил ведомость о состоянии огромных Виленских магазинов, и уверил что в Вильне армия ни в чем не будет иметь недостатка. Наполеон с удивлением воскликнул: «Что вы говорите? Неужели это правда? Вы возвращаете мне жизнь!». Попробуйте приложить к этому историческому факту понятия о вероятности причин и об отдельных личных и коллективных цепях причинности. Что же было причиной катастрофы? То, что смоленский интендант, в отличие от виленского, был каз-

---

[24] Перед самым выступлением в поход 1812 года, в Дрездене, Наполеон объявил, что никогда дальше Смоленска и Минска не пойдет. (Jacques Bainville, *L'Empereur,* Paris, 1939, p. 103).

нокрадом? Нераспорядительность французского главного штаба? Или непредусмотрительность самого Наполеона, который тут говорит о своем штабе так, точно сам он тут был совершенно не при чем и за этот штаб никак не отвечал? Но вот уже мороз оказался случайностью бесспорной. Метеорологическая цепь причинности рванула и порвала политическую. Стужа в 1812 году была такова, что посланник Соединенных Штатов, ехавший в Варшаву, в дороге умер от мороза, а уж у него шубы наверное были. Между тем, еслиб император такую стужу и предвидел, то в разоренной Москве снабдить огромную армию теплой одеждой было бы всё равно невозможно (сам он в походе носил соболью шубу, которую, по забавной случайности, ему за четыре года до того подарил в Эрфурте Александр I). А почему Наполеон не остался зимовать в Витебске? Он было собрался это сделать и даже хотел выписать туда из Парижа труппу артистов. Объявил об этом генералам и решительно сказал им, что не повторит безумной ошибки Карла XII: «Nous ne ferons pas la folie de Charles XII». Затем, по неясным нам причинам, он меняет решение. Некоторые маршалы стояли за то, чтобы дальше не идти и закрепиться на Двине, на Днепре. Император отвечал им, что зимой Двина и Днепр замерзнут и следовательно не будут представлять собой оборонительной линии: «Для чего останавливаться здесь на восемь месяцев, когда в 20 дней можем мы достигнуть цели? Не за тем пришел я в Россию, чтобы овладеть ничтожным Витебском. Разгромим русских и через месяц будем в Москве. Весь план моего похода в сражении; вся моя политика в успехе»[25]. Не нам судить, были ли в военном отношении эти доводы убедительны, но как же их было согласовать с «безумной ошибкой Карла XII», — который собственно

---

[25] Fain, *Manuscrit de 1812*, vol. I, p. 271. — Цитируется по Михайловскому-Данилевскому, кн. II, стр. 72-3.

мог своим приближенным говорить нечто весьма сходное? Сегюр в числе причин, побудивших Наполеона двинуться из Витебска на Москву, совершенно серьезно называет *скуку* в этом убогом городке и даже приписывает самому императору слова: «Как вынести в Витебске скуку семи месяцев зимы!»[26]. А вдруг в этом есть и небольшая доля правды? Мемуаристы и историки говорят о таких же колебаниях императора и под Смоленском[27]. Герцог Ровиго пишет, что требовала наступления на Москву золотая молодежь, окружавшая Мюрата и некоторых других маршалов. Молодые офицеры больше всего желали пожить в свое удовольствие: если нельзя провести зиму в Париже, то следует обосноваться в Москве, с ее развлечениями, а никак не в Витебске и не в Смоленске. Они будто бы влияли на Мюрата, который вполне разделял их чувства и старался повлиять на Наполеона. Что ж, некоторую, хотя и незначительную, роль могли сыграть и эти — не цепи, но цепочки причинности. Один из французских историков находил, что Наполеону было бы выгодно *проиграть* Бородинское сражение, так как в этом случае он еще летом отступил бы на позиции между Двиной и Днепром, и его армия не погибла бы. С чисто-военной точки зрения, это мнение опровергнуть, кажется, нелегко. С психологической же и личной — оно критики не выдерживает, так как Наполеон работал на «эпопею»: оказавшись под Бородиным, он уже «должен был» взять Москву. Теперь спустимся от него несколько ниже по лестнице личных цепей причинности. Были бесчисленные случайности стратегического или тактическо-

---

[26] Général Comte Philippe de Ségur, *La Campagne de Russie*, Paris, 1936, p. 40.

[27] В Париже многие были в ужасе, узнав, что император двинулся из Смоленска на Москву. «Он погибший человек!» — сказал в частной беседе с Пакье морской министр Декрес (*Mémoires du chancelier Pasquier*, Paris, 1893, tome II, p. 4).

го характера. Называю некоторые просто наудачу. Брат Наполеона, король Иероним, не понял и не исполнил предложения маршала Даву, вследствие чего будто бы избежал пленения Багратион со своими войсками. Наполеон, узнав об этом, рассвирепел. Но зачем же он поручил 60-тысячную армию человеку, отроду не командовавшему батальоном? Под Прудищевым Жюно, герцог Абрантесский, отказался исполнить требование Мюрата и, ссылаясь на то, что час поздний, — до наступления ночи остается всего четыре часа, — отказывается зайти в тыл Орлову-Давыдову. Таким образом спасаются огромные русские силы. Жюно скоро сошел с ума; по словам Гурго он проявлял признаки умопомешательства уже в 1812 году. Наполеон, узнав об его тяжкой ошибке, снова пришел в ярость, — но опять-таки зачем же он поручил командование ненормальному человеку, о тяжелой болезни которого не мог не знать (герцог Абрантесский с ранней молодости был одним из самых близких к нему людей). Между маршалами нелады, соперничество, личная вражда, местничество, они не хотят подчиняться никому, кроме самого Наполеона. Даву и Мюрат ненавидят друг друга (оба подумывали о польской короне), многие другие в очень плохих отношениях между собой. Всего через три года после этого, в пору Реставрации, маршалы и генералы приняли участие в суде над Неем и отправили на расстрел своего старого боевого товарища (только один Монсей с негодованием написал Людовику XVIII, что отказывается судить храбрейшего из храбрых, — за что́ и подвергся преследованиям). Конечно, личная ненависть маршалов друг к другу не выражалась в саботаже, — этого Наполеон не потерпел бы, и они были честными патриотами, но она очень вредила успеху военных действий, — прочтите об этом у Марбо. Себастиани, командующий вторым корпусом, будущий министр иностранных дел, покоритель сердец и любитель поэзии, храбрый, исполнительный генерал, в один прекрасный

день увлекается чтением итальянских стихов, вследствие чего теряет свою артиллерию. Говорю, как видите о самых высокопоставленных лицах, но было еще неизмеримо больше не столь высокопоставленных, — каждый тоже со своей «квантой причастности». Разумеется случайности действуют в обе стороны. Под Вязьмой Милорадович решает дать французам сражение и пишет об этом доклад Кутузову, умоляя его немедленно двинуться к Вязьме, с главными силами; но по рассеянности он не вкладывает в конверт своего письма! Коновницын, дежурный генерал при главнокомандующем находит конверт пустым. «Вот обстоятельство, разрешающее вопрос, почему главная армия не подоспела к Вяземскому сражению», — говорит Михайловский-Данилевский[28]. Под Бородиным шальная пуля смертельно ранит лучшего русского генерала Багратиона. Погибает и Кутайсов, смерти которого Кутузов до конца своих дней приписывал то, что под Бородиным не было одержано решительной победы. Под Малоярославцем казаки проносятся *в двадцати шагах* от Наполеона, не имевшего почти никакой охраны. Он уже выхватывает шпагу, чтобы защищаться, но казаки его не узнают и мчатся дальше.

Л. — Вы не хотите понять, что все эти эпизоды ничего не меняют в событии основном. Они неизменные спутники всех больших исторических явлений, и, в настоящем случае, никак не подрывают ни замысла Наполеона, ни законов истории.

А. — «Эпизоды» составляют большую или меньшую часть основного события, в принципе «равноправную» с замыслами Наполеона. Разница только в том, что эти частные цепи причинности менее важны, чем Наполеоновская, что они малозаметны, что историкам при установлении «законов» очень удобно от них отвлечься... Мы

[28] Михайловский-Данилевский, кн. III, стр. 382.

говорим только о *военных* делах. Что же сказать и как, при помощи каких чисел, выразить, измерить, сравнить вероятности причин самой войны 1812 года? Историки дают десятки таких причин, политических и психологических (начиная, разумеется, от честолюбия Наполеона и его страсти к войнам). В действительности, их были тысячи. Уверены ли вы, что комета 1811 года не была одной из них? Люди верили (быть может верил и сам Наполеон),что эта комета предвещает нечто грозное, неизбежное, неотвратимое. Они считали ее предзнаменованием и тем самым невольно превращали ее в причину: с неотвратимым не спорят.

Л. — Иными словами, вы, скажу еще раз, считаете невозможным какое бы то ни было научное объяснение причин огромного исторического события!

А. — Да *это* объяснение и есть наиболее «научное»: оно лучше всех отвечает фактам. Я впрочем нисколько не отрицаю, что для изучения и систематизирования фактов могут пригодиться разные общие предположения, — точно так же, как в точных науках для самой постановки опыта предварительно нужно иметь то или иное предположение о связи явлений. Но в истории гипотезы *опытной* проверке не поддаются, и речь может идти именно лишь об идеях, при помощи которых факты известной группы могут быть собраны и изучены. Это почти всегда полезно. Очень полезно, например, сгруппировать экономические факты, связанные с войной 1812 года. Но никак нельзя называть такую группировку, хотя бы самую естественную, не подтасованную, не «притянутую за волосы», «научным» объяснением причин этой войны. С точки зрения экономических материалистов и здесь, как везде, всё совершенно ясно: английский капитализм, французский капитализм, Континентальная система, вывоз, ввоз, интересы русских помещиков и т. д. Кстати сказать, у марксистских историков в самое недавнее вре-

мя появился довольно неожиданный и курьезный «союзник», английский военный историк Фуллер. Этот старый генерал недавно разработавший план расчленения России, написал книгу «Решительные сражения», чрезвычайно ученую и по-своему очень интересную[29]. Из Наполеоновской эпохи он берет два сражения, под Иеной и под Лейпцигом, и по их поводу высказывает ту мысль, что главным врагом Наполеона была не Россия, не Англия, а Власть Денег, — он и пишет эти два слова не без мистического ужаса с больших букв: The Money-Power. В настоящее время генерал Фуллер имеет заслуженную репутацию руссофоба, да она слегка сказывается и в этой его более старой книге. В ней также вскользь говорится о «русском варварстве». Однако с некоторым правом можно обвинить Фуллера и в англофобстве, ибо резиденцией «Власти Денег» был, по его утверждению, Лондон, — и не все же британские банкиры были евреями (евреев генерал тоже очень недолюбливает); главный, Александр Беринг, прозванный «Александром Великим», был христианином. «The Money Power» (генерал не очень уточняет) одержала полную победу в борьбе той эпохи. Так, по мнению Фуллера, было во все времена, во всех великих войнах истории. Что сказать об этих «объяснениях»! Войны с французской республикой и с французской империей не способствовали благосостоянию Англии. Ее национальный долг увеличился на триста миллионов фунтов, — сумму по тем временам астрономическую. Налоги увеличились почти в четыре раза. Англия и до этих войн, и после них, вплоть до 1914 года, процветала больше, чем в 1792-1815 годах. Да и личные состояния представителей «Money Power», Берингов и Ротшильдов, продолжали расти быстрее в пору мира. Гораздо большие богатства Вандербильдов, Гульдов, Рокфеллеров,

---

29 Major-General J. F. C. Fuller, *Decisive Battles*, New York, 1940.

Морганов, Фордов создались без всяких войн. Англо-французские войны наполеоновского периода начались за много лет до Континентальной системы. Лондонская «Money Power», не поладившая с Наполеоном I, отлично уживалась с Наполеоном III, как и весь английский капитализм в течение ста лет жил в мире и согласии с французским. С вопросом о вывозе льна, хлопка, леса из России связывались некоторыми историками не только войны 1804-15 годов, но и убийство Павла I, хотя, при взгляде, не затемненном предвзятыми «фуллеровскими» или «марксистскими» воззрениями, совершенно ясно, что этот вопрос вообще не играл большой роли в русской политике, — на войны было истрачено неизмеримо больше денег, чем составляли все эти ввозы и вывозы вместе взятые. Я нисколько не отрицаю существования и *этой* цепи причинности. Однако другие были несравненно крепче и важнее, и счесть их нельзя. Допустим, что в решении, повлекшем за собой войну 1812 года, принимала участие какая-либо тысяча людей: монархи, члены их семейств, министры, теоретики, маршалы, генералы и т. п. У каждого действия каждого из этих людей цепь причинности была своя. А миллионы исполнителей: офицеры, чиновники (хотя бы тот же смоленский интендант), солдаты, крестьяне! Миллионы «квант», скрещивающихся миллионы раз (конечно, не все вместе, а отдельными, нисколько не однородными, группами). Отсюда биллионы случайностей. Установить здесь математическую формулу никакой «Лапласовский гений», разумеется, не мог бы. Но уму историка нужно как-то подойти к исследуемым им явлениям. В более или менее правдоподобном соотношении с небольшими числами известных ему фактов, более или менее правдоподобно упрощая их, он, в соответствии со своими взглядами, часто и со своими эстетическими инстинктами, делает обобщения, создает «законы истории». Эти законы живут лет двадцать, или пятьдесят, потом кончаются, отменяются, вытесняются други-

ми. Они очень полезны, так как каждая научная гипотеза плодотворна и с каждой можно работать. Но менее всего здесь может помочь теория вероятностей с законом больших чисел; ибо как по значению, по последствиям сравнивать цепи причинности каждого из солдат Наполеона с его собственной цепью причинности, сказавшейся хотя бы в том его минутном колебании: «Ввести в дело гвардию или не вводить?».

Л. — Таким образом война 1812 года, ее причины, ее ход, ее результат, всё это случай?

А. — Я отвечаю утвердительно. Вам же склонен посоветовать ради осторожности оставить вопрос хоть под сомнением. Так делали и некоторые знаменитые историки. Тот же Тацит говорит: «Я не мегу решить, идут ли человеческие дела по закону судьбы и необходимости, или они подчинены случаю»[30]. Сам же Наполеон, повидимому, и не сомневался, что война 1812 года была, как и его поражение, делом случайным. Он это говорил и на острове святой Елены; но еще *до* начала этой войны он писал королю Вюртембергскому: «Война разыграется вопреки мне, вопреки императору Александру, вопреки интересам Франции и России. Я уже не раз был свидетелем этому». Марксисты и фуллеристы (разумеется я не сравниваю первых со вторыми) предполагают, что война всегда вызывается экономическими интересами; одни предпочитают говорить о нисколько не мистических «рынках», другие о полумистической «Money Power» (Власти денег). А Наполеон, который, казалось бы, должен был знать причины войн лучше, чем они, находил, что может быть и война без всяких интересов, личных, экономических и каких бы то ни было других; может быть даже и война *вопреки* интересам сторон.

---

[30] Сочинения Корнелия Тацита, русский перевод и примечания В. И. Модестова, т. II, стр. 271. Летопись, кн. VI, гл. 22.

Л. — Во всяком случае в *общей* форме он не приписывал случаю ни войны, ни способов ее ведения. Он говорил госпоже Ремюза: «Военная наука заключается в том, чтобы правильно определить все шансы, затем точно, почти математически дать долю случаю... Но этот раздел науки и случая умещается только в гениальной голове»[31].

А. — А как же Наполеон мог бы этого *не* говорить? Конечно, для него мир делился на ведомство случая и на ведомство гения, т. е. его самого. Однако он о «законах истории» не говорил.

Л. — Вероятно, он их и не отрицал. Ведь и вы не отрицаете, что большие явления интеграл малых...

А. — Это интеграл без указания пределов. В большой и в малой истории возможность ошибки идет от ноля до бесконечности. Не примите этого дословно: ошибка, конечно, никогда не равна бесконечности и никогда не равна нулю. Так, в вопросе о войне 1812 года Таллейран, например, почти не ошибался. Он считал ее началом конца. Мог, конечно, ошибиться, но во всяком случае он угадал. Другие ошиблись на треть, на половину, на три четверти: Австрия, Пруссия были сначала союзниками Франции, затем в разное время перешли на сторону России и Англии. То же самое относится к изменившим Наполеону маршалам, к Мюрату, к Мармону и многим другим (устраняю здесь элемент моральной оценки). Еслиб это не было совершенно праздным занятием, мы могли бы даже установить «коэффициент ошибки». Ординатой такой ни для чего не нужной кривой было бы время: тот момент, когда данное лицо, данное государство переметнулись от Наполеона к победителям. Но я о войне 1812-го года не сказал бы, что она была торжеством ошибки и непонимания. В этом от-

---

31 *Mémoires de Madame de Remuzat*, Paris, 1880, v. 1, p. 333.

ношении она составляет в ряду исторических событий что-то вроде доброй середины, — la bonne moyenne. В чистой политике многое бывает гораздо глупее, так как цифровой элемент иногда и совсем отсутствует, нет «числа войск», «числа орудий» и т. п.

Л. — Что ж, если вы перейдете к примерам из области чисто-политической, то вам легче будет, вместо доброй середины, дать другое.

А. — Я и хотел вам предложить два примера из этой области: переворот 9-го Термидора во Франции и русскую октябрьскую революцию. Выбираю эти примеры по разным причинам. Оба этих больших события хорошо изучены; мы с вами вдобавок были очевидцами второго. Кроме того, они, так сказать, противоположны по знакам или, по крайней мере, могут считаться таковыми «в первом приближении»: французский переворот будто бы заканчивает период настоящей революции, русский же, октябрьский, будто бы его начинает.

Л. — Именно будто бы. Олар в заключении своего классического труда пишет: «Революция состоит в Декларации прав, составленной в 1789-ом году, и дополненной в 1793-ем, а равно в попытках осуществления этой Декларации; контрреволюция — это попытки оттолкнуть французов от жизни, согласной с принципами Декларации прав, т. е. разума, просвещенного историей»[32]. Я это credo принимаю целиком. В октябре 1917-го года произошла контрреволюция.

А. — Это credo удовлетворяет и мое «моральное начало». Разумеется, я был бы вполне удовлетворен, если бы культурный мир твердо навсегда признал контрреволюционерами и Робеспьера, и Ленина, как должен был бы сделать Олар, еслиб политик в нем был вполне верен историку. Однако надежды на это имею мало.

---

[32] A. Aulard, *Histoire Politique de la Révolution Française*, Paris, 1903, p. 782.

б) О Девятом Термидора

А. — Перевороту 9-го Термидора предшествовало очень незначительное происшествие, которое и с вашей «социологической» точки зрения должно рассматриваться как случай. Баррас в своих воспоминаниях сообщает[33], что Фуше, бывший в 1794 году полновластным представителем правительства в контрреволюционном Лионе, занялся там, помимо всевозможных зверств, грабежом в свою пользу. Его жена, уезжая из разгромленного города в Париж, везла с собой сундуки с награбленными богатствами. Но у заставы, в предместье Вэз, коляска по случайности разбилась, кое-что по другой случайности очень неудачно вывалилось, собравшаяся толпа увидела, что́ вывозит жена проконсула. Произошел большой скандал. Фуше имел все основания думать, что это скоро станет известно Робеспьеру. Между тем диктатор его терпеть не мог и воровства никак не поощрял. Поэтому лионский проконсул должен был считаться человеком обреченным. Спасти его теперь могла только гибель Робеспьера. Это было будто бы одной из причин переворота Девятого Термидора; в нем, как вы знаете, Фуше сыграл главную роль. Впрочем, не все историки уверены в том, что Баррас сказал правду: он врал достаточно часто. Мадлен, лучший биограф Фуше и историк по направлению консервативный, не очень рассказу верит и утверждает, что

[33] *Mémoires de Barras,* Paris, 1895, v. I, pp. 180-1.

Фуше и в следующем году еще был беден и искал заработков[34]. Иными словами, он стал будто бы воровать лишь позднее. Разумеется, «моральный кризис», даже выражающийся в воровстве, может случиться с человеком в любое время его жизни. Мне лично более правдоподобным кажется, что Фуше был и в денежном отношении бесчестен *всегда*. Эпизод с коляской очень похож на правду, — такой выдумать трудно. И почему же слухи о грабежах и хищениях шли в частности о Фуше? О Сен-Жюсте, о Жан-Бон-Сэнт Андре, о самом Робеспьере никто *этого* не говорил. Прибедняться же людям вообще свойственно, а Фуше после переворота это было очень выгодно; прикидываясь бедняком, он себя реабилитировал.

Л. — Вы всё-таки не думаете серьезно, что переворот, Девятого Термидора произошел из-за несчастного случая с коляской госпожи Фуше?

А. — Конечно, нет. Он произошел из-за миллиона случайностей.

Л. — Согласитесь, что ваш метод анализа исторических событий довольно странный. Вы берете из мемуаров темного, любившего врать человека эпизод, не очень, как вы сами говорите, достоверный, и на этом хотите что-то построить! Олар, лучший и серьезнейший из историков французской революции, определенно заявляет в начале своего труда, что мемуарами пользоваться почти не будет. Он бранил Тэна за доверие к «анекдотам» и беспрестанное пользование ими.

А. — Не пользуясь мемуарами, можно *знать* историю большого события, но *понимать* его невозможно. Разумеется, пользоваться ими надо осторожно, надо принимать во внимание личность, характер, интересы авто-

---

[34] Louis Madelin, *Fouché*, Paris, 1923, vol. I, pp. 148-150.

ра... Я хотел указать вам еще несколько случайностей, подготовивших переворот 1794 года, но отказываюсь, ибо вы и их назовете анекдотами.

Л. — Сколько вы их ни привели бы, это ровно ничего не меняет в общем смысле явления. Переворот Девятого Термидора произошел не из-за случайностей, хотя бы и много более достоверных и много более важных, чем приведенная вами. Он произошел потому, что Франция больше не хотела терпеть террор и диктатуру Робеспьера. Массовые казни еще можно было переносить пока страна была в опасности и на ее территории находились вражеские армии. Летом 1794 года этого больше не было. При Робеспьере французская армия шла от победы к победе. Необходимость в терроре отпала. Стадия подъема революции кончилась, должна была начаться стадия снижения. Этим и воспользовались термидорианцы, желавшие положить конец казням и углублению революции. Таков глубокий социально-исторический смысл Девятого Термидора.

А. — Не могу согласиться во многом с этим общепринятым объяснением. Но вы, кстати сказать, попутно опровергаете один из так называемых «законов истории». Обычно признается, что революциям и переворотам способствуют никак не военные успехи, а военные неудачи. И вы в настоящем случае правы, такого *закона* нет: иногда способствуют переворотам поражения, а иногда победы. Перейдем однако к *основному*. Главными деятелями переворота были четыре человека: Фуше, Талльен, Баррас и Колло д'Эрбуа. Если хотите, первой случайностью было то, что объединились в устройстве заговора эти люди, не имевшие между собой ничего общего. Они даже терпеть не могли друг друга. Священник-расстрига Фуше, провинциальный актер и третьестепенный драматург Колло были по взглядам «партажерами», т. е. по нынешнему социалистами. В Лионе, где оба

они были проконсулами, они ввели несколько мер чисто-социалистического характера. Бывший пролетарий Тальен и бывший королевский офицер виконт де Баррас политических идей собственных не имели, но «партажерами» уж никак не были. Объединяло их то, что все четверо были негодяями. И еще их объединяла, разумеется, ненависть к Робеспьеру. Причиной этой ненависти был однако никак не робеспьеровский террор: Колло д'Эрбуа и Фуше были еще худшими террористами, чем диктатор. Трудно описать те зверства, которые при них происходили в Лионе. В один лишь день 14 фримэра 11-го года, они там расстреляли больше двухсот человек (по сообщениям историков, 294, сам же Фуше говорит «только» о 213). Так как гильотина не могла бы быстро справиться с таким числом людей, то расстреливали связанных врагов народа из пушки, а затем добивали топорами и лопатами, — Фуше с высоты эстрады председательствовал на этом зрелище и утром того дня писал Конвенту: «Слезы радости текут из моих глаз, они наводняют мое сердце... Мы вечером отправим под огонь молнии двести тринадцать мятежников». Еще раньше, в Невере, после рождения у него дочери, он устроил «Праздник Брута»: велел выстроить «Храм Купидона», сам оделся «Жрецом природы» с «венком из плодов», собрал «молодых дев» в белых платьях, тоже с какими-то венками, сорок «патриотических юношей» и благословил их на любовь и законный брак. Из законного брака ничего не вышло: все патриотические юноши устремились лишь к одной молодой деве, дочери богача-мельника. В «Празднике Брута» ничего особенно худого не было бы, еслиб одним из главных и самых занятных его «номеров» не была казнь преступников. До этого не додумались ни Дзержинский, ни Ежов. Не додумался и Робеспьер. Личность Фуше несколько загадочна. Не могу понять, как этот комедиант, вдобавок, невероятный болтун, шутник и сплетник, мог быть хорошим заговорщиком, и как Наполеон

мог сделать его министром полиции: вопреки мнению историков, думаю, что министр полиции он был не только ненадежный (как предатель по характеру и убеждению), но и технически очень плохой... Во всяком случае, Робеспьеру до Фуше и особенно до Колло д'Эрбуа было далеко даже просто по числу казненных, — если принять во внимание, что население Лиона составляло ничтожную часть населения Франции. Враги, кстати сказать, приписывали свирепость бывшего актера тому, что его когда-то освистала публика Лионского театра. Но это объяснение, как мелкое, недостоверное, «мемуарное», мы оставим в стороне. Очень недурен, хотя и не столь блистателен, был террористический стаж Барраса в Марселе и Талльена в Бордо. Террор был таким образом совершенно не при чем в «размолвке» термидорианцев с Робеспьером. Нельзя также сказать, чтобы причиной их ненависти к диктатору было общее «расхождение в политических взглядах». Какова была прочность революционных и «социалистических» убеждений Фуше, показало его будущее. Он голосовал за казнь Людовика XVI, но через двадцать с лишним лет стал министром его брата.

Л. — Тут, по-моему, больше надо удивляться не министру, а королю.

А. — Скажем, одинаково обоим. Правда, граф Беньо рассказывает, что Людовик XVIII заплакал, подписывая при нем приказ о назначении Фуше, и, вытирая слезы, сказал: «Несчастный брат мой, если ты меня видишь, ты простишь меня!..»[35]. Может быть это и верно, а скорее очень приукрашено. Беньо был не только ласковое теля, но и человек сентиментальный. Новый король был циник, — несчастная Мария-Антуанетта однажды, в очень тяжелую для себя и для династии минуту, назвала его Каином. И если Людовику XVIII-ому уж *так* был необходим

---

[35] *Mémoires du comte Beugnot,* Paris, 1889, p. 603.

этот будто бы дельный полицейский техник, то во всяком случае никто не обязывал короля стать свидетелем на свадьбе Фуше: он женился вторым браком на Габриели де Кастеллан, одной из родовитейших невест Франции. Французская аристократия впоследствии, можно сказать, носила его на руках, а одним из близких друзей бывшего безбожника, прославившегося в 1794 году и богохульством, был столетний архиепископ парижский, кардинал де Беллуа. Делаю это отступление в сторону потому, что вы, кажется, надеетесь на праведное возмездие большевикам? Кстати, и Талльену, тоже голосовавшему за казнь короля, Людовик XVIII по собственной доброй воле, уже без всякого давления, назначил небольшую пенсию. Из четырех *главных* термидорианцев — опять по случайности — только Колло д'Эрбуа сразу кончил плохо: вскоре после переворота он угодил в Кайенну. О том, что он делал бы при Наполеоне и в пору Реставрации, мы следовательно судить не можем; можем судить разве по его дореволюционному, никак не социалистическому прошлому, или даже по его имени: он был по рождению Колло-просто и самовольно прибавил к своему имени дворянскую частицу с названием «Эрбуа». Коротко говоря, термидорианцы были не слишком идейные люди. Да они все, еще незадолго до 9-го Термидора, всячески старались установить с Робеспьером добрые, дружеские отношения. Баррас в своих воспоминаниях[36] сам рассказал — и чрезвычайно живописно — о визите, который он сделал диктатору. Робеспьер с ним не поздоровался, не сказал ему *ни одного слова* и не простился с ним, когда он, наконец, встал и ушел. Побывали у Робеспьера также Талльен и Фуше, — им был оказан точно такой же прием: «Всё их красноречие, — рассказывает Баррас, — наткнулось на убежденного глухонемого; на их мягкие, сильные, прочувствованные, дружественные, почтитель-

---

36 *Mémoires de Barras,* vol. I, p. 178.

ные слова Робеспьер отвечал упорным молчаньем, без всякого выражения на лице, без единого жеста, без единого слова. В этом молчании человека, державшего в руке скипетр смерти, было нечто более страшное для воображения, чем было в угрозах». Всем трем стало ясно, что они обречены на смерть, — если только Робеспьер не погибнет. Считаете ли вы, что и это было мелкой случайностью в причинах переворота 9-го Термидора?

Л. — Каковы были *личные* побуждения термидорианцев, это тоже для истории не имеет большого значения. Они правильно учли соотношение сил и построили свою игру на ненависти всей Франции к диктатору.

А. — Последнее ваше утверждение весьма сомнительно. Робеспьер и в пору террора не вызывал ненависти у всей Франции, особенно после того, как он обрушился на безбожников в своей речи 1-го фримэра 11 года. Он в ней сказал, что Конвент не должен запрещать и не запретит католического богослужения. Всех гонителей христианства он считал изменниками и агентами иностранных держав. Именно за атеизм были отправлены им на эшафот Эбер и Шометт. Еще в 1792 году Робеспьер добился того, что в якобинском клубе был разбит бюст материалиста Гельвеция. Очень недолюбливал Робеспьер и «партажеров». Не любил и интернационалистов, — за интернационализм был ведь казнен Анахарсис Клотц, человек в другом занимавший «промежуточную позицию»: ему ведь принадлежит формула «Ни Марат, ни Роллан» (авторы формулы «Ни Ленин, ни Колчак», сыгравшей не малую и не слишком удачную роль в нашей собственной истории, верно не знали о своем далеком предшественнике). Олар утверждает, что Робеспьер в пору Террора пользовался огромной популярностью: «Со всех концов Франции, как о том свидетельствуют письма, найденные в его бумагах, несется к нему поток восхищения, восторженной симпатии. Многие католики возлага-

ют на него надежды. Из тюрем они ждут от него своего близкого освобождения... Тут не только народ (petit peuple), но и буржуазия, и писатели»[37]. Вдобавок, по Парижу шли слухи, что «неподкупный» подумывает об ограничении террора[38], что он перестал посещать Комитет общественного спасения, бывший главным поставщиком гильотины. Сам Баррас лишь очень нерешительно опровергает сведения о том, будто Робеспьер хотел «остановить излишества революции». Верны ли были эти сведенья? Трудно сказать. От диктатуры он наверное не отказался бы, — от нее добровольно не отказывался никогда никто. Террор Робеспьер, может быть, и смягчил бы — после того, как *все* его враги были бы казнены. Восста-

---

[37] A. Aulard, *Histoire Politique de la Révolution Française,* Paris, 1903, p. 495.

[38] Жорес в своем огромном труде подает этот *слух* как точно установленную историческую истину: «Чрезмерность террора должна была привести к уничтожению террора. Робеспьер мечтает о том, чтобы усилить терроризм, концентрировать его на протяжении нескольких страшных и незабываемых недель для того, чтобы иметь силу и право с ним покончить. Разбавляя и продолжая террор, можно было навсегда нервировать (énerver) Революцию. Пусть весь ужас будет собран в нескольких днях. О, смерть, зловещая работница, торопись, спеши делать твое дело; не отдыхай ни днем, ни ночью, и когда твоя страшная задача будет исполнена, ты получишь окончательную отставку» (Jean Jaurès, *Histoire Socialiste* (1789-1900), Paris, p. 1811-1812. Правда, Жорес добавляет: «Это была бессмысленная мечта». Тем не менее вся эта страница представляет собой образец *худшей* исторической манеры знаменитого политического деятеля, бывшего и выдающимся историком: недоказанное намерение Робеспьера выдается за истину, без оснований, без всяких данных читаются, как в книге, его душевные настроения, говорится сначала о «нескольких неделях» террора, а потом даже о «нескольких днях», говорится о *праве* (!) Робеспьера закончить террор (тогда как подавляющее большинство французского народа никакого террора, конечно, не хотело), и всё это заканчивается риторическим восклицанием, едва ли очень уместным в историческом труде.

новил ли бы он свободу слова? Едва ли. При своем тщеславии, он так же мало, как Сталин, мог допустить, чтобы его ругали в газетах. Да и зачем ему была свобода слова, когда, вопреки всем теориям, так удобно правителям обходиться без нее?.. Я склонен думать, что Олар всё же преувеличивает популярность Робеспьера: радость после 9-го Термидора была почти всеобщей; ее хорошо описал Пакье[39]. Во всяком случае, несомненно, был некоторый период времени, в течение которого Робеспьер, с популярностью или без популярности, был почти всемогущ. И я считаю второй «основной случайностью» то, что он тогда не отправил на эшафот четырех названных мною главных термидорианцев. Не было ничего легче, чем «пришить» их к какому-либо из «процессов», неизменно кончавшихся казнью: за социализм, за атеизм, за казнокрадство, за развратную личную жизнь, за что угодно. Робеспьер и собирался это сделать в ближайшее же время, но опоздал на несколько дней. Вероятно, просто не успел еще составить полный список людей, подлежащих ликвидации (до этого коммерческого слова он тоже не додумался, — оно было никак не из словаря Ж. Ж. Руссо). Или же он, быть может, преувеличивал свое могущество: нет беды в том, чтобы немного и подождать. Наконец, Робеспьер в довольно ясной форме объявляет о своем решении отправить новую группу людей на эшафот. И тут важнейшая третья случайность: он не называет никого, кроме Фуше. Обычно он в таких случаях поименно перечислял врагов народа. На этот раз имен не произнес, — уклончиво говорил только о «quelques têtes coupables à abattre». Никто не мог в тот день знать, какие именно «виновные головы» он хотел отрубить, и каждый мог думать, что дело идет именно об его голове. По общему, кажется, мнению историков и мемуаристов, этот пропуск имен чрезвычайно способствовал его гибели. Фу-

---

[39] *Mémoires du chancelier Pasquier*, Paris, 1893, vol. I, pp. 112-113.

ше использовал упущение диктатора очень искусно: он стал распространять проскрипционный список собственного производства, ездил к разным членам Конвента, даже к своим врагам, и уверял их, что в списке значатся и они.

Л. — Едва ли это могло изменить очень многое. Всё-таки не эти немногочисленные люди могли изменить соотношение сил.

А. — Действительно, очень важно выяснить, от каких исторических факторов это соотношение сил зависело. Оставим в стороне армию, она находилась далеко, одерживала победы и была плохо осведомлена о том, что делалось в Париже. Генералы тогда преобладали «левые», но, несмотря на свою левизну, они при Наполеоне стали герцогами и миллионерами. К тому же, по общему правилу, командующие армиями не любили и презирали парижских политиков. Одни, как позднее Клебер, называли их пренебрежительно «адвокатами», другие, менее вежливые, сволочью. Армия в дело 9-го Термидора не вмешивалась и, насколько я могу судить по литературе мемуаров, ее не принимали в расчет ни Робеспьер, ни термидорианцы. Конституция Франции была тогда довольно неопределенная. Это признает сам Олар: «К ней приспосабливались эмпирически, изо дня в день, законы, вызванные обстоятельствами» («des lois de circonstance»)[40], т. е. законы более или менее *случайные*. Если отвлечься от строго-юридических форм, то «факторами» истории были в первую половину 1794 года: Конвент, Комитет Общественного спасения (правительство), Комитет всеобщей безопасности (полиция), Якобинское общество, Коммуна.

Л. — Теперь, при учете соотношения их сил, вы надеюсь, выйдете из области случайностей, хотя бы и важных?

---

[40] Aulard, *Histoire Politique*, p. 315.

А. — Напротив, я в ней останусь. Предприятие заговорщиков было, конечно, очень отважным, — отдадим им в этом полную справедливость, они были смелые люди. Правда, им терять было нечего: без попытки переворота всё равно они через несколько дней погибли бы. Что же заговорщики могли «учесть»? Фуше, знавший Кондорсе, мог от него слышать о теории вероятностей и о возможности ее приложения к расчету политических явлений. Но, разумеется, мысль о том, что Фуше пожелал бы воспользоваться этой теорией для выяснения шансов заговора, немедленно вызывает улыбку. Зато без теории вероятностей он несомненно днем и ночью думал о том, какие шансы имеет его заговор. Из перечисленных мною пяти «факторов» последний еще кое-как можно было, пожалуй, учесть заранее; Коммуна была всецело за Робеспьера, состояла она в громадном большинстве из простых людей, мало смысливших в политике вообще и в соотношении сил, в частности; на нее заговорщикам рассчитывать не приходилось. Что же можно было однако наперед сказать о других факторах? Конвент? Он по конституции был всемогущ: всё во Франции якобы зависело от него; он мог кого угодно в любую минуту сместить, отдать под суд, объявить вне закона (т. е. казнить: люди объявленные вне закона, отправлялись на эшафот без суда, тотчас по установлении личности). На самом же деле Конвент, со времени казни Дантона и до 9-го Термидора, почти никакой власти не имеет или ее не проявляет. Политические деятели, которым потомство дает прозвище «гигантов Конвента», в ту пору уже представляли собой тихое стадо на смерть (именно на смерть) запуганных людей. Каждый знал, что диктатор отправил на эшафот самых энергичных, самых знаменитых, самых красноречивых деятелей революции, — чего же было ждать рядовому политику! И левые, и правые, и «болото» заботятся лишь о том, как бы не навлечь на себя его гнева, как бы не вызвать какого-либо его по-

дозрения. Будь на месте Фуше человек еще в сто раз более проницательный и хитрый, и он ничего тут предсказать не мог бы. Уж скорее всего он сделал бы вывод, что на Конвент рассчитывать нельзя, что его надо оставить в покое. И в этом он жестоко ошибся бы; судьба Робеспьера решилась 9-го Термидора именно в Конвенте. Один французский писатель говорит, что в Далмации существует легенда о «восстании иллирийских баранов». Эта легенда невольно приходит в голову, когда читаешь описание исторической сцены, закончившейся арестом диктатора. Теперь второй фактор: Комитет общественного спасения. Его тогда современники, а позднее историки, называли «министерством Робеспьера». В нем были две группы. Первую составляли *работники,* как Карно или Лендэ; эти люди действительно организовали военную победу и спасли Францию от иностранных армий. Вторая группа состояла из *политиков:* они проводили террор и заливали Францию кровью. Не будем однако слишком строго держаться такого деления. Остроумный человек сказал: «История пишется беспартийными людьми. Они между собой не согласны, так как беспартийные люди есть во всех партиях». Деление «министерства Робеспьера» на овец и козлищ было уж слишком выгодно для некоторых историков. На самом деле, например, приказ об аресте Дантона был принят почти единогласно на соединенном заседании Комитетов общественного спасения и всеобщей безопасности, — подписал его, своим мелким почерком, и сам Карно. Олар в книге, написанной против Тэна, не только его бранит, но, можно сказать, поносит за многочисленные искажения и извращения фактов французской революции. Во многом Олар прав: Тэн в ту пору, когда писал свой знаменитый труд, был уже настоящим реакционером и, в угоду общему взгляду на революцию, с документами обращался довольно свободно. Тем не менее психологию террористов, деятельность, причинные цепи членов Комитета об-

щественного спасения Тэн, по-моему, понял правильнее, чем Олар со всей его необъятной эрудицией. Они принадлежали к разным по духу идеологиям и, разумеется, оба были «беспартийные люди». Но, как говорил не без основания Тэн, «надо быть большим писателем для того, чтоб быть историком». Олар им не был. Однако именно в вопросе о Карно эти историки странным образом поменялись ролями: тут защищал Тэн, обвинял Олар[41] — и был в этом случае с фактической стороны прав: да, и Карно подписал приказ об аресте, т. е. о казни, Дантона! Что ж, представьте себе на мгновение психологию участников того заседания. Они знают, что обрекают на смерть самого выдающегося из деятелей революции только потому, что Робеспьеру надо устранить единственного опасного соперника. Члены Комитета всеобщей безопасности подписывают, конечно, с полной готовностью, — не всё ли им равно? Начальство так хочет, этого совершенно достаточно. Карно, вероятно, себе говорит, что отечество в опасности, необходимо обеспечить единение в национальной обороне, можно пожертвовать отдельным человеком, когда на фронте гибнут тысячи людей, что ж делать? — и посылает на казнь Дантона, считавшегося с полным основанием два года тому назад символом и героем национальной обороны. Некоторые участники заседания очень многим обязаны Дантону, другие, верно большинство, еще недавно с ним закусывали, пили, болтали в кафе «Прокоп». Кто знает, кто мог бы сказать, *как* скрещивались тут отдельные цепи причинности? Быть может, у одного из них в тот день были особые личные основания угождать Робеспьеру? Быть может, другого Дантон обидел каким-либо замечанием, шуткой, пренебрежительным тоном. Робер Ленде отка-

---

[41] A. Aulard, *Taine, historien de la Révolution Française,* Paris, 1907, p. 272 и его же *Etudes et Leçons sur la Révolution Française,* Paris, 1ère série, pp. 189.

зывается подписать приказ; это героическое действие, он в самом деле был очень мужественный и принципиальный человек, — другие, должно быть, смотрят на него, как на сумасшедшего. Затем Дантона судят и казнят по обвинению в роялизме. Через три месяца, отчасти по тому же обвинению, но уже без пародии суда, казнят Робеспьера. С другой же стороны, и «козлища», особенно Сен-Жюст, немало сделали для национальной обороны. Нет, деление на «работников» и «политиков» трудно провести последовательно до конца. В день 9-го Термидора, и в предшествовавшие дни, «работники» скромно держались в стороне. Сам Робеспьер уже почти не посещал заседаний Комитета. «Политики» же разделились поровну: за диктатора Сен-Жюст и Кутон, против него Колло д'Эрбуа и Бильо-Варенн. Эти члены одного министерства, «товарищи по работе», ненавидели друг друга не меньше, чем, например, ненавидели один другого Троцкий и Сталин. Каждая из двух «групп» всей душой надеялась погубить другую. По случайности, победила вторая. По другой случайности, погибли обе, так как вскоре после казни Сен-Жюста и Кутона были отправлены в Кайенну Бильо-Варенн и Колло д'Эрбуа. Если *все* они сами равно ничего не предвидели, то тем менее могли предвидеть что бы то ни было другие. Коснемся кратко третьего фактора: Комитета всеобщей безопасности. В нем сколько-нибудь честные или даже просто идейные люди составляли редчайшее исключение. Был один политический кретин, вдобавок предатель по натуре, гениальный художник Давид, обещавший накануне переворота «выпить цикуту с Робеспьером»[42] и затем благополучно, без всякой цикуты, проживший до старости. Другие члены Комитета были подонками человечества, мало отличающи-

---

[42] Несколько позднее Давид показывал, что он не обнял Робеспьера, «так как он всех отталкивал». (Georges Belloni, *Le Comité de Sureté Générale*, Paris, 1924, p. 92).

мися от людей ГПУ и Гестапо. Существует о них истинно страшная книга: воспоминания их товарища Сенара. Еслиб какой-либо второстепенный агент Гестапо написал правдивые воспоминания, они, вероятно, не очень отличались бы от этой книги. Левые французские историки либо ее замалчивали, либо, как Амель, объявляли ее гнусной клеветой. На самом деле в ней, если не всё, то очень многое было чистейшей правдой[43]. О Комитете всеобщей безопасности, который Ленотр справедливо называл фабрикой грабежа и смерти, можно было не с вероятностью, а с полной уверенностью, сказать только одно: он будет на стороне победителя. Иными словами, тоже нельзя было сказать ничего, так как никто не мог знать, на чьей стороне окажется победа.

Л. — Если это что-либо доказывает, то разве лишь то, что термидорианцы были люди очень решительные: они полагались твердо на свои собственные силы.

А. — Не очень твердо полагались. Они готовы были друг друга в случае надобности и предать. «Фанатик» Колло в самую решительную минуту чуть не предал было Фуше, который в свою очередь еще 7-го Термидора, за два дня до развязки, обсуждал возможность сговориться с Робеспьером. Баррас с деланным презрением говорит, что после переворота нашел в бумагах диктатора униженные письма Талльена. Но Мадлэн сообщает (правда, не указывая источника), что сам Баррас молил Робеспьера «об отпуске грехов и прощении»[44]. Как люди, заговорщики были еще менее привлекательны, чем Робес-

---

[43] См. C. Lenotre, *Le Farouche Amar* в *Vieilles Maisons, Vieux Papiers*, Paris, 1930, v. 6, pp. 38-9 и *Deux Policiers*, там же, vol. I, pp. 63-74. Документы, попадавшиеся в свое время в парижском Национальном Архиве автору этой книги, всецело подтверждают мнение Ленотра. — В последнее время Беллони сделал тщетную попытку хоть до некоторой степени «реабилитировать» Комитет всеобщей безопасности.

[44] Louis Madelin, *Fouché*, Paris, 1923, vol. I, p. 171.

пьер. Не скрою, мне этот диктатор всегда казался одним из самых противных в истории (по крайней мере до двадцатого века, когда появились диктаторы еще неизмеримо более отвратительные). Но и современники, и историки, во всяком случае многие из них, относились к нему не так. Наполеон когда-то спросил Камбасереса (хорошо знавшего правящий персонал 1794 года), *что* он думает о Робеспьере и об его конце. Этот правый сановник, богач, циник и сибарит, ответил в привычных ему юридических выражениях: «Государь, по этому процессу было вынесено решение, но защитительная речь произнесена не была». С тех пор «защитительные речи» по делу Робеспьера произносились историками не раз. Не говорю уже о бессмысленно-восторженной его оценке в книге Эрнеста Амеля. Мишле называл его «великим человеком», а Жорес говорил: «Я с Робеспьером!». Ни об одном из термидорианцев никто из историков никогда не говорил ничего похожего. Суда истории нет, суд историков пристрастен, они это обычно скрывают, — да и то не все: вот ведь Жорес назвал свою четырехтомную книгу «Социалистической историей французской революции», — точно при подлинном беспристрастии могла бы быть «социалистическая» или «либеральная» или «консервативная» история. Жорес был только откровеннее, чем другие, хотя и он отверг бы с негодованием обвинение в пристрастии... Теперь последний фактор: якобинский клуб. Он не был правительственным учреждением, хотя получал субсидии от Комитета общественного спасения и фактически имел право чистки администрации. На него надеялись обе стороны и обе для этого имели достаточное основание: Робеспьер был очень популярен в клубе, однако, были популярны и заговорщики; Фуше начинает с Робеспьером борьбу за симпатии клуба. Борьба идет с переменным успехом. 18 прериаля, к общему изумлению, Фуше избирается председателем клуба. Потом якобинцы понемногу переходят на сторону диктатора. Еще малень-

кая случайность, — на этот раз вполне достоверная: 2-го мессидора Фуше пишет в Нант письмо своей сестре с резким отзывом о якобинцах. Один из членов Конвента, находящийся в миссии в Нанте, перехватывает это письмо, распечатывает его и немедленно отправляет Робеспьеру[45]. Впрочем, этой случайности я особого значения не придаю: большинство якобинцев меняли решения в зависимости не от того, кто что о них думал, а от того, кто, по их мнению, побеждал. Накануне переворота они вопрос решают — и ошибаются самым жестоким образом: окончательно принимают сторону Робеспьера и с позором, с криками, со свистом выгоняют из клуба чуть не в шею Колло д'Эрбуа. Обе стороны считали клуб огромной силой. Между тем выяснилось, что почти никакой силы он не имеет; помощи он Робеспьеру 9-го Термидора не оказал, а через несколько дней Баррас, не встретив ни малейшего сопротивления, закрыл клуб и принес Конвенту ключи от него. Вот все «факторы». Как видите, они были настолько неопределенны, неустойчивы, переменчивы, что ровно ничего предсказать было нельзя, ни с помощью теории вероятностей, ни без нее. Тем не менее, термидорианцам необходимо было, разумеется, выбрать какую-то линию атаки, путь для свержения диктатора. Плана в настоящем смысле у них не было. Но они решают обойти Робеспьера *слева*. Заговорщики ставят себе целью *углубление* революции. Они объявят Робеспьера «умеренным», клерикалом (dévot) и даже роялистом, напомнят, что он в свое время *защищал* Дантона! В этом смысле должен говорить — и говорит — в Конвенте в день переворота Бильо-Варенн. На счастье заговорщиков, его речь, повидимому, слушали очень невнимательно. Решила дело речь Талльена, который, вероятно, за десять минут до своего трагического появления на эстраде вообще не знал, *что* скажет, — не знал

[45] Louis Madelin, *Fauché,* Paris, 1923, vol. I, p. 176.

даже и тогда, когда говорил! Везло термидорианцам необычайно. Опять почти случайность. В Конвенте председатель менялся каждые две недели. Эту должность поочередно занимали видные политические деятели разных партий. Занимали ее в разное время Робеспьер, Карно, Талльен, Сен-Жюст, Давид, Кутон, Камбон, Дантон, Верньо и другие. Заговорщикам повезло: в день, назначенный для переворота, в Конвенте председательствует Колло д'Эрбуа. Это им вообще было очень удобно; вдобавок, бывший актер обладал мощным голосом и привык с молодости орать на сцене. Он мог не давать слова Робеспьеру, мог заглушать его восклицания с места: на историческом заседании он это и делал с успехом. На случай уличной схватки у термидорианцев был военный Баррас, — в самом деле Конвент назначил его командующим войсками. Надо было однако найти главного оратора. Фуше для этой цели совершенно не годился. Но Талльен иногда, когда бывал в ударе, говорил хорошо. И новая счастливая случайность: казнь арестованной любовницы Талльена, красавицы Терезы Кабаррю, бывшей маркизы де Фонтенэ, будущей княгини де Караман, прозванной Notre Dame de Thermidor, назначена на 10-е Термидора. Из тюрьмы она посылает своему любовнику коротенькую записку: «Меня убивают завтра. Неужели вы трус?». Талльен, влюбленный в нее до полного безумия, приходит в состояние невменяемости. Жизнь без Терезы не имеет для него цены. Это именно то, что нужно термидорианцам. Вот кто будет говорить! Не всё ли равно, *что* он скажет? Важно то, *как* он скажет, — сумеет ли хоть на мгновенье довести до белого каленья тусклую аморфную массу Конвента. И это удается превосходно. Сцена заседания Конвента в день 9-го Термидора была сплошным Бедламом. Робеспьеру предъявляется бессмысленное обвинение в том, что он *роялист*. Колло д'Эрбуа поручено не давать слова диктатору. Сен-Жюст начинает речь против заговорщиков. Возьму описание из

одного романа, — разумеется, с сокращениями. Талльен вбежал в зал и «остановился в нескольких шагах от трибуны, сжимая на груди кинжал и в упор, горящими глазами, глядя на Робеспьера и Сен-Жюста. В мертвой тишине Конвента точно треснула искра и по зале заседаний пронесся подавленный стон. В этом странном появлении человека, которого все считали обреченным, в его наклоненной вперед, вызывающей и решительной позе, в его безумных, налитых кровью глазах почувствовалось что-то страшное, как будто упал готовый разорваться огромной силы снаряд. Сен-Жюст побледнел и начал свою речь. Со второй фразы его вдруг прервал бешеный истерический крик Талльена. И в ту же минуту не только члены Конвента, но и посетители наверху стали подниматься с мест. Барер, вскоре затем вошедший в зал заседаний, слушал с удивлением и с замиранием сердца. Талльен говорил не то, что сказал бы Барер и что в нормальной обстановке могло бы быть всего вреднее партии диктатора. Но вместе с тем Барер шестым чувством чувствовал, что Талльен губит Робеспьера; губит не содержанием слов, а чем-то иным, от чего люди вскакивают, от чего сжимаются кулаки и бледнеют лица, и ярость подкатывается к горлу... Тот до сих пор непроницаемый покров, которым общий неизъяснимый страх окружал Робеспьера, как будто вдруг начал таять. Бессловесное *болото,* сильное в момент голосования своей численностью, точно выходило из обычного оцепенения. Барер чувствовал, что бой начался хорошо, и что шансы растут... И ему становилось всё яснее, что главное, самое важное, единственное важное в начавшемся смертельном бою — это помешать говорить Робеспьеру. То же самое одновременно почувствовали наиболее опытные из остальных заговорщиков. В разные концы зала тихо пошел приказ по линиям... Протянув кулаки к председателю, что-то кричал надрываясь Робеспьер... Председатель потрясал в руке звонком, вытянув его по направлению к

Робеспьеру, и со злобой всё время отрицательно мотал головой. Голос Талльена всё рос, рос до мучительного, нестерпимого крика и покрыл, наконец, и звонок председателя, и гул зала: ...«Я был вчера в Якобинском клубе... Я увидел!.. Армию нового Кромвелля»!.. — А-а-а-а! — пронеслось в залу. ...И я вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь»... Человек, вцепившийся в стол, выхватил кинжал и, шатаясь, сделал несколько шагов в направлении к Робеспьеру»... Обрываю цитату. Вы знаете, что бессловесный до того Конвент принимает декрет об аресте диктатора. В течение следующих суток еще идет какая-то борьба между Конвентом и Коммуной. Очевидец писал (но вы не верите мемуарам), что в этой борьбе решительно никто ничего не понимал, даже большинство ее участников: В чем дело? Кто левый? Кто правый (пользуюсь нашей нынешней терминологией)? Кому надо сочувствовать? Кого надо проклинать? Да это и в самом деле тогда было нелегко понять. Мы и теперь не очень твердо знаем, кому следовало сочувствовать в день 9-го Термидора.

Л. — Все заключенные в тюрьмых, когда услышали набат, отлично знали, кому сочувствовать! Для тысячи людей переворот был спасительным чудом. У них ни малейших сомнений не было и не могло быть.

А. — Разумеется. Но это объяснилось тем, что им тоже было нечего терять: еслиб Робеспьер остался у власти, они погибли бы *наверное;* в случае же удачи восстания у них оставался шанс на спасение. Уж они-то не только ничего не понимали, но и ничего не знали: бьет набат, происходит что-то очень важное, но что именно[46]? Впрочем, я несколько преувеличил: еслиб я жил в 1794 году в Париже, то и я бы всячески приветствовал событие 9-го Термидора. Но лишь приняв во внимание *всё* и стараясь отвлечься от моральной оценки людей, которые

---

[46] *Mémoires du comte Beugnot,* Paris, 1889, pp. 175-235.

переворот совершили. Так, быть может, со временем придется думать и нашим соотечественникам, — не нам с вами: я дожить не надеюсь.

Л. — Революции не происходят ни по расписанию, ни по правилам морали. Но вы утверждаете, что всё шло и вопреки здравому смыслу. Это весьма сомнительно.

А. — Заключительной случайностью был проливной дождь. О том, как он отразился на исходе борьбы, говорить было бы долго. Погода и вообще играла немалую роль в исторических событиях. Как бы то ни было, дело решилось. Победители без суда отправили на казнь больше ста побежденных. Среди них были сам диктатор, его ближайшие сотрудники, руководители Коммуны, были и никому неизвестные, вероятно даже ни в чем неповинные, члены муниципалитета. Это было в порядке вещей: термидорианцы углубляли революцию. Но вдруг, в один ли день или постепенно, хоть во всяком случае очень скоро, они решили, что их намеренье было совершенно другое: гораздо более выгодно, гораздо больше отвечает желаниям Франции — «положить конец террору». Они это почувствовали, — да и легко было почувствовать по почти всеобщему восторгу Парижа. Это было тем более удобно, что главные личные и политические враги ведь все были казнены 10-го и 11 Термидора. Мысль была — или казалась — гениальной. Термидорианцы стали доказывать, что они всегда больше всего в мире любили свободу, больше всего в жизни ненавидели жестокость и тиранию, никогда террористами не были, они были самые мягкие гуманнейшие люди.

Л. — Очевидно, к этому и относится ваше замечание о перемене самооценки?

А. — Совершенно верно. На нашей памяти ее разительным примером был Муссолини... Кто первый произвел перемену самооценки в 1794 году, не берусь сказать.

Скорее всего, Баррас. Может быть, это даже отвечало его «теоретическим построениям» Он любил повторять слова, приписываемые Кромвелю: «Никогда не поднимешься так высоко, как в тех случаях, когда не знаешь, куда идешь». Эти как будто бессмысленные слова иногда подтверждаются историей поразительно. Так и здесь: термидорианцы совершенно не знали, куда идут. Правда, даже наиболее удачливые из них «поднялись» не так уж высоко, но они спасли жизнь себе, женам, любовницам. Теперь им по существу нужны были главным образом деньги. Придумать идею им было не очень трудно.

Л. — Им нужна была власть.

А. — Это для них было одно и то же. Во все времена власть в трех четвертях случаев так или иначе обогащала властителей. «Так или иначе», т. е. более или менее — обычно менее — законными способами, от прямого казнокрадства и взяточничества до способов сравнительно утонченных. Много ли государственных людей, после долгой карьеры, умирает бедняками? Во Франции так было и при старом строе: Калонн, которого Людовик XVI пригласил для восстановления французских финансов, не имел наследственного состояния, но в бытность свою у власти, дарил любовницам коробки шоколада, в которых каждая конфета была обернута ассигнацией в тысячу ливров. Общественное мнение (о суде тут говорить не приходилось) было особенно снисходительно в этом отношении к военным. Генерал Моро (тоже наследственного состояния не имевший) купил, — кстати, именно у Барраса, когда тот опять обеднел, — замок Гробуа за полмиллиона франков. Наполеон Ней сообщает, что победитель при Гогенлиндене присвоил себе восемь миллионов из сумм, отпущенных его армии[47]. Тем не

---

[47] Napoléon Ney в предисловии к *Mémoires d'une Contemporaine*, Paris, 1895, p. XXII.

менее Моро считается чуть ли не самым бескорыстным из всех генералов того времени. Политический персонал первых лет революции (к несчастью, кроме Мирабо и Дантона) был действительно неподкупен в самом настоящем смысле слова. Но Баррас и Талльен и тут открыли новую эру... Повторяю, идея казалась гениальной, а для некоторых термидорианцев действительно такой и была. Однако не для всех. Другие жестоко ошиблись. Они, фигурально выражаясь, выиграли колоссальную ставку 9-го Термидора — и тотчас всё проиграли! Недавнее прошлое стало понемногу раскапываться, выходило наружу всё, что недавно делали эти новые гуманисты, выглянули на свет Божий спасшиеся жертвы, появились многочисленные свидетели, неотразимые письменные улики. Тут уж почти всё определялось случаем. Он складывался благоприятно в пользу одних, чрезвычайно неблагоприятно против других. Цепи причинности были сходные, но не тождественные, и тянули они в совершенно разные стороны. Баррасу и Талльену повезло, да они и в самом деле за собой имели в прошлом меньше злодеяний (всё познается по сравнению: по сравнению с каким-нибудь Каррье или Эроном любой злодей был небесным ангелом). Колло д'Эрбуа, напротив, потерпел крушение. Он скоро умер в Кайенской ссылке — повидимому, в бессознательном состоянии, выпив залпом бутылку рома. К Фуше счастье пришло не скоро. Он был хитрее и проницательнее других — и он сам себя перехитрил. Уж если поворот, то лучше быстрый и сразу на все 180 градусов. Фуше, очевидно, тотчас понял, что во Франции общее отвращение от Робеспьера может превратиться в общее отвращение от революционеров. Если правительство начнет уж *слишком* праветь, то это может плохо кончиться для людей с неприятным прошлым и в особенности для него самого. Разумеется, как все, Фуше уверял, что постоянно боролся с Робеспьером, что не мог слышать его имени, что боготворил права человека и гражданина;

но с другой стороны, он еще заигрывал с левыми, — мало ли как события сложатся завтра? Он старался застраховаться во все стороны — и не застраховался ни в одну: избежал каторги чудом, тем более, что травили его тогда все, от не-казненных монтаньяров до эмигрантской печати. Топил его и товарищ по заговору Талльен, сразу метнувшийся вправо; каким-то образом было молчаливо признано, что он всегда был добрейший человек и покровитель угнетенных. Баррас тоже ровно ничего не имел против того, чтобы бывшего лионского проконсула отправили куда-либо подальше, а ему, бывшему марсельскому проконсулу, напротив, достались власть, деньги, радости жизни. Были раскопаны доклады Фуше из Лиона. На свою беду, будущий герцог Отрантский говорил в них, что надо «шагать по трупам» и многое другое в том же роде. Он говорил о себе даже больше того, что делал (хотя и делал совершенно достаточно): кто же мог предвидеть, в чьих руках со временем окажутся эти доклады и как они будут приняты? Фуше оправдывался как умел, взваливал Лионские грешки на Колло д'Эрбуа, напоминал о тех добрых делах, которые действительно за ним числились (человек он был всё-таки и предусмотрительный), ссылался на «фатальность обстоятельств», «la fatalité des circonstances»: он в семинарии изучал риторику и очень любил разные такие формулы; еще в Лионе, казня сотни людей, много говорил о «всеобщем счастьи потомства», — злополучная «любовь к дальнему» в политике пошла, кажется, от него и от Колло. Союзников же искал самых разных, от коммуниста Бабефа до роялистов. Главное же, он отлично знал биографию всех видных политических деятелей и об очень многих, даже считавшихся весьма почтенными, мог кое-что рассказать: либо об их еще недавнем отношении к тому, что он проделывал в Лионе, либо об их собственных ничем не лучших злодеяниях в других местах. Лионская делегация приехала в Париж, чтобы сообщить Конвенту о делах

Фуше и Колло д'Эрбуа: массовые расстрелы, разрушения в городе, обращенные в развалины дома. Фуше оправдывался как умел: да, конечно, в этом много правды, — но это ведь делал Колло, один Колло, он же, Фуше, только выручал людей, вот выручил ведь таких-то, да и домов разрушено не более сорока, и то преимущественно ради украшения города! — и потом, надо же сказать откровенно, ведь сам Конвент приказал за контрреволюцию снести Лион[48] с лица земли. Жозеф ле Бон, еще худший палач, чем Колло д'Эрбуа, но в отличие от него, сочетавший в себе, à la Робеспьер, многие черты зверя с немногими чертами праведника, был через некоторое время после 9-го Термидора приговорен к смертной казни. Когда на него перед отправкой на эшафот надевали «красную рубаху отцеубийцы», он попросил передать ее на память Конвенту: «Я только исполнял его приказания». Нельзя отрицать, что в этом была немалая доля правды: хотя в Конвенте было много достойных и почтенных людей, он иногда *единогласно* благословлял самые ужасные дела. Благословлял потому, что был запуган. Но и проконсулы их проделывали порою тоже потому, что были запуганы. Обо всём этом прямо говорить после Термидора не приходилось, но на это намекалось в частном порядке. Председательствовал в Конвенте от 1-го до 15 плювиоза Ровер, с негодованием «заклеймивший» лионские зверства. Этот сын трактирщика, купивший себе задолго до революции титул маркиза, был в свое время крайним роялистом, потом голосовал за казнь короля, участвовал в расправе с жирондистами, устраивал в провинции зверства; но, так сказать, *направление*

---

[48] Комитет Общественного Спасения предписывал: «Торопитесь с бомбардировкой Лиона, умеренность бесполезна с роялистами. Пусть внутренние изменники и внешние враги дрожат, узнав об участи Лиона, туда надо войти с огнем, со штыками на ружьях». (Marcel Navarre, *Le Comité de Salut Public,* Paris, 1909, p. 22).

его зверств было другое и оно после 9-го Термидора вызывало гораздо меньше негодования (вот как дело в Катынском лесу, или Соловки, или Колыма вызывали на западе в свое время много меньше негодования, чем теперь). В ответ на сыпавшиеся против него обвинения, Фуше проявил много изобретательности. Не он один, конечно. О последовавших за 9-ым Термидора месяцах общего благородного негодования против Робеспьера трудно вообще читать без отвращения: столь многое тут насквозь пропитано ложью, бесстыдством, доносами, контрдоносами, шантажом, контршантажом, — с единственной целью у каждого обелить самого себя. В конце концов, Фуше подпал под амнистию. Он удалился, по собственным словам, «на лоно природы» («dans le sein de la nature»). Впрочем, в точности, кажется, неизвестно, куда именно он удалился, и что делал в течение ближайших лет. Позднее Фуше выплыл в качестве мелкого полицейского шпиона у Барраса[49], с которым кое-как наладил опять сносные отношения (можно себе представить, *что* оба они думали друг о друге). Дальнейшая его карьера достаточно известна: Наполеон считал его мерзавцем из мерзавцев, — но он считал мерзавцами почти всех политических деятелей и был довольно к этому равнодушен, лишь бы человек был полезен. При нем Фуше стал министром, герцогом Отрантским и богачом. Он оставил пятнадцать миллионов франков и, если верить Баррасу, огорчением дней славы министра было то, что Талейран нажил шестьдесят миллионов.

Л. — Что же собственно из всего этого следует?

А. — Как вы догадываетесь, я в мыслях не имею излагать здесь историю 9-го Термидора, или Отечественной войны, или Октябрьской революции. Я только

---

[49] Баррас напечатал в мемуарах одно донесение Фуше (v. III, p. 12).

подхожу к этим огромным историческим событиям с той точки зрения, которую вам угодно было назвать «Философией случая». Позвольте поставить еще вопрос: почему переворот произвели именно эти господа? И Баррас, и Талльен, и Колло д'Эрбуа, и даже Фуше были люди не очень значительные. По-моему, историки и потомство (вплоть до Сарду в «Мадам Сан-Жен») очень преувеличили ум и проницательность герцога Отрантского. Во всяком случае, никакой идеи у него не было: как и остальные три, он думал только о спасении жизни и о своих выгодах. Не было у термидорианцев и никаких особенных талантов, хотя сочетание их свойств в дни заговора оказалось очень удачным. Фуше совершенно не умел говорить. По общему свидетельству современников, его отталкивающая наружность, неприятный и слабый голос, неумение отвечать экспромптом делали для него невозможной ораторскую карьеру. Талльен обладал даром слова, но собственно за всю жизнь он сказал только одну *настоящую,* необыкновенную, хотя и совершенно бессмысленную речь, — речь 9-го Термидора. Сравнивать его, как оратора, с Мирабо, Верньо, Дантоном было бы нелепо. Баррас был способный человек, однако, тоже без идей и особенных дарований. В своих воспоминаниях он признавал за ненавистным ему Бонапартом «постоянную мозговую лихорадку», «вечную бешеную деятельность, как бы гидрофобию сна и отдыха». По этому поводу утешался итальянской поговоркой «ogni talento matto», — «каждый талант сумасшедший», — и понимал, что этого рода сумасшествия природа ему не отпустила. Еслиб она у него была, то несколькими годами позднее тот же Бонапарт не отставил бы его навсегда от власти без малейших затруднений. В день 19-го Брюмера Баррас оказался ниже всякой критики. Колло д'Эрбуа был просто никто. Дантон, как человек и государственный деятель, был неизмеримо крупнее их всех четырех вместе взятых. Почему же переворота не произвел Дантон? У

него это был бы переворот с *искренней,* никак не тактической, идеей: он действительно в последние месяцы своей жизни хотел, чтобы кончились террор, диктатура, «углубление» революции, религиозные гонения, лютая партийная ненависть. Собственно, ему было бы неизмеримо легче произвести переворот, чем термидорианцам. Их почти никто не знал, а знавшие презирали. Он же всё еще пользовался огромным авторитетом и едва ли не единственный из людей того времени умел вызывать к себе личную любовь и сердечную преданность. Дантон имел большое влияние на массы, и массы имели большое влияние на него. Он понимал, что надо узнавать или угадывать желания страны и в меру возможного руководиться ими. Еще де Местр признавал, что не люди ведут революцию, а революция ведет людей. Сила Дантона была в том, что он предлагал людям только возможное. Вдобавок он обладал огромным ораторским талантом и необыкновенной энергией. Термидорианцам было до него очень, очень далеко. Тем не менее они сделали то, чего он сделать не мог.

Л. — У Дантона не было для переворота талантливых помощников, кроме Камилла Демулена.

А. — Для переворота и Демулен едва ли годился. Вы мне напоминаете одно замечание в «За Рубежом» Салтыкова. Автор этой книги побывал во Франции в парламенте и слышал там Клемансо, который ему очень не понравился, — кто, впрочем, из *живых* людей ему нравился? И вот, чтобы унизить Клемансо, который говорил «ординарно, безколоритно, вяло», он ему противопоставил настоящих ораторов Божьей милостью, в том числе Камилла Демулена. Салтыков вообще из мирового прошлого знал, повидимому, только историю города Глупова. О французской же истории он (хотя, по его словам, в юности зачитывался Луи Бланами и Сен-Симонами) знал больше по наслышке. Камилл Демулен был заикой (его

этим дразнили все, вплоть до жены), говорил очень плохо и, будучи до революции адвокатом, по отсутствию красноречия, не имел никакой практики. Однако, публицистический талант у него был редкий. *До* переворота и *после* переворота он мог бы быть действительно чрезвычайно полезен Дантону. В дни же или часы восстания Дантон опереться в самом деле почти ни на кого не мог бы. Со всем тем его окружение было не хуже, чем окружение Талльена или Фуше. Почему Дантон переворота не произвел? Не ищите и здесь ответа в соображениях социологических. Я понимаю, во время революции многое меняется за одну неделю, но в настоящем случае за три месяца, прошедшие между казнью Дантона и 9-ым Термидора, изменений внутри Франции было мало, — тут и экономические материалисты едва ли могли бы что-либо придумать. Ответ может быть только личный, психологический. Личная «цепь причинности» Дантона — одна из самых важных в истории. Каковы были ее звенья? Их было немало: глубокое разочарование в революции, начавшееся или очень усилившееся после казни жирондистов, которых он *хотел* спасти; тяжелое семейное несчастье, — смерть молодой жены: она умерла, когда он был в Бельгии, — вернувшись, он велел выкопать ее из могилы, чтобы в последний раз на нее взглянуть! — усталость, апатия, равнодушие ко всему. И больше всего, думаю, уверенность в непоколебимости своего престижа: как Робеспьер тремя месяцами позднее был убежден, что термидорианцы не решатся на него посягнуть, так и Дантон был уверен, что не посмеет предать его суду Робеспьер. Это его и погубило. Все эти причины надо ведь признать не «глубокими», а *случайными*. И тут его личная цепь причинностей переходит в цепь причинности мировой истории. Повторяю, я не склонен обсуждать вопрос о том, что, *быть может,* произошло бы, *еслиб* то-то не произошло. Всё же, думаю, в очень общей форме можно сказать, что история пошла бы иными путями, еслиб

французской политикой дальше руководил Дантон, — Дантон своих последних идей. Была ли бы тогда Директория? Был ли бы Бонапарт? Были ли бы двадцатилетние войны? Поле для догадок широкое.

Л. — Слишком широкое для меня, признающего законы истории. Теперь поставлю вам вопрос и я. Почему заговорщики решили действовать именно в июле?

А. — Эта случайность была прямым последствием предыдущей. Олар довольно наивно утверждает, что термидорианцы считались с положением армии на фронте: весной 1794 года переворот, мол, мог бы сорвать дело национальной обороны. Между тем, после победы под Флерюсом, Франции иностранные враги угрожали далеко не так сильно. Почтенный историк верно судил по себе и по своим единомышленникам, французским радикалам конца 19-го столетия. «Патриотизм» Фуше двадцатью годами позднее нисколько не помешал ему с полной готовностью предавать Наполеона союзникам. Если о чём-либо заговорщики совершенно не думали, то, конечно, о влиянии своего дела на защиту фронта. Почему в июле? Они начали готовить переворот, когда убедились, что казнь Дантона сошла с рук Робеспьеру совершенно благополучно. Эта казнь была тоже одной из причин 9-го Термидора. Заговорщикам было достаточно ясно, что уж с ними-то Робеспьер расправится без малейших затруднений, — еще все спасибо ему скажут. Крупных людей больше не было, кроме Карно (для него действительно соображения национальной обороны играли важную роль). Всё это историческое событие я привел лишь как доказательство еще иной, не количественной, а качественной неопределенности «числителя» при приложении теории вероятностей к истории: то, что кажется участникам больших дел шансом благоприятным, часто оказывается его противоположностью, и сами они в процессе хода событий совершенно меняют свои цели.

По-моему, переворот 9-го Термидора довольно убедительный этому пример. В войне 1812 года участвовали миллионы людей, в этом же перевороте сотни или, самое большее, тысячи. Отдельных цепей причинности было, следовательно, неизмеримо меньше. Но их перекрещиваний было всё же слишком много, и они на этот раз были уже очень неожиданными. Люди хотели одного, достигли совершенно другого и даже, пожалуй, прямо противоположного. Сначала они чрезвычайно обрадовались неожиданному результату, но скоро для многих оказалось, что особенно радоваться было нечему.

Л. — И всё-таки, независимо от людей, от их целей, от их личной участи, произошло большое историческое событие, подчинявшееся закону истории.

А. — Была звериная борьба за жизнь и за власть, у многих дополнявшаяся борьбой за деньги. Этого обстоятельства, конечно, никак не достаточно для объяснения переворота 9-го Термидора с точки зрения экономического материализма. Насколько мне известно, такого объяснения пока никто не дал. Но я не теряю надежды, что со временем какие-либо историки и тут найдут очень хорошее: с пролетариатом, с лумпенпролетариатом, с мелкой, средней и крупной буржуазией, с цифрами ввоза и вывоза.

в) Об октябрьском перевороте

А. — Переворот 25-го октября был противоположностью переворота 9-го Термидора. По самым своим внешним признакам, по принятой им форме вооруженного восстания, по вызванной им продолжительной гражданской войне, октябрьское дело было обширнее, грандиознее недолгой исторической сцены в Конвенте, с последовавшими за ней, тоже короткими, столкновениями. Перемены социального строя в июле 1794 года не произошло. С точки зрения очень левых историков, и *знак* событий должен считаться противоположным. О «знаке», разумеется, всегда можно спорить. Были ли, например, много позднее, падение Троцкого и переход власти к Сталину «восходящей» или «нисходящей» стадией революции? Как известно, названные большевистские вожди тут между собой не совсем сходились.

Л. — Ваше сравнение прежде всего психологически несправедливо: термидорианцы никаких убеждений не имели, а большевики — по крайней мере прежде — были убежденные люди.

А. — Я теперь говорю не об убеждениях, а о целях. Еслиб вы меня спросили, какова главная социологическая особенность октябрьского переворота, то я без колебания ответил бы: она заключается в том, что он противоречит всем «законам истории», а также всем философско-историческим учениям, в особенности же тому, которое проповедывалось его вождями.

Л. — Первую часть вашего суждения, очевидно, надо понимать в том смысле, что законов истории не существует. Что же касается второй его части, то вы, разумеется, имеете в виду марксизм и исторический материализм. Тут ничего нового нет. Действительно, политика Ленина находилась в вопиющем противоречии с основами учения Маркса. Согласно доктрине исторического материализма, в России в 1917 году можно было устроить только буржуазную революцию. Приходу к власти пролетариата должен был предшествовать период господства буржуазии. Социальная революция могла и должна была начаться в одной из самых развитых в промышленном отношении стран мира, а никак не в России. Социалистическая надстройка, воздвигнутая на несоответствующем экономическом основании, по теории обречена была на гибель. Тут в прежние времена не было значительных разногласий между большевиками и меньшевиками. Мы, очевидно, к этому сейчас вернемся. Но до того я хотел бы узнать, каким еще философско-историческим учениям противоречит октябрьский переворот?

А. — Я их коснусь лишь кратко. Незачем доказывать, что «детерминизм» Мальбранша-Толстого чужд до беспредельности октябрю. Возьмем другое учение, не связанное, в частности, ни с чьим именем, но проходящее через всю новейшую историю русской мысли. Мы будем отдельно говорить о русских идеях. Здесь скажу лишь кратко о том, как они толковались большим числом почтенных и трудолюбивых исследователей: «народ-богоносец», «обломовщина русское национальное зло» (хотя и не лишенное привлекательности), «Обломов национальный русский тип», «тихая Чеховская Россия, в которой ничего не происходит». А «Сон» Нежданова в Тургеневской «Нови»: «Всё, всё попрежнему... И только лишь в одном — Европу, Азию, весь свет мы перегнали... — Нет, никогда еще таким ужасным сном — Мои любезные соотчичи не спали! — Всё спит кругом: везде,

в деревнях, в городах, — В телегах, на санях, днем, ночью, сидя, стоя... — Купец, чиновник спит, спит сторож на часах, — Под снежным холодом — и на припеке зноя! — И подсудимый спит — и дрыхнет судия; — Мертво спят мужики: жнут, пашут — спят, молотят — Спят тоже; спит отец, спит мать, спит вся семья... — Все спят! Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотят! — Один царев кабак — тот не смыкает глаз; — И штоф с очищенной всей пятерней сжимая, Лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ, — Спит непробудным сном отчизна, Русь святая...» Стихи, скажем правду, не только довольно плохие, но и довольно лживые. Написаны они после того, как в течение пятнадцати лет в России осуществлялись почти беспримерные по размаху реформы; таких было мало и в европейской истории и уж наверно не было со времен Петра — в русской. Темп русской жизни, даже и во вторую половину царствования Александра II, был во всяком случае более быстрый, чем в Англии, в Германии, в Австрии, и если не Нежданов, то сам Тургенев, проживший полжизни заграницей, мог это знать. Но он высказал общее место, господствовавшее тогда в его кругу. «Сон Обломова», «Сон Нежданова» и т. д. Что же оставила от всего этого история последнего тридцатилетия? Ровно ничего или почти ничего. Как бы мы ни относились к Октябрьской революции и к тому, что за ней последовало в СССР (трудно относиться к этому более враждебно, чем я), мы не можем отрицать, что напряжение действия тут было необычайное, что была проявлена небывалая энергия, и что если какой-либо «тип» оказался совершенно не национальным, то именно тип Обломова...

Л. — Вы забываете, что «почтенные и трудолюбивые исследователи», о которых вы почему-то говорите с иронией, часто и даже неизменно ссылались также на бунтарское начало в русской истории. Национален был Обломов, но были национальны, каждый по-своему, Петр, Стенька Разин, Пугачев.

А. — Мы коснемся позднее и бунтарского начала. Допустим, что оно восторжествовало в 1917 году и в пору гражданской войны. Где же оно теперь? Уже лет тридцать им в русской истории пахнет так же мало, как «Обломовщиной» и «Чеховщиной».

Л. — Это затишье перед грозой.

А. — Может быть, но я говорю только о том, что *есть*. Вдобавок, думаю, что грозы, от которых в войнах и революциях погибла верно пятая или шестая часть русского народа, могут уменьшить в нём надолго бунтарское начало и ослабить любовь к грозам, — если это начало и эта любовь у него были в большей мере, чем у других народов (в чём я весьма сомневаюсь). Пойдем дальше: возьмем философию истории Бокля, еще не очень давно столь популярную в мире вообще и у нас, в частности. Из четырех основных принципов «Истории цивилизации в Англии» важны первый, второй и четвертый (третий лишь представляет собой развитие первых двух). По первому принципу Бокля, прогресс (включая сюда и его революционную форму, — революция ведь есть «варварская форма прогресса») составляет функцию количества познаний в данной стране и их правильного распространения между разными слоями народа. Поневоле, приходится признать, просто по данным о числе неграмотных, о числе школ и т. д., что, согласно этому принципу, в России социалистическая революция должна была бы произойти позднее, чем во всех других странах, считающихся или считавшихся великими державами (кроме Японии), и позднее, чем в целом ряде маленьких передовых государств. Второй Боклевский принцип требовал от руководителей прогресса «пытливого сомнения», а также содействия такому сомнению в народных массах. Если существовали люди, которым по природе было чуждо, совершенно, «на 100 процентов» чуждо, сомнение, то это были именно Ленин, Троцкий, Сталин. Все они

были люди одного и того же миропонимания, — хотя общее миропонимание нисколько не помешало Сталину раздробить череп Троцкому и сотням других марксистов. Нельзя также сказать, чтобы вожди Октября очень старались приучать к сомнению народные массы. То же самое относится и к последнему принципу Бокля: прогресс выше там, где слабее всего влияние государства на жизнь народа, в частности, на его умственную жизнь[50]. В приложении к СССР этот принцип даже улыбки не вызывает. Бокль устарел? Тогда обратимся к системе Дильтея, и по сей день считающейся новым словом в истории философии. По этой системе, история есть перемена религиозного миропонимания, — «поиски души» («wir suchen Seele»). Бесполезно было бы, играя словами, говорить, что и большевики принесли с собой новое религиозное миропонимание: Дильтей, вышедший из Шлейермахера, говорил о духовном и религиозном никак не в том смысле, в каком Сталина или Берию некоторые глупые люди считают «религиозными натурами». По более или менее условному расчету Дильтея, интеллектуальная история Европы, от Фалеса до наших дней, сводится к 84 поколениям[51]. Коммунисты — первое «поколение», которое никакой религиозной идеи не принесло (если только не играть словом «религиозный»). Эрнст Трельш, в своей недавно «гремевшей» или еще гремящей книге[52], считает одной из основных проблем мира: «Как мог бы человек избежать душевного «раздробления», избежать атомизации в историческом процессе, как он мог бы спасти свою «жизненную субстанцию»? Большевики, как позднее и национал-социалисты, поставили себе за-

---

[50] Это то, что Бокль называл «the protective spirit». (H. Th. Buckle, *History of Civilization, in England,* London, 1858, vol. II, p. 1.

[51] Wilhelm Dilltheys. *Gesammelte Schriften,* Leipzig, 1924, B. V, p. 37.

[52] Ernst Troelsch, *Historismus und seine Probleme,* Tübingen, 1922.

дачу прямо противоположную. У них Zermalmung и средство, и даже цель. Верно ли, что «история есть история книг»? К сожалению, я этому и вообще не верю. Если же такое положение верно, то большевики в историческом процессе просто не существуют, — «тем хуже для фактов». Ведь *своих* книг они не создали, — ни одной. Брошюра, написанная Лениным в 1917 году «Удержат ли большевики государственную власть», — это самое лучшее, или даже единственное и, в смысле политической проницательности, очень выдающееся произведение, — однако, чисто практическое и никаких новых теоретических идей в себе не заключающее. У них есть *чужие* произведения, «Капитал» и поистине страшный своей общедоступностью «Коммунистический Манифест», работы действительно в высшей степени замечательные. Есть и гораздо менее замечательная «Гражданская война во Франции». Есть тысячи три компиляций по этим книгам, относящихся ко всевозможным предметам... В конце же перечня философско-исторических систем, неприложимых к советской революции, вспомним еще Гегеля. Он ведь большевикам всё-таки троюродный дед, через Маркса. Гегель усматривал в принципах 1789 года торжество абстрактной добродетели, с ее спутником, — подозрением. Робеспьера они привели к террору, и нужен был Наполеон с его огромной силой характера, чтобы найти выход из этой триады Добродетель-Подозрение-Террор. «Никогда в истории не было подобных побед, — говорит о Наполеоне Гегель, — никогда не было столь гениальных походов — и никогда не обнаруживалось с большей ясностью бессилие победы». Гегель проследил влияние брошенных революцией идей на жизнь Западной Европы и признал, что они подчинились национальному характеру и коренной религии каждого из народов: в католических странах произошло одно, в протестантских другое. «Это ложное правило, будто оковы права и свободы (так и сказал: «die Fesseln der Frei-

heit») могут быть сброшены без освобождения совести, что возможна революция без реформ. «Наполеон так же не мог принудить Испанию к свободе, как Филипп II Голландию к рабству». Лучше же всего оказалось положение в немецких землях, где каждый компетентный гражданин имеет доступ к государственным должностям и правительство покоится на мире чиновников: «Die Regierung ruht in der Beamtenwelt». Он заканчивает книгу словами своей теодицеи, о «Rechtfertigung Gottes in der Geschichte»[53]. Каждое его слово — «кинжал в спину» Октябрьской революции. Как видите, я с достаточным эклектизмом перечислил вам философию истории самых разных взглядов.

Л. — Согласитесь, однако, что довольно странно, обсуждая переворот, произведенный Лениным, Троцким, Сталиным, посрамлять их философско-историческими принципами, к которым они могут относиться только с ненавистью и презрением. Какое им дело до Мальбранша, Толстого, Бокля, Дильтея и даже до их сомнительного «двоюродного деда»!

А. — Я и в мыслях не имею «посрамлять» их. Уж скорее заслуживали бы «посрамления» создатели перечисленных мною философско-исторических систем: «вот ведь произошло великое событие, вполне противоречащее всему тому, что вы утверждали». Октябрьский переворот представляет собой реальность, независимую от того, как его толкуют коммунисты. Я только сказал, что к этому перевороту неприложимы и другие системы философии истории. Всего же менее приложима, повторяю, их

---

[53] G. W. Hegel, *Vorlesungen über die Geschichte des Philosophie*, Leipzig, 1907, pp. 543-563. Как известно, «Философия истории» Гегеля существует в двух вариантах: запись его лекций, сделанная Эдуардом Гансом, и текст, подготовленной сыном философа Карлом Гегелем. Цитаты здесь приводятся по второму варианту, который, кажется, считается более точным.

собственная. Троцкий начинает предисловие ко второму тому своей «Октябрьской революции» словами: «Россия так поздно произвела у себя буржуазную революцию, что она оказалась вынужденной превратить ее в революцию пролетарскую. Иначе говоря: Россия настолько отстала от других, что ей пришлось их перегнать по крайней мере в некоторых областях. Это кажется абсурдным. Однако, история полна таких парадоксов. Капиталистическая Англия настолько опередила другие страны, что была вынуждена замедлить шаг»[54].

Л. — Пример Англии во всяком случае ложен.

А. — Разумеется. Эта книга Троцкого написана умно, искусно и талантливо, но приведенное мною место просто галиматья. Оно не «кажется абсурдным», а действительно представляет собой абсурд. В нем Троцкий сжал содержание многих страниц, в которых он доказывает, что в России 1917 года именно и должна была произойти *социальная революция*. Эта самые слабые и очень скучные страницы его книги. Изъяв из марксизма его основную аксиому, он пользуется для доказательства своего положения всеми фокусами марксистской диалектики. Фокусы эти очень нетрудны. Турецкий или персидский Троцкий при помощи сходных доводов мог бы легко доказать, что в Турции или Персии тоже буржуазная революция произошла слишком поздно и что поэтому ее «приходится» превратить в социальную. Недавно египтяне выгнали короля Фарука, и, я уверен, было бы легко доказать, с ученейшими ссылками на статистику, на экономическое положение феллахов, что именно пришло время для коммунистической революции в Египте. В Германии в 1918 году сходное положение можно было бы доказывать с гораздо большим правом, с гораздо мень-

---

[54] Léon Trotsky, *Histoire de la Révolution russe*, Paris, v. II. — Все цитаты из этой книги переведены с французского перевода.

шими отступлениями от марксистских «законов истории», да его там многие и доказывали; но у немцев законы истории почему-то застопорились, и вышла сначала буржуазная демократия, а затем уж совсем не предусмотренная законами истории гитлеровщина. Троцкому, по его натуре, необходимо было доказать миру, что он «всегда так думал», и притом первый: будет в России именно социалистическая революция. Враги Троцкого еще в ту пору, когда он был у власти, доказывали, что он никогда так не думал, что и теория «перманентной революции», вдобавок им заимствованная, была совсем не то. Раскопали его литературное прошлое, ссылались на его старые статьи, в частности, на одну из них, написанную в 1909 году для польского журнала Розы Люксембург и действительно не очень для него удобную, — он отвечал со своей обычной наглой самоуверенностью, но как будто не без внутреннего смущения. Нас это мало интересует, мы с вами не начетчики. Что же касается Ленина, то он, повидимому, действительно порою так думал давно. Однако, именно он на этом «I told you so», (если не ошибаюсь), настаивал очень мало. По натуре эти два человека очень мало походили друг на друга. Ленин был преимущественно экспериментатор, Троцкий преимущественно честолюбец. Тем не менее, в их личных «цепях причинности» есть немалое сходство. Обоим без социальной революции в 1917-ом году было бы нечего делать. Едва ли нужно говорить, что ни малейшей любви к человечеству у них не было, — ни к «ближнему», ни к «дальнему». Оба они не любили людей. Они даже не очень врали, как Фуше, о «всеобщем счастьи потомства». Предполагалось, что это самой собой, что это где-то как-то вынесено в их жизни за общие скобки. Прежде, до падения царского строя, у них было дело, конспирация, агитация, устройство ячеек, посылка в Россию пропагандной литературы. Но что было бы делать Троцкому в российской демократической республике?

Еслиб он пошел на идейные уступки, он мог бы в лучшем случае стать одним из бесчисленных министров веймарского типа, — их имен история и не сохранила. Кроме того, как ни насыщен он был честолюбием, Троцкий хамелеоном никогда не был: он на такие уступки не пошел бы. В историческом смысле он без октября оказался бы безработным. О Ленине и говорить нечего. Оба они были очень выдающиеся люди. С риском вызвать насмешки у социологов, скажу: без Ленина октябрьской революции наверное не было бы. К несчастью, новейшая история России тесно связана с датами его жизни. Никаких собственных теоретических идей у него не было, но своей проницательностью он превосходил Маркса. Тот долго считал Бисмарка «простым орудием в руках петербургского кабинета», в семидесятых годах прошлого века предвидел гигантские катастрофы в Соединенных Штатах и чуть ли не всю жизнь со дня на день предсказывал близкое падение царского строя, который его пережил на тридцать четыре года. Как организатор, как практический политик, Ленин тоже был выше, чем Маркс. Автор «Капитала» слишком презирал и ненавидел своих соперников. Еслиб он пришел к власти при жизни Лассаля (не говорю уже о Бакунине), он едва ли бы его пригласил в свой кабинет. Ленин пригласил Троцкого и левых социалистов-революционеров, — все пригодятся. Вероятно, и политическое завещание Маркс составил бы не в том снисходительном отеческом тоне, в каком Ленин в своем завещании отзывался о своих товарищах (за одним знаменитым исключением). Во всяком случае Ленин первый в 1917 году, вопреки мнению всего мира, объявил, что большевики захватят и удержат государственную власть...

Л. — Он же, однако, несколько позднее изумлялся тому, как их не свергли. Кажется, удивлялся этому и Троцкий.

А. — Без Троцкого революция была бы, но прошла бы, вероятно, много менее удачно для большевиков. Работа, которую эти два человека развили в 1917 году, всегда будет вызывать удивление историков. Я жил тогда в Петербурге и видел это со стороны. Другие это видели вблизи и описали. Первый случай в октябрьской революции это то, что у нее оказались два таких человека. Второй и третий случай: им обоим удалось приехать в Россию. Британское правительство, как вы знаете, задержало Троцкого в Англии и выпустило его по ходатайству русских министров. Оно нисколько не было обязано удовлетворять такое ходатайство, и легко было бы догадаться, что Временное правительство не будет очень огорчено отказом. Еслиб первым министром Англии тогда был Черчилль, он наверное ходатайства не удовлетворил бы. Германское правительство Ленина пропустило, но могло и не пропустить: Людендорф впоследствии о пропуске сожалел; при другом его решении, глава большевистской партии, вероятно, пробыл бы до конца войны в Швейцарии, и русская история пошла бы по другому пути. Ленин благополучно проезжает через Германию и начинает свою работу. Очень скоро он вызывает к себе почти всеобщую лютую ненависть: ведь большевистские вожди не имели тогда монополии на агитацию. Террористам, еслиб таковые нашлись, было бы очень легко их убить: они ведь появлялись открыто на бесчисленных собраниях. Это можно было бы сделать даже почти без риска. Правда, на митинге толпа могла бы разорвать убийцу, но на улице они большой опасности не подвергались бы и имели бы все шансы на оправдание в суде присяжных. Опять случай: их не убивают. До приезда Ленина в Петербург никто решительно из большевиков не собирался устраивать социальную революцию. Напомню вам факты, впрочем всем известные. 3-го апреля глава большевистской партии приезжает на Финляндский вокзал. По его собственным словам, он был уверен, что его

тут же на вокзале арестуют по приказу Временного правительства: он плохо знал и обстановку, и правителей. На самом деле его восторженно встречают друзья — и не только друзья. Чхеидзе произносит приветственную речь. Ленин, даже не глядя на него, обращаясь не к нему, а к воинской части, тоже прибывшей на вокзал, кратко, но довольно ясно излагает им предстоящую задачу. «Близок час, когда, по призыву нашего товарища Карла Либкнехта, народы повернут оружие против эксплоататоров капиталистов. Совершенная вами русская революция открыла новую эпоху. Да здравствует мировая социалистическая революция!». Оглядываюсь на этот роковой день и спрашиваю себя, *что* надо было делать? Можно — не без труда — вообразить в сходной обстановке Наполеона во главе правительства. Он, вероятно, тотчас под конвоем отправил бы Ленина до конца войны куда-либо подальше. Какой-нибудь Цезарь Борджиа подослал бы к Ленину убийц, которые за чашкой чаю подсыпали бы ему яда. Покойный князь Львов ни в каком отношении не походил ни на Наполеона, ни на Борджиа...

Л. — Мы даже смело можем отставить в стороне гипотезу о Наполеонах и Цезарях Борджиа во главе Временного правительства.

А. — Вдобавок, «состава преступления» тогда еще в действиях Ленина не было. Кроме того, вспомните политическую обстановку и психологическую атмосферу тех дней: еслиб Временное правительство посмело тогда за *речь* арестовать вождя революционной партии, на наших министров обрушились бы и Совет, и все социалисты, — быть может, не только социалисты России, но и всего мира. Временному правительству пришлось бы тотчас Ленина освободить, или выйти в отставку, или пойти на государственный переворот. И, наконец, оно не придавало большого значения тому, что говорит и будет говорить какой-то эмигрант, в ту пору еще и не очень

известный. Быть может, некоторые министры тогда впервые в жизни услышали его имя. Чудо было не в том, что Временное правительство ничего не сделало. Чудо было в том, чтó в этот самый вечер 3-го апреля сделал Ленин. В доме Кшесинской собираются столпы большевистской партии. Среди них один не совсем званый и получужой гость, благодаря которому сохранилась картина вечера. Произносились приветственные речи в честь Ленина. «Приветствия-доклады наконец кончились, — рассказывает Суханов. — И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников»[55]. Ленин говорил часа два. «Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи, — не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию»[56]. Результаты общеизвестны: Ленин представляет свои тезисы, — надо покончить с войной и начать мировую социальную революцию. Эти тезисы мало-помалу усваивают, за редкими исключениями, другие вожди партии, — одни тотчас, другие скоро, третьи не торопясь. Все их собственные планы сметены. За несколько дней до того Сталин «с полной симпатией» отнесся к предложению Церетели об объединении большевиков с меньшевиками. Теперь программа Ленина становится программой партии. Я и по сей день не могу понять, почему это так случилось.

---

[55] Николай Суханов, *Записки о Революции,* Берлин, 1922, книга III, стр. 26-7.

[56] Суханов, там же, стр. 28.

Л. — Случая во всяком случае тут не было.

А. — Он был постольку, поскольку личная цепь причинности очень сильного волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции. Повторяю, Ленина ведь могло и не быть. Тогда, вероятно, даже не поднялся бы вопрос об устройстве социальной революции. Кто его поднял бы, когда Каменев, Зиновьев были решительно против нее, а Сталин и все другие вожди просто о ней не думали? Приехавший позднее Троцкий ни малейшего влияния среди большевиков не имел, для них он был чужой человек, почти все они его терпеть не могли, и считали политическим врагом: ведь он, по его собственным словам, «шел к Ленину с боями». Еслиб его программа не совпала с программой Ленина, большевики его и в партию не приняли бы. Может быть, и программа Троцкого так совпала с Ленинской отчасти именно потому, что этот честолюбец не мог и не хотел оставаться историческим безработным — с небольшим пособием от будущих историков в виде двух-трех страничек в их книгах (без русской революции он и даже Ленин не удостоились бы и одной странички). Добавлю, что доводы Ленина были нисколько не убедительны; теоретически, по Марксу, Каменев и Зиновьев были совершенно правы. Еслиб я очень верил в гипнотизм, я сказал бы, что Ленин «загипнотизировал» свою партию, — и это тем более удивительно, что для нее он не был внезапно свалившимся с неба божеством с присущим божествам ореолом: очень многие из ее столпов давно и хорошо знали громовержца, пили с ним пиво в Кафе де ла Ротонд и в женевском Каруже, знали мелочи его личной жизни, шутили над его слабостями, обсуждали с ним, где бы достать пятьдесят франков, чтобы дождаться ближайшей получки. Все это, не в теории, а в житейской практике, обычно ореолу не способствует. Не имел он над ними и власти, вроде позднейшей безграничной власти Сталина. Ленин мог грозить

и грозил только тем, что выйдет из Центрального Комитета. Но на всем этом я особенно не настаиваю. Главное и *случайное* оказалось в том, что все его предпосылки, все соображения, принадлежавшие уже не к теоретической политике, а к *практической,* оказались совершенно ложными.

Л. — Каким образом?

А. — Троцкий уделил не одну страницу доказательству того, что октябрьский переворот вышел из идей Маркса, а отнюдь не из идей Бланки. Думаю, что, при всей своей спешно приобретенной на Принкипо начитанности в истории, он и не заглядывал в немногочисленные статьи и речи знаменитого французского революционера. Их ему и достать было бы очень трудно, вдали от главных книгохранилищ мира. Если не ошибаюсь, он в своих писаниях Бланки нигде прямо не цитирует. Знал о нем больше по наслышке, из упоминаний в марксистской литературе. По его словам, Бланки думал, что победу в революции может обеспечить одно соблюдение правил тактики восстания. В такой форме это толкование Бланки неверно. Та же доля правды, которая в нем есть, подтверждается и опытом 25-го октября: тактика этого переворота была не слишком изумительной, но она была лучше большевистской же тактики в день восстания 4-го июля. Ей обеспечило победу в день октябрьского переворота полное отсутствие тактики у военных властей Временного правительства и совершенное заблуждение этого правительства относительно вооруженных сил, которыми оно располагало. Все же глубокомысленные соображения Троцкого о классовой борьбе, о разнице между восстанием и революцией были хорошо известны и Бланки. Несмотря на хлесткость диалектики автора «Истории русской революции», эти соображения элементарны и не содержат в себе ни одной новой идеи по сравнению с «Гражданской войной во Франции» Карла

Маркса, даже по сравнению с писаниями Энгельса и многочисленных эпигонов. Троцкий доказывал, что у них был не бланкизм, — в результате же все-таки выходит, что был именно бланкизм, прикрытый псевдонимами Маркса и, разумеется, самого Троцкого. Мне, кстати, всегда было не совсем понятно, почему, по каким психологическим соображениям, большевики (менее других сам Ленин) так упорно от Бланки открещивались. Разве только, что «по Марксу» выходит гораздо солиднее. Французский революционер писал так мало и так не «научно» (хотя был человеком большой и разносторонней учености, не столь уж уступавшей огромной учености Маркса). Или же было психологически тяжело отказаться от старой, знаменитой фирмы, в которой все они прослужили всю жизнь? Однако Ленин в апреле 1917-го года, предложив партии называться коммунистической, отказался от другой своей старой фирмы, от социал-демократии, — и отказался без малейшей сентиментальности: назвал ее «грязным бельем», сказал, что необходимо «снять грязную рубашку и надеть чистую». В более учтивой и почтительной форме большевики могли отказаться и от фирмы Маркса. Им даже незачем было себя назвать бланкистами; у них ведь Бланки всегда считался как бы бедным родственником, хотя и симпатичным. Они могли просто назвать себя ленинистами, — и это совершенно соответствовало бы действительности. Троцкий, конечно, был бы против этого. Вся длиннейшая его книга написана для того, чтобы доказать положение, нелепое и a priori, и a posteriori: революция 1917 года, с некоторыми неизбежными небольшими отклонениями, развивалась по строгой логике диалектического материализма и собственно даже по плану, созданному — разумеется, лишь в общих чертах — им, Троцким, — правда, при очень серьезной, независимой от него, помощи со стороны Ленина. Говоря о том, что в начале революции у большевиков не было ее общей кон-

цепции, он добавляет, что эта общая концепция и не могла быть выработана в глуши, в тех отдаленных местах, где находились Сталин, Молотов, Рыков, «в Сибири, в Москве, даже в Петербурге». Она могла быть выработана «только на перекрестке мировых исторических дорог», т. е. там, где находился он, Троцкий. Не совсем понятно, почему тогдашний Петербург был в этом отношении хуже Нью-Иорка, Вены или других западных столиц, но Троцкий великодушно нашел для врагов это смягчающее обстоятельство (попутно тем самым давая и маленькую апологию русской эмиграции вообще). Конечно, до его приезда в Петербург из дальних стран, революционный процесс строго-логически развивался без его прямых директив. Однако Троцкий неоднократно упоминает, что Совет рабочих и солдатских депутатов в своих действиях с самого начала революции сознательно или бессознательно руководился традицией Совета 1905 года. Как известно, этот Совет был первым бенефисом Троцкого. Для полного подтверждения строгой логики диалектического материализма автору «Истории русской революции» понадобилось несколько свободное обращение с фактами. Так, Февральская революция оказалась делом рабочих. Это следовало и по известному предсказанию Плеханова: русская революция восторжествует как революция рабочего класса или совсем не восторжествует. Предсказание, правда, совершенно не сбылось. Только люди, не видевшие событий в Петербурге или ослепленные пристрастием к схемам, могут, как Троцкий, доказывать, что революцию в феврале совершили рабочие, а «солдаты к ним примкнули на пятый день». На самом деле без восстания петербургского гарнизона февральские рабочие беспорядки были бы очень легко прекращены даже потрясающим по слабости последним правительством императорской эпохи. Да и вообще в течение всего 1917 года и в самые дни переворота роль рабочих, конечно, уступила роли солдат (как

принято было говорить, «вооруженных крестьян», хотя психология солдата все-таки отличается от психологии крестьянина). Сам Троцкий говорит о 25-ом октября: «Трудно определить силы, принимавшие участие в захвате столицы ночью: не только потому, что их никто не считал и не записал, но и по причине самого характера операций. Резервы второй и третьей линии составляли почти весь гарнизон. Но к резервам можно было прибегать только эпизодически. Несколько тысяч красногвардейцев, две-три тысячи матросов, — на следующий день, с приходом подкреплений из Кронштадта и Гельсинфорса, их число приблизительно утроилось — десятка два рот и отрядов пехоты, вот силы первой и второй линии, при помощи которой повстанцы заняли столицу». О рабочих, как видите, тут он не очень распространяется.

Л. — Я видел однако и 25-го октября, и 4-го июля на улицах Петербурга в лагере большевиков множество людей в штатском платье, плохо вооруженных и не имевших военной выправки.

А. — Конечно, их было много. Среди них, вероятно, преобладали рабочие, но были и интеллигенты, и полуинтеллигенты. Роль полуинтеллигентов в октябрьской революции была особенно велика, как и во всех революциях, — говорю это, разумеется, никак им не в укор. Из полуинтеллигентов состоял в большинстве и большевистский главный штаб. Но решающую роль в восстании сыграли, конечно, войска. Над революцией с самого начала повис рок: не желавший больше воевать петербургский гарнизон. И, оглядываясь назад, я и теперь не вижу, как могло бы Временное правительство успешно бороться с этим роком. Послать столичный гарнизон на фронт было почти невозможно: какая сила могла бы его заставить исполнить такой приказ? Это только ускорило бы вооруженное восстание, так как для каждого солдата

риск на фронте был много больше риска при восстании в Петербурге. К тому же, так называемые надежные воинские части, еслиб даже их можно было вызвать с фронта для усмирения петербургского гарнизона, должны были бы, очевидно, заменить его в столице, и тогда они очень скоро бы из надежных превратились, вероятно, в ненадежные, в такой же точно гарнизон, желающий во что бы то ни стало остаться в тылу. Демобилизация разложенных пропагандой воинских частей? Ее они, наверное, приняли бы с восторгом, но каким соблазном это было бы для фронта! Сколько сотен тысяч других солдат пожелали бы подвергнуться такому же наказанию и сделали бы для этого все необходимое! Думаю теперь, что, быть может, наименее плохим, хотя тоже очень плохим, выходом была бы отправка петербургского гарнизона в глубокий, вполне безопасный тыл, под предлогом, скажем, обороны китайской границы. Да и то солдаты верно предпочли бы развеселую петербургскую жизнь с «концертами-митингами» и «танцульками».

Л. — Не могу сказать, чтобы ваше толкование событий 1917 года отличалось особенным идеализмом. Всётаки и 4-го июля, и 25-го октября люди умирали за идею.

А. — Да, 4-го июля большевики потеряли убитыми пятнадцать человек, а 25-го октября несколько больше.

Л. — Еслиб все было так, как вы говорите, то, значит, политической необходимостью, единственным спасением был бы для нас сепаратный мир с Германией.

А. — То, что было политической необходимостью, было психологической невозможностью. Вековая совокупность многого множества цепей причинности создала русскую интеллигенцию 19-го и 20-го веков, — явление, в некоторых отношениях удивительное, неповторявшееся и неповторимое. У нее были великие качества, к которым я и теперь, когда ее больше нет и, вероятно, никогда не

будет, отношусь с глубоким уважением, — горжусь тем, что в ее среде прожил свою жизнь. Были у нее и громадные недостатки. Но это не входит в тему нашего разговора. Такая, какая она была, — русская интеллигенция, ее правившая страной верхушка, просто *не могла* заключить сепаратный мир, не могла сделать то, что позднее очень легко и грациозно, без больших угрызений совести, сделали правители других стран. Настоящий «государственный человек» нашел бы еще лучший выход: сепаратный мир можно было заключить временно, с догадкой о будущем, сохранив за собой, конечно, не право (право тут ни при чем), а фактическую возможность в последней стадии войны без больших потерь примкнуть к лагерю победителей...

Л. — Так поступили и не имея настоящих «государственных людей» румыны в 1918 году. Можно было бы назвать и другие примеры. Вы, однако, в этом третьем вашем разделе беседы несколько отошли от темы случая.

А. — Вы упомянули о восстании 4-го июля. Оно кончилось поражением большевиков. Между тем по существу оно ничем не отличалось от восстания 25-го октября, кончившегося их победой. Троцкий пространно доказывал, что большевики 4-го июля еще не собирались захватить государственную власть, считая это невозможным, и что в этот день никакого восстания не было, а была только «вооруженная демонстрация». Он даже намекает, что правительство или какие-то люди, близкие к правительству и к английскому послу Бьюкенену, провоцировали рабочих в целях установления твердой власти в России. Приводит «доказательства», вроде того, что у одного (не названного им) генерала были, по свидетельству рабочего Метелева, найдены в квартире при обыске два пулемета с лентами! Доказательство, разумеется, бесспорное. Разве только улыбку может вызвать

самая мысль о провокации со стороны русских министров того времени или со стороны английского посла. Из Джорджа Бьюкенена и правые, тогда и позднее, пытались сделать демоническую фигуру тайного руководителя русской революции. На самом деле этот усталый старик вообще плохо разбирался в русских делах и заботился преимущественно о том, как бы ни с кем не поссориться. Разумеется, Троцкому *надо* было доказывать, что большевики в мыслях не имели в июле захватывать власть: «вооруженная демонстрация» была самым большим их поражением в 1917 году; главная ответственность, что бы он ни говорил, падала перед историей на него, как на вторую по размерам фигуру в большевистском лагере (тем более, что Ленин, первая фигура, тогда был болен)[57], — как же он, Троцкий, Наполеон революции, мог потерпеть поражение! И как было бы это примирить со стройным планом, выработанным им на перекрестке мировых исторических дорог? Доказательства Троцкого вдобавок, в высшей степени противоречивы. С одной стороны, «рабочие» проявили в июле такой бешеный энтузиазм, что удержать их от «демонстрации» оказалось для вождей невозможным; с другой же стороны, в июле «даже у петербургских рабочих не было такой готовности к бесстрашной борьбе», какая появилась в октябре. С одной стороны, у правительства в июле еще было достаточно вооруженных сил, чтобы справиться с большевиками: «Надежные воинские части, предназначенные для того, чтобы раздавить Петербург, были взяты правительством из войск, находившихся наиболее близко к столице, без активного сопротивления со стороны других частей, и были привезены эшелонами без какого бы то ни было сопротивления со стороны же-

---

[57] Кроме того, он, повидимому, находился (не долго) в состоянии полного нервного расстройства (см. об этом интереснейшую работу Юрьевского, *Ленин в июльские дни)*.

лезнодорожных рабочих»; с другой же стороны, «захват власти не представлял бы для большевиков никакой трудности» и т. д. Впрочем, на всякий случай, для истории, Троцкий добавляет (тут ссылаясь на Милюкова), что дело 4-го июля все-таки оказалось для большевиков выгодным, так как оно им выяснило, «с какими элементами надо иметь дело, как надо организовать эти элементы, наконец, какое сопротивление могут оказать правительство, совет и воинские части». Однако, по словам Милюкова, именно Троцкий вечером 3 июля в Таврическом дворце заявил: «Теперь настал момент, когда власть должна перейти к советам»[58]. — Разумеется, еслиб дело 4 июля удалось, Троцкий вспомнил бы об *этой* своей фразе. Он оказался бы Наполеоном революции в обоих случаях. Так как дело *не* удалось, то пришлось занять несколько иную позицию: собственно говоря, и 4-ое июля было тоже заранее предусмотренным мастерским ходом, — это было, так сказать, сражение при Прейсиш-Эйлау в ожидании полной победы под Фридландом. На самом деле, разумеется, день 4-го июля оказался для большевиков чрезвычайно вредным. Опыт могло приобрести и правительство, а неудача первой попытки всегда вредит второй. «Вооруженная демонстрация» под лозунгом «Долой министров-капиталистов!», конечно, имела целью захват власти. Ленин, не любовавшийся собой в зеркале истории и нисколько не боявшийся признавать свои поражения, откровенно писал: «Нельзя теперь говорить о вооруженной манифестации без желания произвести новую революцию». «Формально наиболее точное описание событий (4-го июля) — это антиправительственная манифестация. Но существо дела в том, что у нас была

---

[58] П. Н. Милюков, *История второй русской революции*, София, 1921, том I, выпуск I, стр. 240. — Милюков говорил о «выгоде» лишь относительной — в прямой связи с тем, что сделало (или, вернее, чего не сделало) Временное правительство после своей победы 4-го июля.

не обыкновенная манифестация: это *гораздо больше,* чем манифестация, и это меньше, чем революция». В действительности, была именно неудачная попытка сделать в июле то, что с успехом было сделано в октябре. Попытка 4-го июля *могла* удаться, как *могло бы* не удаться восстание 25-го октября. Одни обстоятельства в июле складывались для большевиков менее благоприятно, чем в октябре, другие более благоприятно. Не буду их перечислять вам, как не буду перечислять чистых случайностей в оба эти дня; это было бы слишком долго и напоминало бы то, что я говорил о 9-ом Термидора. Последняя случайность была опять метеорологической: ливень, закончивший день 4-го июля. Солдаты, знавшие по долгой привычке, что из строя выходить нельзя, какова бы ни была погода, остались на улице, а разношерстные люди в штатском, не очень хорошо вдобавок понимавшие, чей приказ они выполняют и чего собственно хотят, стали расходиться по домам. Метеорологическая цепь причинности снова толкнула и надорвала политическую, большевистскую... Не вздумайте приписать мне мысль, будто я объясняю ливнем неудачу июльского восстания. Он был лишь одной случайностью из великого множества. Коллективной цепью причинности неудачи было то, что в июле война еще не стала *столь* отвратительной и невыносимой для русских солдат, как в октябре. Точнее, они прежде не были уверены, что могут от войны отказаться. А кроме того, было больше надежды, что война кончится скоро, что наступление союзников повлечет за собой победу на западе, что в Германии начнется революция. Но я своими глазами видел оба восстания. Картина была одинаковая в обоих случаях: те же восторженно-растерянные люди, такой же «хаос в порядке», то же вечное, страшное fifty-fifty всех революционных и сходных с ними событий. Эту коммунистическую манифестацию очень подробно и, разумеется, беззастенчиво-тенденциозно описал ее участник, большевик Флеровский.

По его словам, она была необычайно величественной и грандиозной. Будто бы толпы людей тянулись от Каменноостровского до Кирочной. По моим воспоминаниям очевидца, демонстрация была гораздо скромнее. Однако и Флеровский признает, что «немного было знамен, скупо играли оркестры, не было легкого радостного оживления». Действительно, легкого радостного оживления никак не было; насколько могу судить со стороны, было даже нечто прямо-противоположное: полная, если не общая, готовность удрать при первом выстреле. Вскользь и сам Флеровский пишет: «В голове невольно шевелились тревожные мысли — «а что как бабахнет по демонстрации какая-нибудь сволочь»[59]. В самом деле «сволочь» могла бабахнуть гораздо сильнее, чем бабахнула. Тем не менее, было вполне возможно и поражение Временного правительства. Еслиб кронштадский флот в июле вошел в Неву и начал бомбардировку Зимнего дворца и Петербурга, то большевики *могли бы* прийти к власти в июле. Еслиб Керенскому удалось в октябре найти на фронте несколько надежных частей, то октябрьское восстание *могло бы* быть подавлено. Кстати, Троцкий в другом месте своей книги насмехается над этой формулой: «Нехватало лишь одного или двух полков». Замените слово «полк» словом «дивизия», и формула окажется приложимой не только к 1917-ому году, но и к следующим годам. Черчилль знал в пору гражданской войны в России, что присылка десяти союзных дивизий обеспечит победу генералу Деникину. А его вы не упрекнете в фантазерстве и в непонимании «соотношения сил».

Л. — Согласитесь всё же, что это не исторический подход к событиям. Насмешка Троцкого тут не лишена основания: «Мог бы», «могли бы», «если бы», — всё это для историка и социолога пустые слова.

---

[59] И. Флеровский, *Июльский политический урок,* Пролетарская революция, книга 54, 1926 год, стр. 78.

А. — Вы совершенно правы: историки и социологи в таком же подчинении у фикции законов истории, как и вы. Для большинства из них то, что было, то и *должно было* быть. Даже Гитлер, с сожжением людей в печах, с идеями, которые показались бы дикими и пятьсот лет тому назад, *должен был* прийти к власти в двадцатом веке, в самой образованной стране мира. Это, опять скажу, не мешает тем же историкам и социологам твердо верить в «неуклонную линию исторического прогресса».

Л. — «Еслиб Керенскому удалось на фронте найти несколько надежных дивизий»! Отчего же он их не нашел? Или это тоже случай?

А. — Пойдите же и вы до конца своей мысли. По крайней мере тогда спор будет яснее. Признайте, что события 1917-го года развивались, если не по плану, выработанному Троцким, то по строгой логике диалектического материализма — или какой-либо другой философско-исторической системе. Вся книга Троцкого сводится к издевательству над демократическими взглядами и действиями, над «органическим ничтожеством русской демократии». Он, порою справедливо, отмечает слабость, бессилие, отсутствие проницательности у ее вождей. Забавно однако то, что почти без всяких изменений его издевательские замечания могли бы быть с таким же основанием отнесены к последовавшим главам его собственной биографии: он в двадцатых годах проявил точно такую же слабость, бессилие и отсутствие проницательности, так же легко дал Сталину себя убрать, как Временное правительство дало себя свергнуть большевикам... В общем, за несколькими исключениями, министры Временного правительства по дарованиям, проницательности и энергии были не ниже и не выше, чем правители первых трех лет большой французской революции (выделим Мирабо) или чем правители революции 1848 года: те тоже ничего не предвидели и тоже были

историей сметены. Во всяком случае, во Временное правительство входило почти всё, что могла дать левая русская интеллигенция, и она целиком за его падение отвечает, — как правая русская интеллигенция отвечает за падение царя. Это «уясняет позиции». С Керенским и с Троцким случилось в разное время одно и то же, — то же самое, что с другими, когда-то чрезвычайно популярными, людьми, совершенно не заметившими, что они понемногу потеряли свою популярность. Помпей говорил: «Топну ногой в землю, и из земли вырастут легионы». Легионы не выросли из земли ни для защиты Помпея, ни для защиты Троцкого, ни для защиты Керенского. Троцкий в 1929 году был уверен, что он так же популярен в партии, как в 1918-ом. Керенский в октябре был уверен, что он так же популярен в стране, как в марте. Вы можете тут же установить «закон истории» о падении популярности вождей. Полковник Полковников, генерал Багратуни, очевидно, этого закона не знали: они в октябре неизменно уверяли Керенского, что надежных вооруженных сил достаточно, и что всякая попытка восстания будет очень легко подавлена. С их слов он в этом уверил и предпарламент.

Л. — Во всяком случае, главная и очень тяжелая ошибка Временного правительства заключалась в том, что оно не расправилось с большевиками после своей победы 4-го июля.

А. — Да, это верно. По-моему, вопрос о немецких деньгах был тогда с разных сторон поднят напрасно. Всегда вредны недоказанные обвинения. Доказать, что немцы давали деньги большевикам, было невозможно. Слишком поздно, вероятно, и теперь, — после того, как советские войска побывали в Берлине и оставались хозяевами той его части, где находилось министерство иностранных дел; там был и секретный архив, и давно уничтожено всё то, что еще могло в 1945 году хоть не-

много — очень немного — повредить белоснежной ризе большевиков. Но и без всяких немецких денег был «состав преступления», совершенно достаточный и для юристов Временного правительства, даже для благодушно-сумбурного министра юстиции Переверзева: было 29 трупов, оставшихся 4-го июля на улицах Петербурга. Пожалуй, немного для истории, однако больше чем достаточно для правосудия. Но что вы понимаете под «расправой»?

Л. — Ленин на следующий день после восстания, 5-го июля, спрашивал Троцкого: «Как вы думаете, они теперь нас всех перестреляют?..». Вопиющее бесстыдство обоих вождей особенно чувствуется в их презрении к тем «министрам-капиталистам», которых они называли «палачами рабочего класса», и которые их в июле не расстреляли. Что сделали бы они сами в случае военного восстания и своей победы! И действительно со стороны «министров-капиталистов» тут было нечто худшее, чем ошибка. Отдана была дань лицемерию и какой-то исторической акустике. Вы сами говорите, что без Ленина октябрьской революции не было бы. Сколько же бедствий миновало бы человечество, сколько миллионов людей было бы спасено, еслиб гуманисты 1917 года решились расстрелять несколько человек! Я еще это понял бы, еслиб тут дело заключалось в глубоком и принципиальном отрицании смертной казни, — тогда я сказал бы только, что людям, *по настоящему* ее отрицающим, нечего делать в революции и незачем в нее соваться. Но эти самые гуманисты остались у власти, продолжали делать громкую политическую карьеру — и ввели смертную казнь на фронте. Казнить ведущих мир к гибели вожаков было нельзя, но расстреливать несчастных, темных невежественных солдат, желавших просто спасти себя, было можно: их никто не знал, русские и иностранные газеты о них не писали, на этом нельзя было поте-

рять благосклонность отечественных и западных друзей слева и можно было остаться иконами великой бескровной. Так же и по тем же соображениям они через несколько лет своей формулой «Ни Ленин, ни Колчак» способствовали победе большевиков в гражданской войне.

А. — Я подхожу к этому вопросу с иной точки зрения. В истории образцом «расправы» был, вероятно, французский переворот 18-го Фрюктидора. Баррас знает, что «гидра контр-революции подняла голову», что «работает английское золото», что роялисты готовят восстание, что они скоро его выгонят или повесят. Он заключает соглашение с двумя командующими армиями, знаменитыми генералами, Бонапартом и Гошем. Гош обещает ему поддержку и подводит к Парижу свои войска. Бонапарт посылает самого подходящего боевого офицера, будущего маршала Ожеро, которому вообще всё равно, кого рубить, лишь бы рубить. Ожеро со своими людьми вламывается в «гнезда реакции» и схватывает всех вожаков. Их отправляют немедленно в Кайенну, — казней Бонапарт (а за ним и Баррас) не любил, никак не по соображениям сверхпринципиального гуманизма, а просто потому, что они создают врагам ореол мученичества. Да и сосланы были не все, — кое-кому, людям безобидным или приятелям, правительство даже дало возможность «бежать». То же самое могло сделать Временное правительство. Кайенны у него не было, но есть в северной Сибири такие места, куда почта приходит два раза в год, и из которых бежать, при сколько-нибудь серьезной охране, невозможно. Как бы то ни было, Ленин, к великому своему удивлению, спасся и скрылся. Он готовит следующее восстание. Повидимому, его мало интересуют план Троцкого и глубокие социологические соображения, по которым в июле Россия к революции была совершенно не готова, а в октябре стала совершенно готовой. Как и Бланки, Ленин знает, что к рево-

люции не бывает «совершенно готов» никогда никто. Он исходит из трех основных положений: солдаты хотят мира во что бы то ни стало и возможно скорее; рабочие хотят экспроприации их работодателей; крестьяне желают получить землю тотчас и не склонны ждать, пока юристы Временного правительства выработают «самый совершенный в мире избирательный закон» и будет созвано Учредительное Собрание, которое выработает аграрное законодательство, тоже, вероятно, самое совершенное в мире. При таких условиях есть шансы на успех восстания, — *гарантировать* же успех не может никто. Письмом из того места, где он скрывался, Ленин предлагает Центральному Комитету большевиков «арестовать» демократическое совещание. Центральный Комитет *единогласно* отвергает это предложение. Против него голосует и Троцкий, вспоминающий об этом очень кратко, с видимым смущеньем, хотя по обыкновению как будто по форме победоносно. Он даже — в кои веки — себя при этом не называет и своих доводов тут не приводит. Говорит просто: «все члены Центрального Комитета, хотя и по разным мотивам, отклонили предложение: одни вообще противились восстанию, другие находили, что момент был самый неблагоприятный, третьи просто колебались и выжидали». Троцкий принадлежал ко второй группе. Он считал предложение Ленина «очевидно невозможным». На самом деле, — говорю здесь и как свидетель, — оно было не только возможным, но и легко осуществимым, неизмеримо легче осуществимым, чем вооруженное восстание: захвата здания, в котором происходило демократическое совещание, никто не ожидал, почти никакой охраны не было, — а каковы были вооруженные силы Временного правительства, это скоро наглядно показало 25-ое октября. Ленин гораздо лучше понимал революционное дело, чем Троцкий. Его слово «арестовать», вероятно, было или скоро стало бы эвфемизмом, — он гуманистом никак не был. Погибли бы все вожди анти-

большевиков. Таким образом, без всякого восстания антибольшевистская Россия была бы обезглавлена, и еслиб и началась тогда гражданская война, то она много легче кончилась бы победой большевиков. Их Центральный Комитет не только отклонил требование Ленина, но в первый и в последний раз в истории своего существования постановил *сжечь* его письмо. Бланки из гроба благословил бы вождя большевиков. Тем не менее отметим забавную психологическую подробность: приблизительно в это же самое время Ленин печатал статьи о том, что устройство социальной революции в России 1917 года вполне соответствует принципам *марксизма*. Ему много легче было менять политическое белье, чем его товарищам, но и ему это было всё же не так легко: были своеобразные «угрызения совести» не-кающегося, но очень грешного марксиста.

Л. — Я всё же хотел бы перейти к *случаю* и к тому, что вы назвали ложными предпосылками Ленина.

А. — Я к этому и перехожу. 10-го октября 1917 года в квартире Суханова, в отсутствие хозяина (предоставила квартиру его жена, большевичка), произошло заседание большевистского Центрального Комитета, — одно из самых важных и значительных по последствиям заседаний в мировой истории. Оно продолжалось десять часов. Из своего убежища приехал тщательно загримированный Ленин, он был в парике, в очках, без бороды. Присутствовало еще одиннадцать человек. Если не ошибаюсь, об этом заседании написано очень мало. Но будут писать о нем в течение веков; в тот день было, наконец, принято твердое решение произвести государственный переворот. Свердлов сделал небольшой вводный доклад. Вероятно, все участвовали в прениях. Основное же свелось к монологу Ленина. Через несколько лет Троцкий вспоминал: «Непередаваем, невыразим был общий дух его упрямых и страстных импровизаций, про-

никнутых желанием внушить возражавшим, колеблющимся, неуверенным, свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество». Возражали Каменев и Зиновьев. Значит, были еще тогда, за две недели до переворота, неуверенные и колеблющиеся. «Ленин вел наступление, другие последовательно к нему переходили». На клочке школьной в квадратиках бумаги он поспешно (вдруг передумают?) написал резолюцию... Бумага в квадратиках в школах употреблялась «для математики». Да и здесь собственно доказывалась тоже теорема, теорема революции. Только как же она доказывалась? *Все* доказательства, *все* положения были ложны, все! Не думаю, чтобы они были *лживы,* чтобы глава партии сознательно обманывал своих ближайших товарищей. Однако, всё, что он говорил, было неправдой. Вот каковы были его положения: 1) Во всей Европе близится социальная революция, 2) Империалисты, (т. е. немцы и союзники) собираются заключить между собой мир, с тем, чтобы задушить русскую революцию, 3) «Русская буржуазия, Керенский с компанией» собираются сдать «Питер» немцам, 4) Близится крестьянское восстание, и несется к большевикам волна народного доверия, 5) Явно готовится вторая корниловская авантюра. По этим причинам Центральный Комитет признает необходимым вооруженное восстание, призывает все партийные организации и т. д. В небольшой квартире № 31, в доме № 32 по Карповке, большинством десяти человек против двух, принимается резолюция мирового значения; через две недели она осуществляется; история мира направляется по новому пути, — и теперь еще так же неизвестно, куда же в конце концов приведет этот путь, в котором каждый вершок густо пропитан кровью. Был на заседании большой человек, Ленин, было еще двое выдающихся людей, Троцкий и Сталин, остальные были в большинстве средние полуинтеллигенты. Многие из них позднее кончили трагической смертью по воле одного из участников

заседания. Всего этого совершенно достаточно, чтобы признать эту сцену в доме на Карповке сценой невиданной, «шекспировской», хотя и с легкой пошловатостью в стиле, — вроде «Питера». Зловещий оттенок ей придает и то, что вывод в ней был сделан из пяти положений, в которых не было ни одного слова правды. Вот ведь Шекспир и называл историю «скучной сказкой, рассказанной идиотом».

Л. — Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие убитые, казненные участники этого заседания действительно никак не могли предвидеть участь, которую им уготовит Сталин на основании обвинений столь же ложных, как перечисленные вами пять утверждений Ленина. Но в вашем рассуждении о 25-ом октября вы говорите всё же не совсем о том, о чем говорили при разборе двух предшествовавших примеров. Разве вы бланкизм считаете апофеозом идеи случая?

А. — Во всяком случае я его считаю практическим отказом от законов истории. По-моему, поучительно то, что люди, признававшие одну из разновидностей этих законов, исторический материализм, святой непоколебимой истиной, в действительности подчинялись случаю и не только в 1917 году, а в течение всех тридцати пяти лет своего существования... Недавно были опубликованы, по записям Бормана, застольные беседы Гитлера. У него тоже была своя святая непоколебимая истина, и он на ее основании предсказал, что национал-социалисты останутся у власти тысячу лет. Однако в одной из этих застольных бесед он откровенно сказал, что ему необычайно везло в жизни, его всегда сопровождало счастье. Гитлеру было не очень выгодно это говорить: зачем же отводить какую-то роль везению, когда всё сделал его гений! Сказал он это года за три до своей гибели. И сказал всё-таки правду: в течение десяти лет ему везло необычайно. Тем не менее его счастье *ничто* по сравнению с беспри-

мерным в истории 35-ти летним счастьем большевиков. Не один раз, не десять раз они были на волосок от гибели, — долго было бы это перечислять. Это, конечно, не помешало бы им на довод «везения» ответить презрительным смешком: хотя Ленин произвел потрясающе удачный переворот, исходя из пяти ложных утверждений, на него, понятное дело, работала строгая логика диалектического материализма. Она же работала и на Сталина, — его сверхчеловеческая гениальность лишь этому помогала.

Л. — Во всяком случае «картезианским состоянием ума» в делах последнего полустолетия и не пахнет.

А. — В этом меня убеждать не приходится. Три четверти того, что происходило и происходит в мире, — настоящий вызов картезианскому состоянию ума. Но тем более мы должны дорожить четвертой четвертью.

IV

ДИАЛОГ О «КРАСОТЕ-ДОБРЕ» И О БОРЬБЕ СО СЛУЧАЕМ

А. — В июне 1947 года в Лунде был международный съезд, посвященный в частности вопросам этики. Основной доклад прочел Рене ле Сенн, второй, дополнительный, на ту же тему Владислав Татаркевич. Не могу сказать, чтобы французский и польский философы, а равно и участвовавшие в прениях ораторы, очень оптимистически высказались о прочности нынешних моральных учений. Я сказал бы даже, что обнаружилась некоторая растерянность. Не стоит возвращаться к временам классиков в этой области философии. Но еще недавно дело обстояло гораздо благополучнее, чем теперь. Быть может, последней из больших этических систем была стройная, очень сложная по форме, очень нелегкая и по содержанию система Макса Шелера[1], о которой с признанием, если не с восторгом, говорили столь разные философы, как Николай Гартман, Трельш, Ортега-и-Гассет[2]. В ней учение о ценностях было классифицировано в полном порядке, была установлена их иерархия: ценности приятные, ценности жизненные («Werte des vitalen Fühlens»), ценности духовные, и, над всеми, ценности священные. По-иному, они еще делились на девятнадцать разрядов. Быть может, Бентам, например, от новых систем пришел бы в ужас. Однако они *были*. Теперь, от них осталось не так много. В частности, на Лундском съезде

---

[1] Max Scheler, *Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik*, Halle, 1927, в особенности страницы 98-109.

[2] Автор не читал этих отзывов и судит о них по предисловию самого Шелера к третьему изданию его монументального труда.

Ле Сенн подверг учение Шелера очень основательной критике[3]. Как в самом деле классифицировать и распределить по рубрикам ценностей картины Рембрандта, научные теории Ньютона или Эйнштейна, мужество солдата, отдающего жизнь за родину, самоотверженье врача, погибающего в борьбе с эпидемией? И как расставить их на иерархической лестнице Шелера? От себя добавлю: как обосновать высшие категории Шелеровских ценностей? И можно ли провести строгое разграничение между ценностями духовными и священными? Даже узаконив «интуицию», мы должны будем признать, что она у разных людей принимает разную форму, — я, конечно, сопоставляю тут не готтентотов с европейцами, а разных западных людей, стоящих на очень высокой ступени культурного развития. У Бертрана Ресселя, Сантайана, Дюи просто не оказалось бы тут общего языка. Кроме того, как замечает Ле Сенн, высшие священные ценности настолько превосходят значением все остальные, что другие при них образуют нечто вроде придатка. Ле Сенн, правда, называет их не придатком, а ведущими к ней путями восхождения (хотя едва ли ценности приятные ведут к ценностям священным). Ново прежде всего общее определение: «Ценность это, что *стоит* исследования» («Ce qui est digne de recherche»). По-моему, тут внутреннее противоречие: самое слово «стоит» уже предполагает существование точно определенных ценностей: мы ведь не могли бы без них определить, что «стоит» изучать и что не стоит. Другие участники этого интересного Конгресса были еще скромнее. Дево возражал и против «узких претензий ограниченного рационализма», и против «иррационализма находящего радость в абсурдном». (Почему, кстати, «находящего радость»?). По его мнению, нужна теория комплементарности, и он, тоже

---

[3] Le Senne, *Le Problème d'Axiologie, Entretiens d'été, Lund 1947*, Paris, 1949, p. 26.

очень скромно, замечает, что не считает ее создание делом невозможным. Гедениус говорил (и совершенно правильно), что суждения в вопросе о ценностях не могут быть ни истинными, ни ложными, и что «субъективистские» теории ценности еще менее удовлетворительны, чем «объективистские». Другие, как Реймонд, защищали иерархию ценностей и защищали ее странными доводами, — сравнением физико-химического мира с биологическим, — этот последний по иерархии выше. Эббингхауз — хотя и очень неясно — предлагал вернуться к германской идеалистической философии и в частности к Канту. Не все участники конгресса решительно возражали даже против полного отрицания разумности моральных ценностей, против «нигилизма» — Wertnihilismus[4]. Это характерно для нашей эпохи. Конгресс происходил вскоре после создания атомной бомбы. Она ведь взорвала не только Хирошиму и Нагасаки, она кое-что взорвала и в человеческом сознании.

Л. — Без всякого отношения к атомной бомбе, эпоха Гитлера-Сталина к «нигилизму» достаточно располагает.

А. — Разумеется. В прежние времена, по крайней мере, разные исторические преступники и их «теоретики», в отличие от Гитлера, не утверждали, что их царство просуществует тысячу лет и, в отличие от коммунистов, не стремились к тому, чтобы облагодетельствовать человечество — уже и не на тысячу лет, а, повидимому, на вечные времена... На Лундском съезде (говорю впрочем без уверенности: быть может, его участники думали иначе) обнаружилось, что в теоретической этике наших дней наблюдается такой же полуразброд, какой существует в демократической мысли и в демократической политике. Люди ищут новых путей — и ищут их довольно неуверенно.

---

[4] *Entretiens de Lund*, pp. 48, 49, 60, 64-66.

Л. — Это делает им честь: коммунисты ничего не ищут, они всё давно нашли... Вы, очевидно, взяли прения Лундского Конгресса как «последнее слово». И вы правы: быть может, действительно бесполезно возвращаться как к Бентаму, так и к многочисленным видам кантианства и неокантианства. Старый утилитаризм наивен и был опровергнут раз навсегда (если вообще в философии бывает «раз навсегда»). Кантовский же нравственный закон у нас, в отличие от Канта с его вечно цитируемой фразой, вызывает всё-таки меньшее удивление, чем «звездное небо над нами». Это последнее поражает и всегда будет поражать людей не меньше, чем автора знаменитой параллели. Что же до «нравственного закона» в человеческой душе, то мы действительно, после разных камер для сожжения людей, верим в него не так уж твердо. С другой же стороны, само неокантианство в какой-то мере оказалось учением казенным и очень удобным для недавней Германии.

А. — Я этого никак не сказал бы, но в Лундских беседах были, если не прямые указания, то определенные намеки на это ваше суждение. Так, Пос, возражая немецкому кантианцу, сказал: «Я отвечу г. Эббингхаузу, что германский идеализм, хотя он и представляет собой большое духовное создание, вместе с тем служит и великим препятствием для действующего разума. Даже у столь компетентного представителя кантианства, как г. Эббингхауз, сказывается то бессилие постигнуть реальное, которое характерно для германской философии и которое имело катастрофические последствия на практике». Едва ли подобные слова говорились или могли говориться на философских конгрессах прошлого. Они тоже свидетельствуют о полуразброде.

Л. — Но если вы в Лундских беседах усмотрели полуразброд, то в чем же видите выход? В учении о

«красоте-добре», о котором, вероятно, в Лунде и не говорилось?

А. — Да. Прежде всего прошу вас извинить, что я употребляю столь истасканные, тяжеловесные слова. Я чувствую, как неприятно-неестественно они звучат. Однако было бы еще неестественнее, еслиб я пользовался выраженьем «Kaloskagathos»; это вдобавок могло бы подать основание к ложному предположению, что я всех философов Греции читал в подлиннике. К тому же, они еще более истасканы по-гречески (немецкие профессора говорят даже «die Kalokagathie»).

Л. — Дело не в слове. Но не поясните ли вы теперь, в чем сущность понятия. Предположите, что я совершенно не знаю, что такое добро, и что такое красота.

А. — Мне трудно это «предположить»: думаю, что вы знаете их смысл так же хорошо, как я.

Л. — Вы всегда стоите за точные определения... Насколько я могу понять, вы считаете «красоту-добро» идеей вечной, существовавшей и существующей с древних времен?

А. — Именно. Когда мы называем вечной ту или другую идею, то обычно имеем в виду, что она периодически возвращается после долгих лет забвения, — вот как девять раз возвращался на землю бог Вишну и появится, по древнему учению еще в десятый раз в день конца мира. Эта же идея никогда и не исчезала, хотя были великие мыслители, которым она была чужда. Об ее истории можно было бы написать книгу, но для этого нужна эрудиция, которой у меня нет.

Л. — Кого же вы считаете ее создателем?

А. — И на этот вопрос вам могли бы ответить люди, лучше, чем я, знающие историю древней философии. Самое выражение не раз встречается у Платона, однако, он его употребляет, как нечто давно известное его со-

беседникам. Тем не менее у философов до-Сократовской эпохи я его не встречал. Демокрит объединяет «добро» с «истиной», — правда, вполне возможно, что этот великий человек, который, по словам Аристотеля, «размышлял обо всём»[5], придавал истине и эстетический смысл. Да не всё ли равно, кто первый дал название науке или идее? Слово «философ» впервые произнес Пифагор, но философы существовали до него, как этика существовала до Аристотеля, а эстетика до Баумгартена, хотя названия выдумали они. В сущности, в отвлеченной философии греки открыли главное. Если верить Лассону[6], Гегель сказал (я не нашел у него этих слов), что выше Аристотеля человеческая мысль никогда нигде не поднималась. Не буду говорить о логике и философии точных наук, но, кажется, во всём остальном до Декарта не было в философской области сказано ничего вечного после греков.

Л. — Мне трудно с вами согласиться. Вся греческая философия насквозь эвдемонистична. И Сократ, и его предшественники, и его последователи исходили преимущественно из идеи *счастья.* Разумное, доброе для них это то, что полезно человеку. И если они употребляли выражение «Красота-Добро», то, я думаю, скорее именно в таком смысле. Это в первую очередь относится к этике Платона. Боюсь в этом сознаться, но мне всегда казался чуть преувеличенным тот беспримерный культ, которым две тысячи лет окружено его имя. По-моему, Аристотель, Декарт, Спиноза, Кант заслуживали этого культа в большей мере, чем он. Оговариваюсь, я не философ и вдобавок тоже плохо знаю греческий язык; особенности греческого стиля от меня ускользают. Тот же названный

---

[5] Théodore Gomperz, *Les penseurs de la Grèce,* traduction Reymond, Paris, vol. I, p. 336.

[6] Aristoteles, *Metaphysik,* немецкий перевод Adolf Lasson'a, Iena, 1907, p. XIII.

вами Лассон называет его «величайшим стилистом всех времен и народов». Быть может, для такой оценки он всё-таки слишком многословен. У него нет истинно-божественной сжатости «Экклезиаста» или первых страниц «Иова». В «Горгии» Калликлес, один из не столь уж многих умных собеседников Сократа, называет его «болтуном»: — «Ты всё твердишь одно и то же, Сократ!»... «Как нелепо то, что ты говоришь! Ты просто болтун!»[7]. Мы, разумеется, не смеем быть столь непочтительны. Но я не могу отделаться от впечатления, что у Платона Сократ всегда достигал полной победы в споре со своими собеседниками при помощи уж очень легких приемов: он либо ловил их на какой-либо обмолвке, либо изображал их недалекими людьми, — они ведь чаще всего, в ответ на его соображения, восклицают: «Ты прав!..» «Это верно!..» «Разумеется!..» «Я с тобой согласен!..» Бывают впрочем исключения: Калликл, Полл. Эти, во всяком случае как психологи, выше Сократа. В одном из диалогов Сократ утверждает, что «злые люди» (он имеет тут в виду и людей преступных) всегда несчастны. Замечание сомнительное и жизнью опровергаемое беспрестанно. Но его еще можно было бы принять, еслиб за ним тотчас не следовало утверждение, что эти люди становятся менее несчастными, когда получают должное возмездие! Не знаю, читал ли эту страницу Достоевский. Я не уверен, что Раскольников был очень счастлив на каторге, осуществив свое «право на наказание». Но русский уголовный суд, сравнительно мягкий в приговорах, дал ему хоть теоретическую возможность наслаждаться своим счастьем в Сибири: во Франции, в Англии суд его этой возможности лишил бы, так как за убийство и ограбление старухи-процентщицы его, особенно в то время, по всей вероятности, отправили бы на эшафот. В

---

[7] *Oeuvres de Platon, Gorgias.* Traduction A. Bastien, Paris, s. d., pp. 274-281.

древней Греции, даже в гуманных и просвещенных Афинах, были еще и другие возможности: Полл, возражая Сократу, очень искусно и убедительно этим пользуется: «Что ты говоришь, Сократ? Представь себе, что человека уличают в каком-либо преступлении, например в стремлении к тирании. Его подвергают пытке, рвут на части, выжигают ему глаза, заставляют терпеть безмерные, бесчисленные, разнообразные муки, то же самое проделывают на его глазах с его детьми и с его женой, затем его распинают на кресте, сжигают живьем, — и этот человек, по-твоему, счастливее, чем еслиб он избежал всего этого, стал тираном и затем, будучи хозяином в своем государстве, делал всё что ему угодно, служил предметом зависти для своих сограждан и для иностранцев и был всеми признан счастливцем?». Разумеется, опровергнуть Полла тут довольно трудно. В ответ Сократ — простите дерзость — довольно путанно бормочет: «Ты хочешь, добрый Полл, запугать меня страшными словами, но ты меня не опровергаешь... *Как бы то ни было,* помни одно маленькое обстоятельство: понял ли ты, что этот человек стремился к тирании несправедливо?». — «Да». — «Если так, то он не будет более счастлив, чем другой, чем тот, кто сумел несправедливо стать тираном, чем тот, кто был покаран. Ибо из двух несчастных один не может быть более счастлив, чем другой. И более несчастлив тот из двух, кто стал тираном. Почему ты смеешься, Полл?». Мы, читатели, прекрасно понимаем, почему Полл смеется. Одним этим «как бы то ни было» Сократ очень уменьшил убедительность своего ответа. Прежде всего два его положения исключают друг друга: с одной стороны, из двух несчастных один почему-то не может быть счастливее, чем другой; с другой же стороны один всё-таки оказывается счастливее. А главное, выбор — который же из двух? — должен был изумить неожиданностью не одного Полла: *счастливее* тот, кого, — с ни в чем неповинной семьей — пытали

и сожгли живым! Еслиб тут говорилось о *долге,* нельзя было бы спорить. Но тут говорится о *счастьи...* Думаю, что Платон и сам это видел: у Сократа тон тут как будто несколько смущенный; собеседники даже не восклицают: «Клянусь Юпитером, как это верно, Сократ!». В «Республике» Платон развивал совсем не такие мысли. Быть может, я и потерял любовь к нему из-за этой книги, в которой, как известно, есть почти все мысли, ставшие основой национал-социализма. Платон ведь объявлял свободу совести преступлением, стоял за убийство больных и неприспособленных, высказывал полное презрение к народу, уверял, что править должны высшие, — не всё ли равно, как называется начальство?

А. — И в той же «Республике» — божественное начало седьмой части, знаменитый образ пещеры и теней... Вы совершенно правильно отметили связь Платоновских проблем с проблемами Достоевского. Я сделаю еще шаг дальше: с ними и случилось одно и то же. Платон переменил аксиоматику на протяжении одной книги. Достоевский тоже ее переменил, но ему для этого понадобилось несколько произведений: «Записки из Мертвого Дóма», быть может лучшая из его книг, одна из гуманнейших в мировой литературе. А затем «Записки из Подполья»!..

Л. — Разумеется, и «Горгий», как все другие диалоги, кончается полной победой Сократа. Но эту книгу просто нельзя перевести на простой язык жизненной правды. Гитлер и Муссолини едва ли согласились бы с тем, что они были всего счастливее в 1945 году, когда приближались к каре.

А. — Я готов согласиться с вами в том, что Платон, присоединив идеи счастья к принципу красоты-добра, сам несколько поколебал этот принцип. Конечно, человек, всю жизнь верой и правдой ему служивший, может быть очень несчастен: например, если он болен мучительной, неизлечимой, мешающей работе болезнью, если смерть

унесла у него самого близкого человека и он не верит в загробную жизнь, также во многих других случаях. В течение 19-го столетия комментаторы Платона могли бы отводить, как невозможную и потому неубедительную крайность, пример Полла: пытки, выжигание глаз и т. д. Теперь мы этого отвода сделать не можем: слишком много в разных камерах Гиммлера, в застенках Г. П. У., погибло людей, которые ни к какой тирании не стремились, а иногда как могли служили идее красоты-добра или чему-либо сходному. Их, вероятно, тоже было бы нелегко убедить, что они гораздо менее несчастны, чем их палачи: из бывших тружеников Гестапо ведь и теперь девять десятых живут на свободе и пьют пиво в мюнхенских и других ресторанах; еще лучше устроились тайные и явные чекисты, — с большинством из них тоже ничего особенно худого случиться не может и не случится (кроме, разумеется, Платоновской кары). Да, вы правы: вопросы о счастье и пользе мы можем тут оставить в стороне. Платон во всяком случае напрасно пытался *доказать* то, что доказать невозможно: идея недоказуемости аксиом (не говоря уже об их условности) вообще была чужда грекам до Эвклида. Платон не дал *определения* красоты-добра. В «Кратиле» Гермоген задает Сократу тот вопрос, который мне задаете о красоте и добре вы: «А что же это такое?». Сократ отвечает: «Понять это всего труднее»[8]. В «Пире» Сократ говорит — повторяю, как бы о чем-то всем известном, — что красота от добра неотделима[9]. И, наконец, в той же «Республике», в которой, как вы указали, есть мысли, оправдывающие действия немецких национал-социалистов, Сократ говорит Глаукону: «На последних пределах достижимого мира находится идея добра. Заметить ее трудно, но нельзя

---

[8] *Oeuvres complètes de Platon*, traduction Victor Cousin, Paris, 1827, vol. XI, p. 91.

[9] Там же, стр. 295.

видеть ее, не заключив, что она-то и есть причина всего того, что есть *прекрасного* и *хорошего*. В видимом мире она создает свет и дающее его светило. В невидимом мире она дает доброту и мудрость. Поэтому к ней и надо возвращаться взором, чтобы мудро вести частные и общественные дела». «Я, как могу, разделяю твое мнение», — отвечает Главкон. — «Тогда пойми же, — говорит Сократ, — и перестань удивляться тому, что люди, достигшие этой высоты, не желают заниматься человеческими делами, что их вечно тянет к высшей сфере»[10]. Как видите, Сократ ничего не «определяет». Если вам необходимы определения, то вы их найдете в любом немецком курсе философии, найдете там das Natur-Schöne, das Kunst-Schöne, das Formal-Schöne, das Überhaupt-Gute, das Sittlich-Gute, и т. д. Греки были не так основательны, как немцы. Хризипп, например, говорит о «*красивом* течении жизни»[11] мудреца, не поясняя ни того, что такое красивое течение жизни, ни что такое мудрец. Если не ошибаюсь, Плотин был последним из классиков, следовавшим учению о Красоте-Добре. Он, правда, пользуется выражением, которое обычно переводят словами «трансцедентная красота»[12]. «Душа, — говорит Плотин, — познает красоту при помощи особой своей способности, которой надлежит ведать тем, что касается прекрасного»[13]. В этих словах собственно полный отказ от определения. Да Плотин и прямо повторяет слова «красота-добро». То же самое в Платоновском «Федре»: «божественное — то, что прекрасно, мудро и хорошо или приближается к этим свойствам». Всё это сводится к по-

---

[10] Platon, *L'Etat ou la République*, traduction A. Bastien, Paris, p. 277.

[11] *Die Nachsokratiker*, Iena, 1923, v. II, p. 56.

[12] Plotin, *Les Ennéades*, traduction Bouillet, Paris, 1857, vol. III, p. 471.

[13] Там же, vol. I, p. 102.

пыткам несколько отодвинуть ту точку, где начинается недоказуемое и неопределимое.

Л. — Вы не нашли определения красоты у древних, но свет не сошелся на них клином. Ведь кое-что было и между Платоном и участниками Лундского конгресса. В частности же, *определений* было бы довольно естественно искать у трех великих философов 17-го столетия. До их времени создалось несравненное искусство Возрождения, — было о чём судить. Декарт и Лейбниц были вдобавок «обязаны» дать определения, как математики, а Спиноза, как создатель системы, строившейся по образцу геометрии Эвклида, при помощи определений и теорем.

А. — У них, однако, нет и того, что дали греки. По случайности, эти три мыслителя, в особенности второй и третий, были не очень восприимчивы к искусству. У Декарта идея красоты, без определений, проскальзывает именно в его чисто-научных трудах. Спинозе и Лейбницу она чужда. Впрочем, в «Этике» есть, пожалуй, и определение, — странное, почти «физиологическое»: «Если представляющиеся нашим глазам предметы вызывают в нервах движение, способствующее здоровью, мы называем их *красивыми,* а в случае обратного — *безобразными*». Он говорит там же: «Люди предпочитают порядок беспорядку, как если бы порядок соответствовал чему-либо реальному в природе. Поэтому они говорят, что Бог создал вещи в порядке. Тем самым они, сами того не замечая, приписывают Богу воображение, — если только, по случайности, они не утверждают, что Бог, предвидя воображение людей, расположил всё так, чтобы они могли бы всё вообразить с наибольшей легкостью. Их, конечно, не остановит тот факт, что бесконечное число вещей далеко превосходит наше воображение и что великое их множество его подавляет, вследствие его слабости». Кажется, единственный раз в жизни Спиноза тут добавляет слова, его стилю вообще не свойственные: «Но довольно об этом

предмете»[14]. Жаль, что довольно: мы послушали бы еще! Гуго Боксель в письме к Спинозе высказался за существование привидений, «так как их существование нужно для красоты и совершенства мира». Довод был во всяком случае изобретательный. Однако, Спинозе он, повидимому, показался просто глупым. Он ответил, что привидения едва ли очень увеличили бы красоты мира, — чем они были бы лучше разных выдуманных чудовищ, центавров, сатиров, грифонов? Но тут же — опять неожиданно — Спиноза добавил несколько слов о красоте вообще: «Самая прекрасная рука покажется отвратительной, если на нее посмотреть через микроскоп. Некоторые предметы на расстоянии прекрасны, а вблизи уродливы. Сами же по себе и в отношении к Богу, вещи не уродливы и не прекрасны. Поэтому тот, кто говорит, что Бог сотворил мир для того, чтобы он был прекрасным, должен признать одно из двух: либо Бог создал мир ради удовольствия и зрительных свойств людей, либо Он создал удовольствие и зрительные свойства людей ради мира»[15]. В другом месте, в своей мрачной 39-ой теореме третьей книги, в теореме о ненависти, он чуть ли не из нее, из ненависти, выводит и понятие добра: «Тот, кто кого-либо ненавидит, старается сделать ему зло, если только не опасается, что от этого произойдет большее зло для него самого. Наоборот, если кто кого любит, он старается сделать тому добро *под тем же условием*»...

Л. — Ваш вывод несколько смел: эти слова никак не означают, что Спиноза из ненависти *выводил* добро.

А. — Он во всяком случае выводил его из наших ощущений: «Под добром я разумею тут все роды радости и то, что им способствует, а в особенности то, что умиро-

---

[14] Spinoza, *Ethique*, Traduction Raoul Lantzenberg, Paris, s. d., p. 59.

[15] *Philosophy of Benedict de Spinoza*, Translated by R. N. M. Elwen, New York, p. 388.

творяет сожаление, каково бы оно ни было»... «Мы ничего не желаем потому, что считаем желаемое добром: напротив, мы называем добром то, чего мы желаем»... Нет, у Спинозы не приходится искать учения о Красоте-Добре. Вы спрашиваете еще о Лейбнице. Хотя это не имеет тесного отношения к занимающему нас вопросу, но какого Лейбница вы имеете в виду? Классического, конформистского автора «Монадологии» и «Опыта о доброте Господней и о свободе человека», друга пяти или шести монархов, в том числе и Петра Великого, или недавно раскрытого и изученного, другого, неожиданного Лейбница, автора произведений, которых он при жизни никому не показывал и которые пролежали двести лет под спудом в рукописях; только одно из них он показал янсенисту Арно и больше не спешил никому показывать, когда Арно пришел в ужас. Не хочу поднимать старого вопроса о том, был ли Лейбниц спинозистом[16], но первый Лейбниц отрекался от не-конформистского Спинозы, называл «Этику» слабой до удивления книгой и даже утверждал, что видел ее автора всего раз в жизни, при чем Спиноза рассказал ему «несколько хороших анекдотов». Автор «Этики» в качестве анекдотиста был бы, конечно, фигурой довольно неожиданной. Однако, позднее было установлено, что Лейбниц встречался со Спинозой беспрестанно в течение целого месяца и вел с ним длинные философские и ученые разговоры. Скрывать это было собственно ни к чему даже в то время, и, разумеется, весьма досадно, что разговоры этих двух столь необыкновенных людей до нас не дошли. Профессор Людвиг Штейн, написавший об этой странной истории очень интересную книгу[17], допускает разные объяснения: быть может, у Лейбница была плохая память, — объяснение тоже не-

---

[16] A. Foucher de Careil, *Refutation inédite de Spinoza par Leibniz,* Paris, 1854.

[17] Ludwig Stein, *Leibniz und Spinoza,* Berlin, 1890.

ожиданное, если принять во внимание колоссальные, всеобъемлющие познания этого человека; быть может, он боялся себя скомпрометировать знакомством с проклятым пантеистом, каким влиятельные люди считали Спинозу, — объяснение гораздо более правдоподобное; скорее же всего он для себя ставил вопрос так: либо Спиноза, либо я, — если прав Спиноза, то моя система не существует. Как бы то ни было, через много лет после смерти Спинозы Лейбниц уклончиво и неодобрительно называл его: «некоторый, слишком известный Новатор» («un certain Novateur trop connu»). В девятнадцатом столетии профессор Шульце напечатал рукописные замечания, сделанные Лейбницем на экземпляре книги Спинозы, сохранившемся в Ганноверской библиотеке. Появилась в печати и так называемая Вахтеровская рукопись Лейбница. Бертран Рессел, глубокий знаток произведений германского философа-математика, пришел к печальной мысли, что Лейбниц был в каком-то смысле человеком двойной умственной жизни[18]. Вдобавок, уже после работ Рессела, совсем недавно появилась в печати новая Лейбницева рукопись. К некоторому стыду нашей петербургской Публичной Библиотеки, она пролежала там под спудом без малого полтораста лет: это была рукопись из богатейшей библиотеки графа Залусского, отошедшей к России после третьего раздела Польши и возвращенной польскому правительству после первой мировой войны. Сама по себе она не очень важна, но в ней есть отрывочные записи Лейбница на его немецко-французско-латинском языке, довольно циничные по существу, и по-моему, вполне подтвердившие общий взгляд Рессела[19].

---

[18] Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, New York, 1945, pp. 581-596 и *A critical exposition of the philosophy of Leibniz*, Cambridge, 1906.

[19] Leibniz, *Lettres et fragments*, publiés par Paul Schrecker, Paris, 1934.

Л. — Действительно, книги, напечатанные Лейбницем при жизни, были очень удобны для людей его времени и в особенности для людей власть имущих, которые, впрочем, едва ли его читали и в большинстве знали об его идеях лишь по наслышке. Но я не охотник до «развенчиваний» в стиле Рессела и других, да не очень он Лейбница и развенчал...

А. — Он, конечно, и в мыслях этого не имел; как математик, Лейбниц во всяком случае бессмертен, и кому же, как не Resselу, это ценить? Если не ошибаюсь, он и в вековом споре о приоритете по изобретению дифференциольного исчисления не так уж целиком принял сторону Ньютона против Лейбница, во всяком случае принял менее горячо, чем некоторые английские и даже французские[20] исследователи.

Л. — Упреку же в угодничестве перед властями подвергались вдобавок десятки больших философов. Напомню, что Виллиам Джемс называл философию Гегеля удобным пансионом на берегу моря, а тот же цитируемый вами Рессел говорит, что Гегель изобразил Вселенную по образцу прусского государства, и что молодому человеку гораздо легче получить университетскую кафедру, если он гегелианец (или кантианец). По-моему, это еще больше относится к Лейбницу, чем к Гегелю.

А. — Это не относится ни к тому, ни к другому. В гегелевском пансионе на берегу моря поселились не только «сто сорок профессоров», но и Карл Маркс. Ведь в известном, узком смысле, со всякими оговорками, он всётаки был «гегельянец».

Л. — Уж если мы себе позволили и это отступление в сторону, то я скажу, что Лейбниц и как человек был фигурой чрезвычайно привлекательной. У меня, в отличие

---

[20] Maurice Halbwachs, *Leibniz*, Paris, s. d., p. 6.

от вас, большая любовь к оптимистам. Фонтенелль изобразил Лейбница чуть ли не весельчаком[21]. Недоброжелатели ему в упрек ставили лишь некоторую бережливость, — рассказывали, что он в подарок молодым, выходившим замуж барышням, всегда приносил только тетрадку с житейскими правилами и советовал им заниматься собственноручно стиркой белья. Ничего хуже этого они не придумали. Он, правда, был очень счастливым человеком: еслиб не подагра на старости лет и не этот приоритет Ньютона в вопросе об открытии дифференциального исчисления, у Лейбница, кажется, никаких серьезных огорчений в жизни не было.

А. — Я нисколько не отрицаю, что «лейбницианское состояние ума» одно из самых счастливых, и вам незачем ссылаться на мелочи его жизни. Вы, очевидно, хотите убедить меня в том, что у Лейбница, как и у Спинозы, нет намека на древнее учение о красоте-добре? Я без всяких возражений с этим соглашаюсь. Действительно, нет. Они этих двух понятий не сочетали и первым из них даже как будто не интересовались. Быть может, Лейбниц, как столь много других больших людей, прошел мимо Платоновской «теории красоты» так, точно ее никогда и не существовало. Но что же собственно из этого следует? В этике главный интерес Лейбница это проблема существования зла в мире. Ее обсуждение, по-моему, самое ценное в философском наследии Лейбница. Никаких монад, ни без «окон», ни с «окнами», не существует, нет и «предустановленной гармонии», и самое ценное теперь в его чисто-философском наследии — именно конформистский «Опыт о доброте Господней и о свободе человека». Эту книгу иначе можно было бы назвать «О том, почему существует зло»: «Если Бог существует, откуда зло? Если Его нет, откуда добро?» Лейбниц полемизирует с Бейлем, но через него часто в сущности с Декар-

---

[21] Bernard de Fontenelle, *Eloge de M. Leibniz,* Poris, 1839.

том. И в его постановке вопроса огромная сила и острота: *необходим* только Бог. Правда, Бог руководился желанием создать возможно больше и поэтому создал и зло, сделав и законы природы случайными, «zufällig», «lois de convenance». Почему же Бог желал создать возможно больше? Ответ: Wertprädikat «добро» возможен только при существовании Wertprädikat'а «зло». Лейбниц приводил всегда великое множество цитат, — у него к ним была слабость и, по-моему, очень хорошая, приятная и полезная слабость, — но в этом вопросе он призвал к себе на помощь уж слишком много самых разных, порою неожиданных, союзников. На «еще недостаточно оцененного Маймонида» он ссылается тут хоть, повидимому, по праву, но зачем ему были нужны десятки третьестепенных авторов, почти забытых уже в его время? И при чем тут был Декарт, которого он тут же, впрочем, «исправляет»? При чем тут был Маккиавелли? Лейбниц косвенно использовал и Тертуллиановы «это достойно веры, потому что бессмысленно», «это достоверно, ибо невозможно»[22]. Он не обошелся даже без Диавола, который мог быть виновником образования зла в мире. И всё-таки кончил он выводами умеренными: добро количественно преобладает в мире над злом[23]. Да и к выводам он пришел с оговорками: есть, — говорит он, — тысячи способов доказать то, что он утверждает, незачем останавливаться только на некоторых из них; верить можно хотя бы разумно («raisonablement»), если и нельзя верить с доказательствами («démonstrativement»). В заключении же первой части своего труда он говорит: «А может быть, в сущности все люди одинаково плохи и следовательно не могут себя различать по добрым или наименее плохим

---

[22] Leibniz, *Discours de la Conformité de la Foi avec la Raison*, Paris, 1839, p. 507.

[23] Leibniz, *Essais sur la Bonté de Dieu et la Liberté de l'homme*, Paris, 1839, p. 59.

качествам. Но они плохи неодинаковым образом». Отсюда *мог* быть переход к снисходительной этике греков, но вы правы, Лейбниц им не заинтересовался. Он ставил себе целью «оправдание добра». Эта проблема у него основная; кажется, только о ней он говорит с подлинной страстью, с вдохновением, и уже хотя бы поэтому никому не удается его «развенчать», еслиб даже у кого-либо явилось столь странное желание. Вы могли бы не упоминать о вашей любви к оптимистам, однако, в самом деле его оптимизм не имел пределов. Мысль Гегеля «Всё действительное разумно», имевшая у нас когда-то столь шумный успех (быть может, как некоторые думают, и неправильно понятая), целиком дана у Лейбница: «Бог выбрал лучший из всех возможных миров». Как видите, Вольтер, высмеивавший Лейбница в Панглоссе, цитату привел почти дословно... Думал ли Лейбниц, что «красота» в оправдании не нуждается? Или что она оправдана быть не может? Скорее всего, повторяю, это просто его не очень интересовало. Что же, не интересоваться этим было полное его право, и вы так же мало можете нанести ущерб Платоновской идее ссылкой на него, как ссылкой на участников Лундского конгресса. Он рассматривал воображение, т. е. одну из основ искусства, как cognitio confusa. Вероятно, так же думал и Спиноза. Теорем о красоте у него нет.

Л. — Их нет и ни у кого другого или они неверны. В эстетике есть десятки всевозможных определений красоты, и они большей частью либо тоже ничего не определяют, либо, в лучшем случае, дают определение только одного рода искусства или даже одного направления в нём. Это отчасти объясняется, быть может, тем, что теорией искусства обычно занимались люди, не бывшие в нем *творцами*. Имею в виду не философов ему враждебных — и к ним мы собственно должны отнести самого творца или главного творца идеи «красоты-добра»: Платон, по крайней мере в «Государстве», учинил искусству

погром. Кстати, Бенедето Кроче видит, кажется, смягчающее обстоятельство в том, что погром был «грандиозный»: «la seule vraiment grandiose négation de l'art»[24]. Не говорю и о великих умах, которые к искусству были совершенно равнодушны. Не думаете ли вы, что для занятия *теорией* искусства всё-таки нужно было бы обладать хоть некоторой способностью к творчеству в нем? Баумгартен, определивший слово «эстетика», как «низшую гносеологию», интересовался философией, теологией, правом, но к искусству никакого отношения не имел. Он напоминал Чеховского профессора Серебрякова, который всю жизнь занимался искусством, ничего не понимая в искусстве. Но вспомните и людей гораздо крупнее, чем Баумгартен. Страницы, посвященные искусству Шопенгауером, конечно, в его книге слабейшие. Он впрочем сам говорит, что искусство относится лишь к праздничным дням, а не к будням жизни. Художник, живущий (в материальном отношении) «милостью муз», т. е. своим талантом, подобен, по его мнению, проститутке, продающей свою красоту. Отсюда следовал вывод, что каждый художник должен иметь еще и другое, настоящее занятие. Разумеется, этого ценного предписания он не относил к философам. Правда, он был состоятельным человеком, и вдобавок, его книги, в течение почти всей его жизни, никакой коммерческой ценности не имели. Он считал оперу униженьем музыки, а балет позором искусства[25]. Гегель был тут во всяком случае много снисходительнее: он считал искусство одним из трех способов раскрытия истины, но низшим из трех: на первом философия, на втором религия. Некоторые же виды откровения истины, по его мнению, искусству вообще недоступ-

---

[24] «Единственное истинно грандиозное отрицание искусства». — Benedetto Croce, *L'Esthétique,* Paris, 1904, p. 154.

[25] Arthur Schopenhauer, *Parerga und Paralipomena,* Leipzig, vol. II, § 21, p. 454.

ны... Я знаю, что эта часть нашей нынешней беседы особенно рискует стать беспорядочной и фрагментарной: эстетика самая темная из наук, и, быть может, именно потому темная, что создавалась только учеными. Другая сторона не высказалась. Великие художники, к сожалению, почти не занимались осмысливанием того, чему отдали всю жизнь. Или, по крайней мере, не писали об этом.

А. — Некоторые писали: Микель Анджело, Толстой.

Л. — Достаточно известно, что Микель-Анджело говорил преимущественно об особенностях разных сортов мрамора, о каменоломнях, о технической стороне своего дела, а о «красоте», об ее теории очень мало. По суждению же Толстого, авторы противоречивых и нелепых эстетических теорий нарочно эти теории выдумывают для того, чтобы привилегированные классы могли с уверенностью восхищаться глупейшими и бездарнейшими художественными произведеньями. Сам он видел сущность искусства в способности *заражать* людей. Собственно это не так уж расходилось с «состоянием восхищения» в трехтомной эстетике Гегеля. И самые условия, которые ставил Гегель[26] художественному произведению для того, чтобы оно превратилось в «истинно поэтическое создание искусства», могли бы без большой натяжки, хотя и неохотно, быть приняты Толстым, — все эти «gehaltsreich», «einheitsvoll», «mit der Wirklichkeit erfüllt». Только они не очень много и означали. Слова же «заражение» Гегель не употребляет. Но ведь это не определение искусства, а лишь один из его признаков, вдобавок нисколько не обязательный: «Education Sentimentale» или «A la recherche du temps perdu» никого ничем «заразить» не могут, что́ нисколько не мешает им быть замечательными художественными произведеньями. Но если бы Тол-

---

[26] Hegel, *Vorlesungen ueber die Aesthetik*, Werke, Berlin, 1842, v. X, p. 35

стовское определенье и было верным, то оно не могло бы вам пригодиться для разъяснения идеи Kalos, так как Толстой говорит не о «красоте» и выводит искусство не из нее. И уж совершенно бесполезно обращаться к современным трудам по эстетике, — там хаос еще больший. Каррит делит определения красоты на разряды: определения гедонистически-моральные (Платон, Рескин, Толстой, — Толстой как-то оказался у него и гедонистом!), реалистически-типичные (Аристотель и тоже Платон), интеллектуалистические (Кант, Кольридж), эмоциональные (Шопенгауер, Ницше), экспрессионистские (Бенедетто Кроче). И все эти ученые слова означают именно то, что нет никакого удовлетворительного определения. Вывод автора: «Всякая красота есть выражение того, что может быть названо взволнованностью»[27]. Не стоило, по моему, и огород городить. Почти столь же ценный вывод у Сантайяны: «Красота есть удовольствие, рассматриваемое, как качество вещи»[28]! По-моему «честнее» оказался Алэн, философ еще недостаточно оцененный. Он прямо говорит: «Я как на стену наткнулся на красоту» («Je me heurtai à la beauté comme à un mur»[29]). К самому интересному из всего написанного о красоте принадлежат страницы Франка. Но он справедливо считает красоту «нейтральной»: «Красота как таковая, нейтральна, в каком-то смысле равнодушна к добру и злу»[30]. Сходный смысл, вероятно, имеют Тютчевские стихи: «Люблю сей Божий гнев! Люблю сие незримо — Во всём разлитое таинственное зло»... Нет, на идее Kalos никакой философии не построишь.

А. — Я и говорил вам, что я понятие «красота-добро» строю на системе произвольно выбранных аксиом.

---

[27] E. F. Carritt, *The Theory of Beauty*, London, 1914, p. 200.
[28] George Santayana, *The Sense of Beauty*, New York, 1896, p. 49.
[29] Alain, *Préliminaire à l'esthétique*, Paris, 1939, p. 5.
[30] С. Л. Франк, *Непостижимое*, Париж, 1939, стр. 217.

Поэтому ваши возражения бьют мимо цели. Не буду повторять того, что я говорил о геометрии Гильберта.

Л. — Позвольте в таком случае и тут уточнить или, если хотите, «заострить» вашу мысль. Очевидно, в области «красоты» вы исходите из такой системы аксиом, при которой, скажем, «Макбет», «Юлий Цезарь», «Война и Мир», «Ночной Дозор», «Девятая Симфония» (я знаю ваши вкусы в литературе, в живописи, в музыке) признаются великими произведениями искусства. Вы, вероятно, добавляете к ним, например, несколько знаменитых пейзажей, чтобы было и das Natur-Schöne, еще десять или двадцать художественных произведений, называете это произвольной системой аксиом и строите философский взгляд на таком petitio principii! Добавлю к этому, что и основания такой системы не постоянны и меняются с течением времени: даже эпопея «Войны и Мира» в России была признана не сразу и вначале подверглась грубейшим и глупейшим нападкам, — за ней отрицались многими «критиками» и художественные достоинства; а во Франции ее первое издание (которого было продано *шестнадцать* экземпляров) не имело ни малейшего успеха (оставим в стороне исключение: восторженный отзыв Флобера в письме к Тургеневу). В год появления «Девятой Симфонии» музыкальные критики более или менее сошлись на том, что Бетховен помешался. Рембрандт в конце жизни совершенно вышел из моды, впал в нищету, должен был служить натурщиком для молодых художников, которые верно потешались над его прошлым творчеством, как, скажем, теперь французские художники и критики потешаются над каким-нибудь Леоном Бонна, — «подумать только, что нашим отцам и дедам *это* нравилось!».

А. — Действительно вы мою мысль «заострили», но против этого я не очень возражаю, хотя в указанном вами petitio principii неповинен.

Л. — Очевидно, вы применяете ваш метод «выборных аксиом» и ко второму понятию вашей двучленной формулы: к добру?

А. — Не я применяю: это делает жизнь. То, что Спиноза говорит о «микроскопе», естественно относится и к этике. И дело тут, разумеется, не только в разнице эпох. Гитлер и Рузвельт были современниками, но если бы они встретились и поговорили друг с другом «откровенно», то понадобились бы услуги не только переводчика-лингвиста, но и, так сказать, переводчика от морали. Я не виноват в том, что, например, заповеди Моисея так же «недоказуемы», как учение Ницше о сверхчеловеке или как нигилизм Штирнера. Но человек может и обязан произвести выбор: он сам устанавливает для себя аксиомы. То, что я назвал «Ульмской ночью», то, что я называю «картезианским состоянием ума», уже предполагает выбор в аксиоматике. Я не мог бы *доказать*, что Декарт «благороднее» Франца Бема. Однако самое сопоставление этих двух имен я тут произвожу, преодолевая чувство брезгливости. Вполне возможно было основать «стройное мировоззрение» на Гитлеровских аксиомах. Еще легче основать его на аксиомах Ленинских (которых я, при всем своем антибольшевизме, с гитлеровскими не сравниваю). И уж, конечно, тут ссылаться на среднего человека было бы и бесполезно, и очень тягостно. За Гитлером пошли десятки миллионов представителей породы, так смело названной homo sapiens. Еслиб Гитлер победил, десятки миллионов, разумеется, превратились бы в сотни. Аксиомы Ленина уже приняты сотнями миллионов людей, — притом в немалой части и по нашу сторону железного занавеса, т. е. приняты свободно. Сотни миллионов людей стоят и за аксиомы демократического мира. Каков процент искренности у этих миллионов разных подразделений homo sapiens, — никому неизвестно. Процент жертвенности тоже неизвестен и, должно быть,

очень незначителен. «On n'est martyr que des choses dont on n'est pas bien sûr»[31], — говорил Ренан. А здесь что-то слишком многие уверены в своей правоте. Как и надолго ли разрешит история этот спор, грозящий перейти в драку, — в самую кровавую драку в истории, — никто сказать не может. Но разрешит его не *логика*. Человечество и тут одинаково легко обойдется и без «Критики Чистого Разума», и без «Критики практического разума», и без «Критики способности суждения». *Доказано* не будет ничего. И это, разумеется, нисколько не мешает каждому из нас выбрать и принять те или другие аксиомы.

Л. — Допустим на мгновенье, что можно исходить из произвольной аксиоматики в установлении понятий добра и красоты. Но если они неразделимы, то вы вынуждены отвергнуть искусство, никакого «добра» в себе не заключающее. Вы не можете ведь отрицать, что есть и такое. Для того, чтобы это признавать, не нужно думать с Андре Жидом, что «из добрых чувств создается плохая литература». Или же вы считаете, что вечно только «доброе», «здоровое» искусство? Берне говорил: «Я слишком здоров: не могу писать». Обе эти «аксиомы» — «вечно только здоровое искусство» и «вечно только больное искусство» — одинаково нелепы. Один поэт создает шедевры, хотя он «болен», как Бодлэр; другой их создает, хотя он «здоров», как Пушкин. Но я готов допустить, что, если не «здоровое», то «доброе» искусство имеет больше шансов, чем «злое», на относительную *вечность*, т. е. на прочную любовь пяти-шести поколений. У самых же великих писателей, у таких, которые могут рассчитывать на любовь не пяти-шести, а десяти или двадцати поколений, вы и не скажете, «добры» ли они или «злы». У Толстого есть много очень жестоких страниц. «Записки из Подполья» — одно из самых замечательных про-

[31] «Люди становятся мучениками лишь во имя того, в чём они не вполне уверены».

изведений Достоевского. И что же вы тогда сказали бы о Прусте и о Сартре!

А. — Я сказал бы прежде всего, что самое сопоставление этих двух имен совершенно недопустимо в художественном отношении. Пруст был гений, открывший в литературе четвертое измерение, а Сартр...

Л. — Уж в этой области вы никак не установите сколько-нибудь твердой табели о рангах, Клодель сказал, как вы знаете: «Этот торжественный осел Гете». Задолго до него тот же Берне говорил, что Гете «ничтожество», «трус», «льстивый раб и дилетант». Киркегаард довольствовался тем, что называл Гете «un adroit défenseur de fadaises»[32].

А. — Всё это Гете и не очень повредило, и не понизило его места в литературной табели о рангах... Я, разумеется, понимаю, почему вы упомянули о Сартре. К сожалению, теперь вообще трудно вести философский спор, не натыкаясь на экзистенциализм, — или, по крайней мере, трудно было еще недавно: как будто эта малоинтересная и не слишком новая[33] доктрина уже начинает выходить из моды, но...

Л. — Я упомянул об экзистенциалистах потому, что их учение имеет прямое отношение к нашей беседе. Вы называете его малоинтересным. Не могу с этим согласиться. У Киркегаарда есть множество тончайших мыслей, замечательна и сама идея l'angoisse, l'angoisse devant le bien ou l'angoisse devant le mal. Еще сильнее страницы

---

[32] Soeren Kierkehaard, *Journal,* traduit par K. Ferlov et J. Gateau, Paris, s. d., p. 207.

[33] Это косвенно признает сам Ясперс, называя экзистенциализм «eine Gestalt der einen uralten Philosophie» (Karl Jaspers, *Existenzphilosophie,* Berlin-Leipzig, 1938, p. 1.

об Existenzerhellung у Ясперса[34]. — на мой взгляд самого замечательного из экзистенциалистов, — в частности его страницы о смерти. Не думал я, что после Платона и Шопенгауера можно о смерти найти новое и ценное у профессора. Очень хороши и страницы Габриеля Марселя о «chacun de nous est immergé» и о «succession de tirages au sort». Я вменяю в вину экзистенциализму, что он совместим с чем угодно: у Марселя с католицизмом, у Алькие с марксизмом, у Лефевра с коммунизмом, у Сартра с его нынешним полукоммунизмом, а у Хейдеггера (в недавнем прошлом) с национал-социализмом, — как вы знаете, этот знаменитый мыслитель, через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, произнес памятную речь о Шлагетере. И поклонники могли сказать в его защиту лишь то, что он «был соблазнен, как ребенок, самыми внешними проявлениями гитлеровского энтузиазма», он действовал «больше по слабости», его юные сыновья были национал-социалистами и оказывали на него влияние, и т. д.[35]. Хороши смягчающие обстоятельства: глава большого философского течения, поддающийся чарам нюрнбергских парадов, подпадающий под влияние мальчишек! И, хотя Сартр и теоретики вообще за это ответственности не несут, не приходится особенно удивляться молодежи из Кафе де Флор и Кафе Прокоп: уж если l'existence précède l'essence (какое открытие!), то отчего же не заниматься весьма веселыми ночными похожденьями?

А. — Вы, конечно, вполне правы и в негодовании по поводу, скажем, действий Хейдеггера, и в том, что учение, которое легко совместить с самыми разными взгля-

---

[34] Karl Jaspers, *Philosophie,* Berlin, 1932, v. II, особенно стр. 220-229.

[35] Alfred de Towarnicki, *Visite à Martin Heidegger* и Maurice Gandillac, *Entretiens avec Martin Heidegger,* Les Temps Modernes, 1946.

дами, с самым разным отношением к жизни, невольно вызывает к себе некоторую настороженность. Позвольте всё же вам сказать, что это не имеет отношения к нашему *нынешнему* разговору, — отступления в сторону позволительны и по-моему, желательны, но злоупотреблять их числом не следует. В связи с Kalos нас может тут интересовать лишь Сартр, как романист и драматург. Я не отрицаю, что много ценных страниц есть и в его неудобоваримых философских трудах, даже в «L'Etre et le Néant» с разными «permanences de la quiddité», «circuits de l'ipséité», с «les néants qui ne se néantissent pas, mais sont néantinisés», — когда французский писатель начинает писать, как немецкий приват-доцент, он становится невыносим. К предмету нынешнего нашего разговора может иметь отношение лишь Сартр-романист. Мы говорили о картезианском состоянии ума, упоминали о Лейбницевском. Что ж (при всей неравности имен) можно, пожалуй, говорить и о Сартровском. Его хроническое состояние ума может быть выражено заглавием его лучшей в художественном отношении книги, «La Nausée». Он описывает «тошноту» раз сто, сделал из нее «состояние ума», — и, с большим вкусом, придал ему картезианскую форму: «Так это тошнота? Эта ослепительная очевидность? Долго же я ломал себе голову и писал об этом! Теперь я знаю: я существую, мир существует»... Выразимся вульгарно: Сартр дал нам cogito рвоты. Не возражаю. Он (и Селин), как купец Бородкин у Островского, «никому уважать не намерены»... Если Хейдеггера «die Philosophie des lebendigen Geistes, der tatvollen Liebe, der verehrenden Gottinnigkeit»[36] странным образом привела к Гитлеру, то Сартра экзистенциализм привел с одной стороны к психологии «La Nausée», к философии «Les Mou-

---

[36] Martin Heidegger, *Die Kategorien und Bedeutungslehre des Düns Scotus*. Tübingen, 1916, p. 79.

ches» с ее хором Эринний[37], очень напоминающим стишки в «философских драмах» Луначарского, к бульварным театральным пьесам и фильмам в чистейшем Холливудском стиле — с револьверами, винтовками и бомбами, да еще — к мегаломании. В конце одного из своих художественных произведений он говорит: «Уже ему предлагали услуги испытанные системы морали: был разочарованный эпикуреизм, была резиньяция, был дух серьезного, был стоицизм, всё, что помогает наслаждаться, от минуты к минуте, в качестве знатока, неудачной жизнью». Другая еще более ироническая страница о «гуманисте», — радикальном, католическом, социалистическом, всё равно каком, — не стоит ее приводить. Смысл ее таков, что гуманисты этих течений (т. е. поясним от себя: Спиноза, Мишле, Ламеннэ, Жорес) — старое дурачье, — об их учениях и говорить без издевательства нельзя. Очевидно, только экзистенциализм (в его Сартровском варианте) есть дело серьезное. У читателя невольно возникает вопрос: «А кто же такой этот господин Сартр!». Забавно то, что вскоре он сам стал «гуманистом» и даже, ничего об этом не зная, гуманистом очень старого иноземного толка... Конечно, я думаю, вы вспомнили о Сартре потому, что его литература представляет собой прямое отрицание идеи Красоты-Добра. Согласитесь однако, что, если учение Платона находится в прямом противоречии с художественным творчеством мосье Сартра, то тем хуже для мосье Сартра, а не для Платона. В связи с этим мы можем уделить особую беседу классической рус-

---

[37] "Bzz, bzz, bzz, bzz. Heiah! Heiah! Heiahah! Bzz, bzz, bzz, bzz!" — (J.-P. Sarte, *Les Mouches,* Paris, 1943, p. 116). У Луначарского никак не хуже. Например, в мистерии «Иван в раю» «хор богоборцев во главе с Каином и Прометеем», начинающийся так: «Ад-дай-дай — У-у-у — Грр-бх-тайдзах — Авай, авай, пхоф-бх». Или же песня «девомальчика» в его же «Василисе Премудрой»: «Наннау-унуяя-наннау-у-у — Миньэта-ай-ай — Эй-ай — Льюлью», и т. д.

ской литературе: она одна из лучших иллюстраций к идее, о которой мы говорим.

Л. — Боюсь только, что вы русскую классическую литературу будете *выводить* из «красоты-добра», а «красоту-добро» — из русской классической литературы, называя это иллюстрацией.

А. — Сейчас упомяну лишь об одной особенности *настоящего* русского искусства: до большевиков цинизм был ему чужд, и это важно не только с морально-политической точки зрения, но и с точки зрения эстетической. Циник в литературе неизбежно и очень скоро находит победоносного соперника в цинике гораздо более бойком. Мало того, писателям-циникам почему-то всегда приходит желание повыситься в чине и заняться философией, богоборчеством, или хотя бы, например, коммунистической пропагандой. Эренбург стал коммунистом. Были такие же Эренбурги у фашистов. Можно поступить и еще проще, — зачем пропаганда? Генри Миллер, например, долго изумлял мир порнографией или тем, что писал всеми буквами непристойные слова. Казалось бы, продолжать и продолжать? Нет, ему понадобился «вызов Господу Богу», «un coup de pied dans le cul à Dieu», — предпочитаю уж цитировать по французскому переводу, да и то ограничусь одной строчкой из многих столь же умных и изящных. Как все они были хороши *до* своего повышения в чине!.. В *настоящей* русской литературе ничего сходного никогда не было и нет. Она не «говорила красиво» и в ту далекую пору, когда это было на западе чрезвычайно принято. Чехов сказал: «Ну, какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить»[38]. Еще гораздо большая заслуга настоящей

---

[38] *Чехов в воспоминаниях современников*, Москва, 1952 год, стр. 476.

русской литературы в том, что не удивляла она людей и грязью, — хотя грязь самое легкое из всех «художественных достижений». Большие русские писатели не писали ни как Сартр, ни как Генри Миллер. Они к своему делу и относились совершенно иначе: прицел был более дальний. Толстой разочаровался в искусстве за много лет до «Воскресения». Но... Как вы помните, этот роман печатался в «Ниве», проходя, кстати сказать, через двойную цензуру: и государственную, и цензуру редакции, очень боявшейся повредить репутации «журнала для семейного чтения». Издатель вдобавок очень торопил автора и — правда, весьма почтительно — просил его ускорить присылку очередных частей рукописи. Толстой, забыв о своем «отрицании искусства», ответил: «Пословица говорит: что скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а я говорю: скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается. И это так и должно быть, потому что дела самые большие разрушаются, а *сказки, если они хороши, живут очень долго*»[39]. Это вам не Миллер и не Сартр.

Л. — Дело не в них одних, а в огромной части новейшей западной литературы (другой же в настоящее время нет: о советской не стоит говорить, она теперь общепризнанное пустое место). Да и вся западная литература, хотим ли мы того или нет, к идеям «красоты-добра» и к Толстому не вернется: у него для нее, при всём его тончайшем до незаметности юморе, недостаточно едкости и иронии. Кажется «Плоды Просвещения» — единственное чисто-ироническое произведение Толстого и во всяком случае единственное с ироническим заглавием. Нет у него ни обнаженной мизантропии, ни беспросветного пессимизма. А наша эпоха именно к этому располагает, как, впрочем, и некоторые прежние. Напомню вам страницу из «Философии Искусства» Тэна: «Зло, принесенное варварами, неописуемо: были истреблены народы,

[39] *Звенья,* том IV, стр. 77.

разрушены памятники, опустошены поля, сожжены города, уничтожены, унижены, забыты промышленность, искусства, науки, везде царили страх, невежество, грубость... Земля не возделывалась, съестных припасов нехватало. В 11-ом веке, на семьдесят лет насчитывалось сорок лет голода. Монах Рауль Глабер сообщает, что стало привычным есть человеческое мясо; один мясник был сожжен живьем за то, что выставил его в своей лавке. В общей грязи и нищете были забыты самые обыкновенные правила гигиены, распространились полновластно чума, проказа, эпидемии... Легко угадать чувства, вызванные подобным положением в душах людей. Сначала были подавленность, отвращение от жизни, черная меланхолия. Один писатель того времени говорит: «Мир — бездна злобы и бесстыдства»[40]... Нынешние пессимисты всё же несколько преувеличивают, говоря, что никогда в истории не было времени подобного нашему. Я не пессимист, но думаю, что долго, очень долго, не будет в мире той отстоявшейся, прочной, не-катастрофической или «акатастрофической» обстановки, которая необходима для торжества в искусстве принципа «красоты-добра».

А. — Вы, очевидно, забыли, что Тэн написал эту свою картину в объяснение происхождения готики! На смену подавленности, отвращения и меланхолии пришла религиозная экзальтация, — и появилось готическое искусство. Иными словами, появилось одно из замечательнейших выражений красоты-добра в истории. Со всем тем, я отказываюсь что бы то ни было предсказывать и в искусстве. Большой художник подписывал свои картины: «Courbet sans religion et sans idéal» в более или менее «акатастрофическое» время. Возможно, что искусство частью и к этому приблизится, однако никак не в циничном варианте.

---

[40] Taine, *Philosophie de l'art*, Paris, 1904, vol. I, pp. 76-78.

Л. — Итак, вы в основу своей системы (в кавычках или без кавычек) кладете три идеи: случай, которому дали весьма странное определение, «выборную аксиоматику», которая по меньшей мере весьма спорна, и понятие красоты-добра, которое вы определить отказываетесь и готовы лишь пояснить иллюстрацией. Не могу сказать, чтобы это меня удовлетворяло. Сегодня же, если я вас правильно понял, вы еще весьма увеличили роль «kalos», отметив, что Декарт и в своих чисто-научных трудах исходил отчасти из *эстетического* начала. Я думал, что он, как все ученые, исходил из опыта и наблюдения.

А. — Разумеется. Но когда оказывался возможным выбор между двумя научными теориями, одинаково пригодными для группировки и объяснения фактов (а такой выбор возможен почти всегда), Декарт отдавал предпочтение той, которая ему казалась более *красивой*. В этом, конечно, сказывался именно недостаток веры в вечность аксиом и в существование *абсолютной* научной истины. Сопоставляя космологии Птоломея, Тихо де Браге, Коперника и свою собственную, он не опровергает три первые (между собой не связанные): он говорит, что они приблизительно стоят друг друга; все они не истины, а только гипотезы. Но гипотеза Коперника, по его мнению, проще и яснее, а потому лучше гипотез Птоломея и Тихо; что же касается его собственной, то она имеет еще большее преимущество *изящества*. При этом он совершенно определенно указывает, что дело идет не об истинном существе явления, а лишь об его гипотетическом выражении[41]. Я себе не представляю более замечательного определения целей, задач и методов науки:

---

[41] Descartes, *Principia Philosophiae*, III, XVI, XIX. Oeuvres publiés par Ch. Adam et Paul Tannery, Paris, 1905, vol. VII, pp. 85-6. — Более подробно излагается мысль Декарта в работе автора настоящей книги "Actinochimie", Paris, 1936, pp. 59 и след.

в *этих* страницах Декарт заглянул вперед на два столетия, и тут, быть может, тоже один из заветов «Ульмской ночи». Лейбницу, например, или Спинозе такая мысль была бы наверное чужда. Добавлю, что, поскольку дело идет о *красоте,* как об одном из критериев ценности научных теорий, Декарт имел и предшественников. У Коперника в применении к научным положениям беспрестанно встречаются такие слова, как «nobilis», «divinus», «mirabilissimus»[42]. Галилей еще чаще говорит о «specolazione tanto gentile», о «bella meditazione», о «veramente angelica dottrina»[43]. В его диалоге Сагредо говорит Сальвиати об одной доктрине, что ему казалось святотатством посягнуть на столь *прекрасное* научное строение: «Lacerar si bella struttura»[44]. Декарт тут пошел лишь дальше, чем они. Современным физикам (в широком смысле слова) сочетание истины с красотой может показаться ересью; но и у них — уж совершенно бессознательно — то и дело проскальзывают неожиданно эстетические идеи и оценки. Знаменитые опыты Вильсона довольно единодушно прозваны «самыми *красивыми* опытами в истории науки», и, может быть, эта их сторона даже более важна, чем их чисто-научное значение. Научное творчество в *корнях* имеет немало общего с творчеством художественным.

Л. — Из отдельных и случайных замечаний Декарта, Коперника, Галилея нельзя сделать тех выводов, которые делаете вы. Вдобавок, мы весьма часто видим больших ученых, ничего не понимающих в искусстве, и больших художников, не имеющих ни малейшего представления о науке.

---

[42] Nicholai Copernici Torunensis, *De revolutionibus Orbius Coelestium,* libri six. Варшава, 1854, в частности главы VIII и X.

[43] Galileo Galilei, *Intorno a due nuove scienze,* Edizione Nationale, 1898, vol. VIII, pp. 58, 75.

[44] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,* vol. VII, p. 489.

А. — Это верно. Тем не менее некоторые свойства, как, например, наблюдательность и воображение, одинаково необходимы и тем, и другим. По-моему, людям науки и искусства надо было бы раза два или три в жизни менять специальность. Это было бы весьма полезно и им самим, и тем, для кого они работают.

Л. — Теперь человеческой жизни едва хватает для изучения даже *одной* специальности!

А. — Не будем ничего преувеличивать, — особенно в угоду человеческой лени и косности. За исключением медицины, нет в настоящее время ни одной науки, которой человек средних способностей не мог бы в два или три года овладеть настолько, чтобы иметь возможность и право плодотворно в ней работать...

Л. — Как же вы связываете идею добра с идеей случая? Вы вскользь сказали о возможности «сознательной борьбы со случаем, но не остановились на внутренней противоречивости этого понятия.

А. — В чём же она? Вы, очевидно, разумеете под случаем один *несчастный* случай!.. Если человечество может со случаем бороться, то этим оно обязано случаю же. Так люди всегда и делали, — правда, бессознательно.

Л. — Едва ли человек, исходящий из философии случая, может и делить его на счастливый и несчастный. Как вы определите, например, расщепление атома? В настоящее время специалисты склонны думать, что запасов угля на земле хватит всего на двадцать пять лет, а запасов нефти лет на пятьдесят. А так как расщепление атома несомненно даст нам новый вид энергии в теоретически-безграничном количестве, то его надо считать «случайностью» весьма счастливой; что делали бы без нее люди конца нашего столетия? С другой же стороны, та же случайность привела к созданию атомных и водородных

бомб. Есть немало оснований предполагать, что эта сторона открытия будет иметь в истории характер прямо противоположный. И, конечно, тут незачем говорить, что ученые не ответственны за применение, которое дается их открытиям. Конечно, ученым очень удобен такой взгляд, — они нисколько, ничуть, ни в какой мере не ответственны, во всём виноваты нехорошие государственные люди. На самом деле, ученые отлично знают, что́ делают, знают, для чего послужат их изобретения, знают, от кого получают жалованья и награды. Но еслиб они ответственны и не были, то это ровно ничего не меняло бы... Правда, при некоторой доле «юмора висельников» или при некотором «панглоссизме», можно было бы сказать, что атомные бомбы очень уменьшат число потребителей энергии в мире и, следовательно, компенсируют истощение нефти и угля.

А. — Обойдемся без панглоссизма и без юмора висельников... Жизнь становится осмысленной именно в виду возможности борьбы со случаем, с его несчастными формами. О *знаке* же его, конечно, почти всегда можно спорить, тут вы правы: он совершенно ясен сравнительно редко. С точки зрения лютеранина, реформация была благом, с точки зрения католика — злом.

Л. — Таким образом, борьба со случаем основана на случае же! Если в философии действует нечто вроде закона Ньютона, — действие равно противодействию, — то не возвращаемся ли мы косвенно к общепринятым концепциям?

А. — Вы не забыли о древнем различии между судьбой неотвратимой или moira и судьбой отвратимой или tyche. Наше право и наш долг всячески увеличивать вторую за счет первой в направлении, которое нам представляется желательным, т. е. отвечающим принципам «добра-красоты». Прогресс и заключается в борьбе с формами случая, им не отвечающими.

Л. — Это по меньшей мере неожиданно. Почему борьбой со случаем, если таковая, тоже неожиданно, оказывается возможной, будет именно то, что соответствует идеям «добра-красоты»?

А. — Как почему? Потому, что такова должна быть, и, вероятно, будет сознательная воля человечества. В той мере, в какой бороться со случаем возможно, — бороться надо, разумеется, с его *несчастными* видами. Его же *счастливые* виды тут всё-таки открывают перед нами возможности, хотя бы и не очень значительные. Я никак не уверен, но немного надеюсь, что человечество на этом пути будет отметать всё противоречащее идеям, о которых мы говорим. Оставим пока в стороне политику нынешних судьбоносных дней. В этом же нашем разговоре я хотел бы пояснить только одним примером возможность борьбы со случаем вне политических дел. Мы подробно обсуждали роль случая в истории. Немало следовало бы сказать об его роли в науке. Сколько великих открытий было сделано именно благодаря счастливому случаю, — можно было бы вспомнить и некоторые из открытий Фарадея, открытия Беккереля, Рентгена, Флеминга. И они были, по сознательной человеческой воле, обращены на борьбу со случаем. Человек в среднем живет столько-то лет в результате бесчисленных случайностей многотысячелетнего биологического процесса на земле. Но теперь в цивилизованных и богатых странах продолжительность жизни удалось продлить: в Соединенных Штатах человек живет много дольше, чем в Индии.

Л. — Вследствие уменьшения *детской* смертности.

А. — Не только вследствие этого. Вакцины, пенисиллин, кортизон, террамисин играют в настоящее время не меньшую роль, чем антидифтеритная сыворотка, и будут играть еще большую. С дифтеритом покончено, но скоро будет покончено и с желтой лихорадкой, благодаря открытию Тейлера. Появление проказы на земле, когда

бы оно ни произошло, хотя бы зародыши были занесены к нам откуда-либо с Млечного пути, было результатом несчастного случая. Но то, что сульфотрон теперь излечивает эту болезнь, то, что в больнице в Пондоланде в 1952 году было излечено 74 процента прокаженных, это результат счастливого случая, образец его блестящего и самоотверженного использования учеными врачами. Надеюсь, вы не будете отрицать, что это пример и Красоты, и Добра? Я люблю науку, вероятно, много больше, чем ее любит громадное большинство людей, требующих от нее невозможного: вечных, неоспоримых, непреложных аксиом и законов. По-моему, теперь в практическом применении точных наук и заключается одна из высших форм «калоскагатии». Это применение мало зависит от государственного и хозяйственного строя. Оно с большим успехом осуществлялось во всех странах, включая Гитлеровскую Германию и Сталинскую Россию. Тем более оно успешно в свободных странах. Вспомните осушение Зюидерзе, настолько увеличившее благосостояние голландского народа, вдобавок осуществленное без саморекламы, без тысячной доли шума, который устраивается большевиками по поводу всякого их Днепростроя! Это взятые наудачу примеры того, что *уже* сделано. Ну, а то, что может быть осуществлено в недалеком будущем — да и будет осуществлено, если не произойдет мировой катастрофы? Известны ли вам проекты доктора Джорджа Кимбля, главы Американского Географического Общества? Орошение земель Среднего Востока, искусственное обогревание Гольфстрема, использование необозримой потенциальной энергии реки Конго, и т. д. Не может быть сомнения в том, что всё это осуществимо, что такие гигантские предприятия переделали бы жизнь на земле и что стоили бы они несравненно меньше денег, чем теперь отпускается на вооружения в один год, чем стоила бы новая мировая война в одну неделю. А борьба за удлинение человеческой жизни? В Америке государ-

ство, университеты, промышленные фирмы оплачивают тысячи людей, изучающих рак и способы борьбы с ним. Еслиб на это дело и на дела сходные тратились не десятки миллионов, а десятки миллиардов, рак, вероятно, уже был бы или скоро стал бы тоже болезнью побежденной. Как же это назвать иначе, как сознательной борьбой со случаем? Вы правильно скажете, что это только паллиативы, вносящие незначительные статистические изменения в продолжительность человеческой жизни. Уверены ли вы в том, что не может быть «панацеи», нового «элексира жизни», основанного не на гениальных и тщетных мечтаниях великих алхимиков (т. е. тех же химиков — средневековья) и уж никак не на бреднях полоумных невежд или хитреньких шарлатанов более позднего времени? В медицинском смысле жизнь всё-таки сводится к совокупности многочисленных химических реакций организма. Наука давно знает много катализаторов, т. е. веществ, ускоряющих химические реакции. Я не сомневаюсь[45], что скоро будут найдены катализаторы отрицательные, то есть замедлители. И с большой вероятностью можно предположить, что со временем они будут применены к химическим реакциям, составляющим жизнь и, следовательно, и смерть. — «Жизнь это смерть», — говорил знаменитый физиолог. То, что американское правительство и промышленные фирмы оплачивают труд ученых в лабораториях, должно признавать, одной из форм борьбы со случаем, хотя ни президент Соединенных Штатов, ни председатель правления фирмы Дюпон де Немур такого наименования своей деятельности не дают... Не хочу забегать вперед и начинать сегодня разговор о русских идеях. Скажу только, что русской по преимуществу я склонен считать и идею удлинения жизни. Не говорю о Николае Федорове, — но в области точной науки главные

---

[45] См. работу автора этой книги: “De la possibilité des idées nouvelles en chimie.”, Paris, 1950 p.

«удлинители жизни» были русские: Мечников, Богомолец, Воронов, новая школа терапевтики кислорода, производящая теперь опыты со стариками на Украине.

Л. — Надеюсь, вы хоть не верите, что идея «борьбы со случаем» может подействовать на воображение людей, захватить и воодушевить их. Сегодня вы какой-то случай победили, а завтра другой случай погубит вас! За этакие «слоганы» и в торговле никто не дал бы ни гроша. Человек этим руководиться не может.

А. — Мы и не изобретаем «слоганы» для торговцев. «Не может», — говорите вы? Отлично может, но руководится весьма редко. «Картезианское состояние ума» представляется мне и для наших дней — особенно для наших дней — одним из самых главных воплощений идеи «красоты-добра». В него, как часть в целое, входят перечисленные мною формы борьбы со случаем; вы к ним легко добавите и некоторые другие... Несомненно есть моральные системы, более возвышенные, чем Декартовская. Но она перед ними имеет то преимущество, что вполне осуществима целиком, — вот ведь вы в частном вопросе, в споре с Поллом, отвергли сократовскую по ее неосуществимости.

Л. — Если на Лундском конгрессе ничего лучшего и не было предложено (в чём я несколько сомневаюсь), то это ровно ничего не значит. Есть много лучшее, тоже древнее... Хейдеггер в одной из своих ранних работ называет метафизику «оптикой философии». Мне хотелось бы понять оптику вашего миропонимания. Я его считаю метафизическим, — в том смысле, в котором Гильберт говорил о возможности создания «метаматематики». Введите еще эстетическую иерархию аксиом, и я назову ваш образ мыслей «метаэстетическим».

А. — Я обещаю не возражать и против такого — очевидно, обидного — наименования.

V

ДИАЛОГ О РУССКИХ ИДЕЯХ

А. — Мы условились, что будем говорить о русских идеях лишь до начала двадцатого столетия. Тургенев писал когда-то Константину Аксакову: «Всякая система — в хорошем и дурном смысле слова — не русская вещь; всё резкое, определенное разграниченное нам не идет»[1]. Существует и мнение, что настоящие философские системы стали появляться в России только в последние пятьдесят лет. Это мнение высказал профессор о. Зеньковский в своем выдающемся и незаменимом труде, удивительном по учености, по добросовестности, по беспристрастию[2]. Мне его мнение кажется несколько преувеличенным. Как и Бердяев, я не большой любитель «систем», имеющих ответ на всё. Во всяком случае новейшие русские системы в каком-то смысле еще не «отстоялись».

Л. — Вы напрасно так думаете. Многое вполне закончено и стройно в книгах Лосского, Франка, Лапшина и некоторых других новейших русских философов. Быть может, они вам просто меньше известны.

А. — Вполне признаю и это. Лишний довод для того, чтобы сузить рамки нашей нынешней беседы, — вообще ведь произвольные и условные. Всё же вы согласитесь, что самые глубокие русские идеи были высказаны в фи-

---

[1] *Вестник Европы,* январь, 1894, стр. 339.

[2] Проф. В. В. Зеньковский, *История русской философии,* Париж, 1948-1950 гг., том I.

лософии, как и в литературе, *до* начала двадцатого столетия?

Л. — Вполне понимаю, что вы никак не собираетесь предлагать в этом разговоре философию русской культуры или историю русской мысли. Вы меня предупредили, что будете высказывать лишь отдельные замечания. Всё же для ясности спора я хотел бы, чтобы основную вашу мысль или мысли о русской культуре вы формулировали в самом начале беседы.

А. — Я могу это сделать. Разумеется, лишь кратко и в связи с тем, о чём мы говорили прежде. Я утверждаю, что почти всё лучшее в русской культуре всегда служило идее «красоты-добра» (условно называю ее Платоновским принципом). Русские писатели из этого не делали никакой «теории»; они и вообще мало занимались теорией своего творчества. Впрочем, Тургенев в «Гамлете и Дон-Кихоте» пишет как что-то само собой разумеющееся: «Все люди живут — сознательно или бессознательно — в силу своего принципа, своего идеала, т. е. в силу того, что они почитают правом, красотой, добром». Тут уже есть и некоторое преувеличение: едва ли где бы то ни было «все люди» — или хотя бы только люди высокой культуры — так-таки *живут* ради красоты и добра. Но самые замечательные мыслители России (конечно, не одной России) в своем *творчестве* руководились именно добром и красотой. В русском же искусстве эти ценности часто и тесно перекрещивались с идеями судьбы и случая. И я нахожу, что это в сто раз лучше всех «безкрайностей» и «безмерностей», которых в русской культуре, к счастью, почти нет и никогда не было, — или же во всяком случае было не больше, чем на Западе. Выдумка эта почему-то (мне не совсем понятно, почему именно) польстила русскому национальному самолюбию, была на веру принята иностранцами и стала у них общим местом. Другое сходное общее место это «мессианизм», будто бы

свойственный русской культуре. По-моему, в ней мессианизма не очень много, во всяком случае гораздо меньше, чем, например, в культуре польской.

Л. — На это я могу ответить, что ничто сильнее не сбивается на общее место, чем его отрицание.

А. — Под «русской безмерностью» иностранцы теперь (это не всегда так было) разумеют крайние, прямо противоположные и взаимно исключающие мысли, ведущие, разумеется, и к крайним делам в политике, к подлинным потокам крови. Я не говорю, что это выдумали иностранцы. В громадном большинстве случаев обобщения, касающиеся характера каждого народа, точно так же, как оценка высших достижений его духовного творчества, даже табель о рангах в суждениях об его философах и писателях, этим же самым народом и создаются; иностранцы — по крайней мере вначале — принимают всё это на веру; да это и вполне естественно. Русская «бескрайность» выдумана в России. Из сотни возможных цитат приведу одну. «В душе русского народа, — говорит Н. А. Бердяев в своей известной книге, — есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине... Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности»[3]. Бердяев говорит еще, что «развитие России было катастрофическим»[4]. Он даже находит, что русский народ, как более обращенный к бесконечности, не желал «знать распределения по категориям. В России не было резких социальных граней, не было выраженных классов»...

Л. — По-моему, это последнее утверждение не вполне совпадает с предыдущими; кроме того, думаю, что

[3] Николай Бердяев, *Русская идея,* Париж, 1946, стр. 6.
[4] Там же, стр. 7.

социальная грань между богачом-помещиком и крепостными, которых он мог продавать, была достаточно резкой. Но с первыми двумя утверждениями я вполне согласен: действительно русская история катастрофична; верно и то, что «бескрайность» — основное свойство русской души, быть может, в самом деле вытекающее из бесконечности русской земли. С этим и спорить трудно.

А. — Я не спорю с географией, но решительно оспариваю это положение национальной психологии, до которой, впрочем, я вообще не большой охотник, — помню слова Шопенгауэра: «Каждая нация издевается над всеми другими, — и все совершенно правы». Но прежде всего условимся о пределах русской национальной культуры во времени. В одном я готов отчасти — только отчасти — согласиться с Бердяевым. Он считал московский период «самым плохим периодом в русском истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу», писал, что свободолюбивые славянофилы идеализировали его по недоразумению. Гораздо выше он ставил период киевский и особенно петербургский, «в котором наиболее раскрылся творческий гений русского народа». Так же думал П. П. Муратов, писатель во многих отношениях замечательный. И такие же приблизительно мысли высказывал — по крайней мере в частных беседах — Г. П. Федотов, который превосходил Бердяева литературным талантом, да, по-моему, и глубиной и остротой мысли...

Л. — Вы тут вторгаетесь в «табель о рангах», а она, вне государственной службы, повторяю, произвольна. Дело вкуса.

А. — Конечно. Дело вкуса — и дело удачи. Бердяеву в лотерее философской славы достался выигрышный билет, а Федотову не достался: его на Западе не знают. Всё же их мнение несколько преувеличено. К московскому пе-

риоду относятся и настоящие перлы русской мысли. Уж если обсуждать вопрос о «бескрайности», то будем говорить о всех трех периодах.

Л. — О четырех. Период советский для «бескрайности» чрезвычайно характерен. Если мы говорим и о политике, необходимо начать с конца и заглянуть в двадцатое столетие.

А. — Я понимаю. В доказательство «русской бескрайности» иностранцы в последние пятнадцать лет особенно часто ссылаются на московские процессы с признаниями и покаяниями. Что ж, коснемся и этого. Кажется, кто-то уже сказал (или нет?), что искусство и мысль в СССР это Трильби, голосом которой всецело распоряжается кремлевский Свенгали? Распоряжается, без всякого гипнотизма, при помощи довольно простых средств. Советская литература, за редкими исключениями, элементарна до отвращения. Мне говорили совершенно серьезно, будто тут никакого вынужденного притворства нет: советские писатели будто бы *так видят* мир! Всё же мне трудно предположить, что наследники вековой и очень сложной русской культуры (а ведь наследники и они, как мы) видят мир глазами дитяти, — разумеется, коммунистического дитяти. Для суждения же о крайностях русской души события большевистской революции и, в частности, московские процессы никак материала не дают. Да и при чем тут вообще *русская* душа? У самого Ленина *своих* личных идей было немного. Его идеи шли частью от Маркса, частью от Бланки. Да он и изучал философию так, как в свое время немецкие офицеры изучали русский язык: сама по себе она ему была совершенно не нужна, но ее необходимо было изучать для борьбы с врагом. Как же можно считать большевистскую идею русской?

Л. — Я имею в виду не столько идеи, сколько психологию. Мы начали с конца, с «четвертого периода», но уж

если вы упомянули о московских процессах, то позволяю себе думать, что они действительно были *русским* психологическим явлением. Покаяние вообще идея русская, вспомните Раскольникова, Никиту из «Власти Тьмы», Катерину из «Грозы»...

А. — Вспомните также дона Бальтазара в «Le Cloitre» Верхарна. Берусь назвать еще десять примеров.

Л. — Всё же такой психологической мотивировки покаяния я в истории не помню. «Партии нужно, чтобы я был опозорен. Я иду на это: интересы партии выше и неизмеримо важнее моей личной чести». На этом, как вы знаете, отчасти построен прекрасный роман Артура Кестлера «Darkness at Noon», и в нем чувствуется недоумение европейца. Подсудимые Фукье-Тенвилля не каялись.

А. — Кестлер напрасно недоумевает — если недоумевает. Его предположение, как оно вообще ни неправдоподобно, как оно ни противоречит человеческой психологии, еще можно было бы защищать, если бы подобные покаяния приносились лишь «фанатиками» из старой гвардии (в которой, кстати сказать, ни единого «фанатика» не было). Но сходные показания ведь давали и люди, которых честь большевистской партии никак интересовать не могла, давали не большевики и не русские, давали генералы, кардиналы, дельцы. Это дело усовершенствованной техники. Фукье-Тенвилль ее не знал, и Робеспьер, быть может, запретил бы ему применять ее: Жан-Жак Руссо не велел, да и как же насчет века просвещения? А в былые времена, до века просвещения, то же самое удавалось и при технике очень устарелой: в казематах Торквемады почти все во всём признавались.

Л. — Вы косвенно говорите против себя. Большевики первые, по крайней мере в новейшей истории, признали, что «всё позволено». Уж это чисто-русская или чисто-славянская идея.

А. — Да и это идея старая, как мир и нисколько не русская и не славянская. Она встречается у многих западных мыслителей, она есть в «Fais ce que voudras» Раблэ. Если позволите и тут маленькое отступление в сторону, решусь сказать (как это ни страшно), что таковы и некоторые другие откровения Достоевского, — говорю о нём здесь, конечно, только как о мыслителе. В «Бесах» Кирилов говорит: «Если нет Бога, то я Бог», — и об этих его словах у нас чуть не трактаты написаны. Между тем в одном из самых знаменитых своих произведений Декарт, к которому мы так часто возвращаемся, допускает на мгновенье гипотезу: что, если Бога нет? Какой вывод в этом случае надо было бы сделать? Его ответ: в этом случае — я—Бог, «Je suis Dieu».

Л. — Думаю, что сходство или тождество больше словесное. Однако, неужто вы отрицаете, что большевистская революция самое безмерное и самое бескрайнее явление в новейшей истории?

А. — Боюсь, что вы это говорите, как многие наши соотечественники, не без легкого удовлетворения: «самое безмерное!», «самое бескрайнее!» Вам это лестно? Да, в пору русской революции было пролито много больше крови, чем в пору французской или английской. Но ведь выросли, по естественным и понятным причинам, масштабы всех сходных явлений. По сравнению с битвами двух мировых войн сражения восемнадцатого и девятнадцатого веков могут считаться мелкими стычками. По существу же, французская революция была так же жестока, как русская. Робеспьер проливал кровь так же легко, как Сталин (не на бочки же кровь мерить), и даже по бесстыдству и презрению к правде и к правосудию (за исключением техники сознаний) Фукье-Тенвилль мало уступает Вышинскому. Что же вы имеете в виду? Крайний атеизм большевиков? Бердяев в другой своей работе считает и русский атеизм противоположным марксистско-

му: «Мотив атеизма Маркса, — говорит он, — совсем иной, чем мотив традиционного русского атеизма. В русском атеизме были сильны мотивы сострадания, жалости и своеобразного аскетизма. В атеизме Маркса преобладают силы, мощь организованного общества. Нужно вырвать из сердца человечества религиозную веру, уничтожить идею Бога, чтобы человеческое общество стало сильным, чтобы окончательно организовалась и рационализировалась человеческая жизнь, чтобы возможна была окончательная победа над стихийными силами природы и стихийными иррациональными силами в самом человеческом обществе. Атеизм марксовского типа совсем не является жалостью, — наоборот, он безжалостен. Для достижения мощи и богатства социального коллектива отношение к людям должно быть беспощадным и жестоким. В атеизме Маркса нет уже никаких гуманистических элементов»[5]. Откуда собственно взято последнее утверждение и на чём оно основано? Сам Маркс и его последователи, как иностранные, так и русские, конечно, с негодованием его отрицали бы. Что до беспощадного отношения к людям, то оно вообще ни в теории, ни на практике нисколько не связано с атеизмом, ни с западным, ни с русским: такое отношение достаточно часто проповедывали и особенно проявляли государственные деятели и теоретики, никогда атеистами не бывшие. Да и «мотивы атеизма» у Чернышевского, например, нисколько не отличаются от марксистских, а его Бердяев ставил, как человека и как моралиста чрезвычайно высоко: «Лично Чернышевский нисколько не был жестким типом, он был необыкновенно человечен, любвеобилен, жертвен... Мораль «Что делать?» очень высокая, и уже, во всяком случае, бесконечно более высокая, чем гнусная мораль «Домостроя», позорящего русский народ. Буха-

---

[5] Н. Бердяев, *Русская религиозная психология и коммунистический атеизм*, Париж, 1931 г., стр. 30-31.

рев, один из самых замечательных русских богословов, признал «Что делать?» христианской по духу книгой... Чернышевский имел самую жалкую философию, которой была заполнена поверхность его сознания. Но глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нем была большая человечность, он боролся за освобождение человека»[6]. Как бы то ни было, Маркс и Фейербах довольно близки к философским мыслям Чернышевского. Его атеизм самый обыкновенный, западного производства, made in Germany. Кстати сказать, я никогда не мог понять, почему роман «Что делать?» был единодушно признан революционным и тоже «бескрайним и безгранным» произведением. В нем ничего нет, кроме проповеди кооперативов и кроме мечтаний Веры Павловны о будущей светлой жизни, почти не отличающихся от таких же мечтаний Чеховских персонажей... «Что делать?» и по духу очень похоже на романы Шеллера-Михайловского или Станюковича. Пожалуй, и по таланту. Роман Чернышевского, разумеется, далеко не так хорош в художественном отношении, как думали когда-то, и не так плох, как многие думают теперь. Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, Рахметов — куклы, но Марья Алексеевна, например, очень недурна. Чрезвычайно плохи, правда, были «новаторские» приемы автора, вечное подмигивание читателю, фамилиарное обращение с ним (вплоть до того, что ему где-то в «Что делать» «затыкается рот салфеткой»), длинные рассуждения, — он, мол, читатель, думает то-то, тогда как на самом деле верно совершенно другое. Рахметов же из рук вон плох. Да и что в нем уж такого необычайно «революционного»? Ни один русский революционер никогда на Рахметова не походил. «Ножа и топора» нет ни в действии романа, ни у его героев.

---

[6] Бердяев, *Русская идея,* стр. 111-113.

Л. — Вы, кажется, забыли о существовании цензуры в то время. Ведь всё-таки был же роман за что-то запрещен. Да и какие «нож и топор», хотя бы и фигуральные вообще у кабинетных людей! Ясные выводы о них в этом отношении можно делать лишь в том случае, если они получают, по воле истории, возможность практических действий. Можно предположить, что, случись Французская революция полустолетием позднее, Робеспьер кончил бы свои дни мирным адвокатом или ходатаем по делам в Аррасе, Марат тоже мирным пациентом дома умалишенных, а Дантон, быть может, был бы богатейшим brasseur d'affaires и самым практическим из общественных деятелей Парижа. Что делал бы Маркс, еслиб оказался во главе правительства, — этого ни вы, ни я, ни большевики, ни меньшевики с точностью сказать не можем. Революции меняют облик людей как оспа. Между Плехановым 1917 г. и Плехановым 80-х годов не намного больше сходства, чем, например, между Петрункевичем и Ткачевым. Приблизительно то же самое можно сказать о Кропоткине. Будем же говорить отдельно о людях действия и о людях мысли. И я утверждаю, что русское действие всегда было гораздо более «катастрофическим», чем действие в западной Европе. Вспомните о русских народных восстаниях. Мне несколько надоели вечно цитируемые слова Пушкина: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — но он и в самом деле был беспощадным, — беспощадным с обеих сторон. Сравнительно скромный бунт 1663 года, вызванный монетной реформой Ртищева, повлек за собой настоящие гекатомбы. Убито было более семи тысяч человек, были пытки, казни, людям рубили руки и ноги. Косвенным, а то и прямым ответом на это был бунт Стеньки Разина. Стенька, Васька Ус, Федька Желудяк пролили потоки крови, Долгорукие, Барятинские, Милославские действовали ничуть не лучше. А Булавинское восстание с его десятками тысяч вырезанных и казненных людей? А Пугачев? Назвать же эти бунты

бессмысленными можно лишь постольку, поскольку можно назвать бессмысленными крайность и беспощадность вообще. Булавин, этот ницшеанец с кистенем, в своих воззваниях призывал «атаманов-молодцов, дорожных охотников, воров и разбойников» с ним «погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить и поесть, на добрых конях поездить».

А. — Могу только сказать, что на западе были точно такие же восстания, и подавлялись они так же жестоко. Прочтите у Жан-Клода, у Эли Бенуа, что делали во Франции «Драгуны» в 1685 году. Людей рвали щипцами, сажали на пики, поджаривали, обваривали, душили, вешали за нос. Это было в самой цивилизованной стране Европы, в пору grand siècle, в царствование короля, который не считался жестоким человеком. Впрочем, и Стенька, и Емелька, по случайности, тоже действовали и были казнены при самых гуманных монархах. И вы легко найдете во Франции того времени такие же образцы и ницшеанства с кистенем и демоничности со щипцами, притом в обоих лагерях. Между тем Франция никак не причисляется к странам «безкрайности», напротив она считается страной меры. Да и ничего не было ни мистического, ни иррационального, ни даже максималистского в причинах, лозунгах, требованиях русских восстаний. Астраханские бунтари не хотели платить подать на бани и желали раздачи хлеба голодным. Булавин обещал своим людям, что они будут вдоволь есть и пить. Бунтарям, сбегавшимся к Разину и Пугачеву, смертельно надоели поборы и насилия воевод и помещиков. И над всем преобладали ненависть, зависть, желание пожить вольной, необычной жизнью, уйти от жизни тяжелой и осточертевшей. То же самое было в западно-европейских восстаниях. По учению Хомякова, тоже очень любившего «бескрайности», русский народ «вышел в отставку» после избрания царя Михаила Федоровича. Оказалось, что не

совсем вышел. Порою — и очень длинной порою — его в отставку загоняли. Так это и теперь, — может быть, и даже наверное, тоже не навсегда. Но какая тут «мистика»? Тут палка. И противоставит он ей тоже палку, а не мистику. Вообще, чем меньше искать поэзии в революциях, тем лучше. Да и поэзия дешевая, вроде «Из за острова на стрежень»... Кстати, чтобы излечиться от чрезмерных ее поисков в явлениях подобного рода, прочтите их изложение не в длинных исторических трудах, а в коротких. Сжатость всё несколько уясняет. Я делал над собой подобные опыты в отношении не одной русской, а всеобщей истории, — и мне казалось, что я читаю некоторое подобие тех протоколов, какие ведутся в зоологических садах. От того, что называется «форумом», до зверинца только один шаг.

Л. — Что ж делать, вы от природы очевидно глухи к некоторым проявлениям духовной жизни.

А. — Я не очень склонен считать революции и гражданские войны проявлением *духовной* жизни... Не было по общему правилу бескрайности и в большой русской политике. Вы, конечно, скажете: Иван Грозный? — Он был чудовищем, это верно, и мне старые и новейшие попытки его реабилитировать были всегда непонятны и противны, как А. К. Толстому, который в предисловии к «Князю Серебряному» пишет: «В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя, он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования». В отличие от графа Толстого, я думаю, что общество смотрело на этого царя именно

с негодованием. Так же было и на западе. Там нередко правили такие же или почти такие же чудовища. Иван Грозный нисколько не характерен ни для русской культуры, ни для русских царей. Другие цари обычно делали приблизительно то же, что делало громадное большинство монархов в других странах. Во внутренней политике почти до конца не хотели расставаться с самодержавием, — точно так же поступал и тоже почти до конца, например, Людовик XVI. Во внешней политике (это теперь «модный» вопрос) цари были империалистами в меру, как столь многие другие правители. Отличие в их пользу: ни один из русских царей никогда не стремился к мировому господству. Это выгодно отличает их от Александра Македонского, от Цезаря, от Наполеона, от Карла Великого, в меньшей степени от Карла V. Цари чрезвычайно редко командовали своими армиями, не считали себя великими полководцами, следовательно и психологически не могли стремиться к военной славе. Не так уж стремилось к ней и к завоеваниям старое русское дворянство. Российское государство в сущности создалось в порядке стихийном...

Л. — Скажите уж прямо: создалось случайно.

А. — Фокеродт пишет: «Когда (этой знати) приводят в пример дворянство европейских стран, считающее величайшей честью военные заслуги, она обыкновенно отвечает: это только доказывает, что на свете больше дураков, чем умных людей. Умный человек не станет подвергать опасности здоровье и жизнь, — разве только из нужды, за жалованье. Но русский дворянин с голоду не умрет, если только позволят ему жить дома и заниматься хозяйством. Даже тому, кто сам за сохой ходит, всё-таки лучше, чем солдату. А человек мало-мальски со средствами может себе всякое удовольствие позволить: еды и питья, платья и прислуги у него в изобилии; может он, сколько душа захочет, и развлекаться охотой и другими

забавами предков»[7]. Так было приблизительно до половины 18-го века. Но и позднее (хоть это, конечно, не совсем тот же вопрос) самые выдающиеся из русских полководцев в смысле любви к войне и к завоеваниям были неизмеримо умереннее большинства своих европейских собратьев. Всем известно, что Кутузов после изгнания французов из России стоял за мир и не желал заниматься устройством «порядка» в западной Европе; может быть, и не очень верил, что в случае победы удастся установить хороший «порядок», в чем был совершенно прав. Константинополь и проливы? Умнейшие русские генералы 19-го века вообще не считали нужным завоевание Константинополя. Тотлебен, фактически командовавший русскими войсками в пору войны 1877-78 гг., шел даже и дальше. Он писал с театра военных действий: «Мы вовлечены в войну мечтаниями наших панславистов и интригами англичан. Освобождение христиан из-под ига ислама — химера. Болгары живут здесь зажиточнее и счастливее, чем русские крестьяне; их задушевное желание, чтобы их освободители по возможности скорее покинули страну. Они платят турецкому правительству незначительную подать, несоразмерную с их доходами, и совершенно освобождены от воинской повинности. Турки вовсе не так дурны, как об этом умышленно прокричали; они народ честный, умеренный и трудолюбивый»[8]. История русского империализма вообще пока не написана. В ней окажутся и факты совершенно неожиданные. Разумеется, я ничего не обобщаю, не хочу преувеличивать и не говорю, что русские цари и полководцы пытались быть «всечеловеками» (самое фальшивое слово из пушкинской речи Достоевского) или что они так уж любили чужие народы. Генерал в «Трех

---

[7] Цит. по П. Н. Милюкову, *Очерки по истории русской культуры,* Париж, 1930 г., том III, стр. 215.

[8] *Русская Старина,* ноябрь 1886 года, стр. 468.

разговорах» Владимира Соловьева полушутливо говорит, что единственная иностранная держава, пользующаяся его искренним благоволением, это княжество Монако. Однако мира эти генералы завоевывать не собирались, и на том им спасибо.

Л. — Вы упомянули о Достоевском и Соловьеве. В самом деле пора нам оставить политиков. Перейдем же от Грозных, Булавиных, Лениных к людям мысли и искусства.

А. — Рад этому и я. Романов и поэм с адскими страстями есть достаточно во всех литературах. Но укажите мне примеры разных бескрайностей и безмерностей в подлинном искусстве, во всём том, что составляет истинную гордость России.

Л. — Пример? Привожу почти наудачу. Возьмем, например, суд и его оценку в русской литературе. Вы знаете, каким огромным уважением суд окружен в западно-европейских странах, особенно в англо-саксонских. Европеец в него верит твердо. В Англии перед судебным решением склоняются *все,* без различия партии, и там судебное решение не принято критиковать: оно неизменно принимается как решающее слово. А что у нас? Наш уголовный суд, когда в него не замешивалась политика, был едва ли не лучшим в Европе. Россия была одна из немногих стран, где не было смертной казни за уголовные преступления. Правда, легкий и зловеще-забавный оттенок в это вносит тот факт, что от Елизаветы Петровны до Временного правительства 1917 года и большевиков, наши властители обычно начинали свою деятельность с того, что навсегда отменяли смертную казнь. Как бы то ни было, уголовный процесс в России был беспристрастен, справедлив и вдобавок никогда не превращался в балаган, как это сплошь и рядом бывает на западе. Тем не менее в двух изображающих его знаменитых русских романах, в «Братьях Кара-

мазовых» и в «Воскресении», в основу дела положена судебная ошибка. Всё-таки не всегда же наши присяжные и судьи ошибались! Толстой как бы говорит: Катюша Маслова преступления не совершила: *они* ее засудили, так *они* поступают всегда; все вообще осуждаемые ими люди никакого наказания не заслуживают. А кто собственно эти «они»? Мы все. Достоевский говорит иное, но по существу, до некоторой степени, то же самое. Дмитрий Карамазов также никого не убивал, но он грешен, и в каком-то «высшем смысле», засудившие его присяжные правы, все люди заслуживают наказания. Что сказали бы Толстой и Достоевский, еслиб Митю и Катюшу вдобавок приговорили к смерти? В отличие от запада, русский уголовный кодекс при старом строе отнял у писателей эту возможность. Их мысли взаимно исключаются, но одинаково свидетельствуют о максимализме русской души и о понимании правосудия, прямо противоположном западному. Когда в европейском фильме совершается преступление, все симпатии зрителей находятся на стороне сыщиков. За их искусными действиями следят с восторгом, с надеждой, даже с уверенностью; они всё раскроют, найдут преступника и суд его отправит куда следует. Преступник у Толстого и у Достоевского обычно, повторяю, сам приносит покаяние, как Раскольников, как Никита во «Власти Тьмы» (что, кстати сказать, должно очень облегчать работу следственных властей). Иногда даже, как маляр в «Преступлении и наказании», он, по мотивам высшей правды кается в убийстве, которого он не совершал. Возводит на себя ложное обвинение и Кириллов в «Бесах» и тоже по глубокомысленным философским мотивам. Порфирий Петрович ведет следствие о преступлении Раскольникова, конечно, так, как никакой следователь в мире никогда никакого следствия не вел. Знаю, Достоевский придал своему роману совершенно исключительную силу правдивости: мне в Петербурге иногда хотелось найти дом, где была убита

Алена Ивановна, или же место под забором, в котором убийца закопал свою добычу. Но ведь это свидетельствует только о художественном гении писателя. По существу же, в его гениальном романе убийца неизмеримо симпатичнее и жертвы, и следователя. Другое проявление нашего максимализма: в «Идиоте» блудница бросает в печь сто тысяч рублей, чтобы доказать что-то очень глубокое, — плохо помню, чтó именно! И даже у гораздо более трезвого и «европейского» Чехова тоже кто-то сжигает деньги, правда всего лишь шесть тысяч. Русские щедрый народ, это верно. Однако и американцы щедрый народ. Только, если они хотят отделаться от своих денег, они их не сжигают, а жертвуют университету, больнице, Армии Спасения. Нет, не говорите, не выдумана безмерность «âme slave»!

А. — Я готов с вами согласиться в том, что на верхах русской литературы Толстой — он один — был выразителем «безкрайности». Это относится впрочем только к его последней поре, к периоду «Воскресения», — всё же никак не лучшего его романа. В «Войне и мире» безкрайностей нет. Толстой в этом величайшем создании мировой литературы принимает всё обычное в жизни и всё поэтизирует. Мир прекрасен, война менее прекрасна, но и в ней столь многое поэтично! Что же касается Достоевского, то, при его повышенном интересе к патологическим явлениям в жизни, он естественно мог заниматься и самыми редкими казусами. В конце концов блудница *могла* сжечь в печке сто тысяч, — чего только на свете не бывает. Но какие бескрайности вы можете ему приписать вне романов? В политике он был умеренный консерватор; в «Дневнике Писателя» вы, пожалуй, не найдете ни одной политической мысли, которую не мог бы высказать рядовой консервативный публицист. Недаром и печатался Достоевский в «Гражданине», — князь Мещерский не возражал против его статей, хотя,

вероятно, кое-что считал недостаточно консервативным. А все другие наши писатели, художники, композиторы? Они и в политике и в своем понимании мира были умеренные люди, без малейших признаков максимализма. Ломоносов, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Грибоедов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Лесков, Фет, Чайковский, Мусоргский, Бородин, Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Репин, Левитан, Лобачевский, Чебышев, Менделеев, Павлов, Мечников, Ключевский, Соловьевы были в политике самые умеренные люди, либо консерваторы, либо либералы, без малейших признаков бескрайности. Таковы почти все они были и в своем творчестве. Таковы были они и в своей личной жизни. Разве один Пушкин в жизни был порою «бешеным человеком», да и то очень редко, — Сологуб приписывал это его полунегритянскому происхождению. В литературе же он был воплощением вкуса, меры, «светлости»...

Л. — Нельзя всё-таки сказать, чтобы и жизнь Гоголя, уморившего себя голодом, была свободна от бескрайности. То же самое относится и к Достоевскому.

А. — Допустим. Но я укажу вам сколько угодно таких же бескрайностей в жизни людей западного искусства: Марло, Эдгар По, Курбе, Верлэн, Бодлэр, Рембо, Гогэн, Ван-Гог, Стриндберг. Чем тут хвастать? Заметьте, все большие русские писатели могли знать западноевропейские крайние революционные учения. Начиная от Гоголя, они могли бы и даже собственно должны были бы знать и о марксизме. Между тем ни на одного из них (не причислять же к большим писателям Максима Горького) марксизм ни малейшего влияния не оказал. Один «невежественный» Лев Толстой читал «Капитал» и даже делал на полях пометки[9]. Но он причислял Маркса

---

[9] См. об этом составленную по неизданным материалам заметку С. Брейтбурга, *Лев Толстой за чтением «Капитала» Маркса*, «Звенья», сборник V, Москва, 1935 г., стр. 732-741.

к тем ученым, которые ставят себе целью «удержать большинство людей в рабстве меньшинства» (что ж, если считать большевиков марксистами, то это неожиданное суждение оказалось по своему пророческим). Да еще Владимир Соловьев, на этот раз проявляя весьма неуместную «бескрайность», косвенно сравнивает марксизм (как впрочем и некоторые другие экономические учения) с порнографией. «Я разочаровался в социализме, — пишет он, — и бросил заниматься им, когда он сказал свое последнее слово, которое есть экономический материализм; но в ортодоксальной политической экономии ничего принципиального никогда и не было, кроме этого материализма. Разумею материализм в смысле нравственном, т. е. возведение материальной страсти корыстолюбия в практическую норму. Изучение хозяйственной жизни человечества с *этой точки зрения* так же чуждо нравственной философии как и изучение порнографии»[10].

Л. — Замечание действительно странное. Оно на Маркса перекладывает ответственность за жизнь!

А. — Я с вами тут и не спорю. Замечание ведь Соловьева, а не мое... Но почему всё-таки предполагать, что перечисленные мною люди не выражают души русского народа, а Бакунин, Ленин, Сталин или Троцкий ее выражают?

Л. — Герцен был однако революционер...

А. — Очень умеренный, без всяких «бескрайностей». И его страницы о «мещанстве», по-моему, худшее из всего, что он написал, и по полной неопределенности этого понятия, в его произведениях, и, если хотите, по очень неполной искренности. Этот большой писатель был

---

[10] Вл. Соловьев, *Мнимая критика*, Собрание сочинений, т. VII, стр. 670.

в жизни барином, — помнится, Бакунин где-то называет его сибаритом; он очень любил блага «мещанской» цивилизации. Сходное часто бывает и на западе: люди не верят в прочность частной собственности, но чрезвычайно ею дорожат.

Л. — Ну, это подход личный и не очень законный.

А. — Что же дал бы подход исторический? Я предложил бы вам выяснить, кто, с точки зрения Герцена, выражал «мещанские» идеи, например, во французской революции? «Чаяния буржуазии» выражали конституционалисты 1789 года и жирондисты, погибшие на эшафоте. Они что ли были мещане? С Директорией, очевидно, начинается период густого мещанства. Кто же остается? Робеспьер с террористами? Им ли мог сочувствовать Герцен? Я ненавижу эти его страницы, как и режущие у него слух слова о «горьком плаче пролетария», да он правду сказать, и пролетариев в жизни знал очень мало. За всё это, кстати сказать, ухватилась не только передовая русская мысль, но и реакционная, которой этот взгляд тоже, повидимому, очень понравился. Константин Леонтьев прямо писал: «Я ему (Герцену) все эти неудачные и преступные попытки его прощаю искренно уже за то одно, что он первый сказал печатно: «В России никогда конституции не будет, и средний, умеренный либерализм в ней никогда не пустит корней. Это для России слишком мелко. Последние годы нашей политической жизни доказали, до чего был с этой стороны прозорлив этот человек, во многом другом столь кровно виновный перед нами»[11]. В своих письмах к Владимиру Соловьеву Леонтьев говорил: «Со стороны же исторической и внешнежизненной *эстетики* я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим сла-

---

[11] К. Леонтьев, *Польская эмиграция на нижнем Дунае,* Собрание сочинений. С.-Петербург, т. IX, стр. 338.

вянофилам. Разумеется, я говорю не о Герцене «Колокола», этого Герцена я в начале 60-х годов ненавидел и даже не уважал, но о том Герцене, который издевался над *буржуазностью* и прозой новейшей Европы[12]. Ну, что ж, ему и в политике была нужна не проза, а поэзия. Интересно, что той же терминологией, но для критики *социализма,* пользовался иногда и Владимир Соловьев, по крайней мере в «Критике отвлеченных начал». В главе «Хозяйственный элемент общества, социализм и мещанское царство» он в сущности выдвигает против социализма тот же упрек: «Главный грех социалистического учения не столько в том, что оно требует для рабочих классов слишком многого, сколько в том, что в области высших интересов оно требует для неимущих классов слишком малого и, стремясь возвеличить рабочего, ограничивает и унижает человека[13]. Собственно, это сводится к порицанию «трех комнат с канарейкой и горшками цветов» для рабочего. Над этой — в сущности святой вещью, — над предпосылкой человеческой духовной жизни, над «тремя комнатами» только ленивый не издевался в антисоциалистической литературе.

Л. — Герцен никак не отвечает за выводы, которые из него, в бесспорных или сомнительных цитатах, делал Константин Леонтьев. Не отвечает и за выводы Соловьева или чьи бы то ни было. По-своему Герцен был нетерпим в отношении людей умеренного либерализма (не говорю уже о консерваторах). Напомню вам его отзыв о старом друге Тургеневе в 1863 году после письма Тургенева к Александру II: «Корреспондент нам говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает

---

[12] К. Леонтьев, *Письма к В. С. Соловьеву,* Собрание сочинений, т. VI, стр. 336.

[13] Вл. Соловьев, *Собрание сочинений,* т. II, стр. 130.

о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она «прервала все связи с друзьями юности».

А. — Вы напрасно вспомнили эту историю, не украшающую ни Герцена, ни Тургенева, но согласитесь, что тут ничего революционного со стороны первого не было. Была личная обида, сказавшаяся в неприличном выпаде, да разве еще злоба левого либерала, искренно считавшего себя революционером, против правого либерала, иногда, по слабости, слишком подчеркивавшего умеренность своих взглядов.

Л. — Какой же Герцен был либерал? Да и мещанство он определил довольно ясно и вполне правильно признал, что оно русскому национальному характеру не свойственно. В отличие от вас, я эти его страницы отношу не к худшему, а к лучшему из им написанного. Действительно, Россия никогда не будет juste milieu. Так оно и вышло.

А. — Это, конечно, звучит гордо. Только это было сказано для красоты слога. Герцен взял понятие juste milieu в узко-определенном смысле, приданном ему в царствование Людовика-Филиппа. В этом смысле оно тогда к России не относилось, — как не относилось и к другим странам, кроме Франции. Мы эту эпоху пережили в 1905-14 гг., когда девиз «enrichissez-vous» в нашей жизни осуществлялся полностью: огромные состояния у нас в ту пору росли как грибы, и промышленный рост был сказочный; он неизмеримо превышал рост французского национального богатства при «мещанском короле». Правда, наряду с этим росло революционное настроение, были Думы с «народным гневом» и без народного гнева, где-то за кулисами работали Ленины, Сталины, Троцкие. Но ведь совершенно то же самое было и при Людовике-Филиппе во Франции, в самый разгар juste milieu, и там привело к революции и к весьма «безмерным» июньским дням. В более же общем и широком смысле слова, Рос-

сия, как большинство стран в известный период исторического развития каждой, *была* juste milieu и притом не только в экономическом смысле. В течение столетий она была juste milieu между западом и востоком. Между 1905 и 1914 годами была в чисто политическом отношении juste milieu между, скажем, Германией и Японией, а в культурном отношении между Парижем и Веной: все эти наши символизмы, акмеизмы, имажинизмы, кубизмы, литературно-художественные кружки, эротические откровения, петербургские «башни» и московские салоны приблизительно года на два отставали от Парижа и на столько же опережали Вену или Мюнхен.

Л. — Как можно отрицать основные факты? Ведь весь смысл русской культуры заключается в том, что она насквозь проникнута противоположной мещанству идеей общественного служения. Ее девиз в своем роде «Ich dien» Фридриха II. Пойду и дальше. С. Л. Франк где-то говорит: «То, что с точки зрения эмпирии кажется лишь бесконечно удаленным идеалом, *мечтой* о «новом небе» и «новой земле», которые лишь некогда должны явиться или прийти — обнаруживается в последней бытийственной глубине в качестве *вечной реальности*. Иначе и не может быть, ибо всё *«должное»*, всякая *«ценность»* в первооснове бытия совпадают с самой *реальностью*»[14]. Мысль и тонкая, и в высшей степени русская, одна из самых русских мыслей в истории русской литературы, хотя покойный Франк единственным своим учителем в философии признавал, кажется, Николая Кузанского.

А. — Добавлю, что не на вершинах, а пониже вершин, русской художественной литературы особенно часто за подлинно-русское выдавалось то, что в действительности им никак не было. В пору появления «На Дне» сколько было восторгов у бесчисленных в то время по-

---

[14] С. Л. Франк, *Непостижимое*, Париж, 1939 год, стр. 297.

клонников Максима Горького по поводу «русской» философии старца Луки, с его «утешительной неправдой», благодаря которой несчастные люди забывают о своей беде и нужде! Горький никогда никаких *своих* идей не имел, — я достаточно и читал, и знал его. Старец Лука свою философию позаимствовал у Ибсеновского доктора Реллинга. Он тоже проповедывал «ложь жизни». — «Ложь жизни? Не ослышался ли я?» спрашивает доктора Грегерс Верле. — «Нет, я сказал «ложь жизни». Потому что надо вам знать, ложь жизни есть стимулирующий принцип. Отнимая у среднего человека ложь жизни, вы вместе с тем отнимаете у него счастье». Цитирую по очень плохому переводу; вероятно, в подлиннике это звучит лучше. Недурно звучало и у Горького, он был талантливый человек. Но, во-первых, ради справедливости вернем Ибсену собственность Ибсена, а во вторых, если было что-либо совершенно не соответствовавшее *настоящей* русской мысли, то именно сознательная проповедь лжи в целях утешения людей. Предоставим философию Горького времени, — говорят ведь (я не вполне в этом уверен), что со временем всё попадает на должное место. Будем говорить о *вершинах,* — кажется, нигде разница между вершинами и средним уровнем не была так велика, как в России. Какой именно смысл вы придает принципу «Ich dien»? Если вы имеете в виду политическое или общественное служение, как это иногда прежде делалось, то под этот принцип не подпадает очень значительная часть больших людей, которые создали русскую культуру: многие из них *таким* служением не занимались или занимались им меньше, чем, например, Диккенс или Виктор Гюго. Если же вы придаете ему характер религиозный в более узком смысле слова, как это часто делается теперь, то не подпадает другая значительная часть: среди больших людей русского искусства были в немалом числе и люди неверующие. Тургенев, например, незадолго до смерти, высказал Полонскому

мысли, проникнутые самым безнадежным материализмом; он не верил в будущую жизнь, в бессмертие души[15]. Человеку подлинной веры, Достоевскому, принадлежат «Записки из Подполья», книга нигилистическая — и самая не-русская во всей русской литературе, не-русская прежде всего по полному отсутствию «красоты-добра».

Л. — Быть может, вы эту гениальную книгу называете «не русской» именно потому, что, по вашей основной мысли, русской литературе бескрайности не свойственны. Согласитесь, что подпольный человек — явление бескрайное. Укажите мне что-либо похожее в иностранных литературах.

А. — В иностранных *литературах,* пожалуй, не укажу, вы правы. В жизни и в политике на западе это настроение было. Как ни странно, идея подпольного человека составляет одну из многочисленных граней Наполеоновской идеи. Если верить Таллейрану...

Л. — Зачем же ему верить?

А. — Если верить Таллейрану, Наполеон как-то ему сказал: «Подлость? А какое это имеет для меня значение? Знайте, что я нисколько не побоялся бы сделать подлость, еслиб она была мне полезна. По существу, в мире нет ничего ни благородного, ни низкого. В моем характере есть всё нужное для укрепления власти и для обманывания людей, думающих, что они меня знают. Скажу откровенно, я подл, по существу подл. Даю вам слово, я без малейшего отвращения совершил бы то, что они в свете называют бесчестным поступком.. Мои тайные наклонности, впрочем, отвечающие природе, противоположны аффектации величия, которой я должен себя украшать; они открывают мне бесконечные возможности для обманыванья мира... Вот в том, что вы мне только

---

[15] Борис Садовский, *И. С. Тургенев,* Русский Архив, 1909 г., I-IV.

что посоветовали, важно лишь, соответствует ли это моей нынешней политике. Да еще (добавил он, по словам Таллейрана, «с сатанинской улыбкой») надо выяснить нет ли у вас какой-либо тайной причины («quelque interêt secret») для такого совета мне». По-моему, Наполеону было бы *выгоднее* таких вещей не говорить, да может быть вы и правы: Таллейран вполне мог приврать. Нас эти слова шокируют прежде всего в виду существования в мире огромного числа мелких подлецов, которым было бы так приятно за них ухватиться (вот где соблазнительно было бы повторить тоже часто цитируемое замечание Пушкина. Не помню точно, как у него сказано: «Он мал, как мы, низок как мы. Врете, подлецы, не так, как вы: иначе». Может быть, эта цитата на память не точна? А вдруг Пушкин тут и ошибался: нисколько не «иначе», а точно так же, как мы? Уж в чем другом, а в этом разница едва ли велика. Но слова Наполеона шокируют нас и в связи с «аффектацией величия», с этими «certaines affectations de grandeur dont il faut que je me décore». Если же еще отбросить всякий намек на какое бы то ни было «величие», то это идея подпольного человека. Тут Достоевский (поскольку автора можно делать ответственным за слова его действующих лиц) гораздо больше «бонапартист», чем в соображениях Раскольникова о Наполеоне и старухе-процентщице, (Разумеется он этой беседы Наполеона с Таллейраном не знал и не мог знать)... Вы говорите, что мы начали с конца. Ничего не имею против того, чтобы уйти вглубь веков. Скажу еще раз: по-моему, во все времена основная и лучшая черта русской мысли была в том, что она в высших своих проявлениях *служила* идее «красоты-добра». Именно поэтому я называю «Записки из подполья» самым не-русским произведением в нашей литературе. В этой книге действительно на двойной Платоновский принцип нет и намека... Мы упомянули о киевском периоде. Какое, по вашему мнению, его высшее созданье?

Л. — Разумеется, «Слово о Полку Игореве».

А. — Оставим в стороне художественные достоинства этой замечательной поэмы, а равно связанные с ней многочисленные исторические и филологические вопросы, — она стала чем-то вроде «Железной Маски» в истории русской литературы. Комментаторы гораздо меньше, кажется, занимались ее морально-философским смыслом. Между тем именно здесь было бы очень интересно — а для моей точки зрения и очень выгодно — ее сопоставление с западным эпосом той же (или сходной по культурному уровню) эпохи. О «Нибелунгах» не стоит и говорить: там всё «безмерно» и свирепо. Остановимся лишь на «Песне о Роланде», поскольку Франция «классическая страна меры». Какие характеры, какие тяжелые страсти в этой поэме! Безупречный, несравненный рыцарь Роланд, гнусный изменник Ганелон, святой Тюрпен, рог Роланда, в который рыцарь дует так, что у него кровь хлынула из горла, Карл Великий, слышащий этот рог за три-девять земель и мчащийся на помощь своему слуге для разгрома 400-тысячной армии неверных, — всё это «безмерно». А речь Роланда перед боем, а его гибель, а его невеста — где уж до нее по безмерности скромной и милой Ярославне! А смерть Оливье! А казнь изменника! В «Слове о Полку Игореве», напротив, всё очень просто, сильных страстей неизмеримо меньше, и за грандиозностью автор не гоняется. Ни безупречных рыцарей, ни отвратительных злодеев. В средние века рыцари, говорят, шли в бой и умирали под звуки «Песни о Роланде». Под звуки «Слова о Полку Игореве» воевать было бы трудно. Обе поэмы имеют громадные достоинства, но безмерности в русской во всяком случае неизмеримо меньше — снова скажу, слава Богу. А былины? Какая в них бескрайность? Эти чудесные произведения, в сущности, по духу полны меры, благоразумия, хитрецы, добродушия, беспечности. Один из новейших историков

русской литературы пишет: «В былинах истоки русского большевизма и его прославление»! Я этого никак не вижу. По сравнению с западно-европейскими произведениями такого же рода, былины свидетельствуют, напротив, об очень высоком моральном уровне. В них нет ни пыток, ни истязаний, да и казней очень мало. Нет и «ксенофобии». Об индусском богатыре Дюке Степановиче автор былины отзывается ласково, как и об его матери «честной вдове Мамельфе Тимофеевне», а Владимир стольно-киевский так же ласково приглашает его: «Ты торгуй-ка в нашем граде Киеве, — Век торгуй у нас беспошлинно». Тот же батюшка Владимир-князь ищет себе невесту на хороброй Литве и женится на дочери литовского короля, и автор в этом ничего странного не находит, даже одобряет Апраксью-королевичну. А Добрыня Никитич на пиру у князя играет «стих Еврейский по унывьному, — По унывьному да по умильному, — Во пиру все призадумались, — Призадумались да позаслушались», после чего «заиграл Добрыня по веселому, Игрище завел от Ерусóлима». Почти во всех былинах конец очень благополучный, настоящий английский happy ending, часто дело кончается свадебкой. И, хотя иногда богатыри наказывают своих жен, в общем отношение к ним ласковое и даже почтительное. Князь-солнышко подробно описывает, какая невеста ему нужна: «Чтобы стаником была ровнешенька — Ростом, как и сам я, высокошенька — Очи были б ясна сокола — Брови были б черна соболя, — Тело было б снегу белого, — Красотой красна и мне умом сверстна: — Было б с кем мне думушку подумати, — Было б с кем словечко перемолвити, — В пиру беседушке кем похвалитися, — А и было бы кому вам поклонитися, — Было б кому вам честь воздать»... Такой же ласковый тон в былинах почти ко всем и ко всему. Море не море, а «морюшко», горностаи — «горностаюшки», птица — «пташица», шуба — «шубонька», чулки — «чулочики», жеребцы — «жеребчики»,

и уж, конечно, хлеб — «хлебушко», и даже кровопролитие — «кровопролитьице». Конечно, есть и враги: не любить же Соловья-разбойника или Тугарин Змеевича. Татарский царь Калин неизменно называется собакой, но это как бы официальный его титул: он и сам себя так называет, — говорит Илье Муромцу: «Не служи-ка ты князю Владимиру, — А служи-ка мне, собаке царю Калину, — У меня, собаки, есть две дочери, — Ты посватайся-ка на любой из них»... Обычно и в «кровопролитьицах» соблюдаются требованья морали. Отец так благословляет богатыря: «Гой ты свет мой, чадо порожденное! — Я на добрые дела благословлю тебя, — На худые дела благословенья нет. — Как поедешь ты путем-дорогою — Не помысли злом на татарина, — Не убей в чистом поле християнина». Илья Муромец, самый жестокий из богатырей, соблюдает правила гуманности даже в отношении семьи Соловья. Когда «дочушка» разбойника Пелька Соловьевична попыталась убить «Ильюшеньку», он только «пнул еще ногою девку под спину — Улетела девка за широкий двор», — правда, от этого пинка «нажила себе увечье вековечное», но на то ведь он и богатырь. Да и самого Соловья-разбойника Илья Муромец сначала собирается отдать дочерям как «кормильца-батюшку или же продать: «Я свезу его во Киев град, — На вино пропью да на калач проем». У него даже упреки совести, что он выбил злодею глаз: — «Надо бы служить во храме Богу мóлебен». А Добрыня Никитич со Змеем Горынычем заключает нечто вроде gentleman agreement, «заповедь велику, нерушимую»: змей не будет летать на святую Русь, а «Добрынюшка» не будет топтать в чистом поле «детенышей-змеенышей». Позднее обе стороны, снова встретившись, спорили совершенно на наш нынешний манер Объединенных Наций: «Ай же ты, молоденький Добрынюшка! — Ты зачем нарушил нашу заповедь, — Притоптал моих детенышей-змеенышей?» — Отвечает ей молоденький Добрынюшка: — «Ай же ты, змея про-

клятая! — Я ль нарушил нашу заповедь, — Али ты, змея, ее нарушила? — Ты зачем летела через Киев град, — Унесла у нас Забаву дочь Путятичну? — Ты отдай-ка мне Забаву дочь Путятичну — Без бою, без драки-кровопролитьица». Какой же во всём этом большевизм? Для того времени всё это «красота-добро». Где, в чем бескрайность? Только в силе богатырей и в их умении пить. Верно, что когда Вольге Всеславьевичу было от рожденья всего полтора часа, он уже говорил так «будто гром гремит» и просил сударыню матушку дать ему «палицу свинцовую, — чтобы весом была палица в триста пуд». Верно и то, что Добрыня выпивал «чару зелена вина — Да не малую стопу — во полтора ведра, — Разводил ее медком стоялыим, — Подымает чару единой рукой, — Выпивает чару за единый вздох». Но ведь и у «реалиста» Гоголя Тарас Бульба весит двадцать пудов, а Собакевич съедает девятипудового осетра. Нельзя же и не приврать: читатель и сам поймет, что приврано, — так ему выходит интереснее и приятнее. А сказки! Они не хуже былин. А русские старые пословицы, по-моему лучшие, самые меткие в мире! Они полны благоразумия и умеренности, и только благодушная мудрость спасает многие из них, даже как будто благочестивые, от прямого цинизма: «На Бога надейся, а сам не плошай»... «Где жить, тем богам и молиться»... «И Бог на всех не угодит»... Ничего крайнего, «коммунистического», нет и в отношении к богатству, к богачам. Это отношение довольно «буржуазно»: «Не тот человек в богатстве, что в нищете»... «Бедность плачет, богатство скачет»... «Богатый ума купит, убогий и свой бы продал, да не купят»... «Богатому черти деньги куют». Впрочем, она и не без ненависти, но никак не мистической, а весьма земной: «У богатого пива-меду много, да с камнем бы его в воду»... Не очень благоговейное отношение и к «правде»: «Правда твоя, мужичок, да полезай-ка в мешок»... «За правду плати, и за неправду плати»... «Праведно живут: с нище-

го дерут, да на церковь кладут»... «И твоя правда, и моя правда, и везде правда, а где она?». А случай, судьба? Эти слова, столь нас занимающие в наших беседах, встречаются в поговорках во всех смыслах: «Что судьба скажет, хоть правосуд, хоть кривосуд, а так и быть»... «Не судьба крестьянскому сыну калачи есть»... «Детинка не без судьбинки»... «Судьба руки вяжет»... «Делай, когда будет случайно»... «Случается, и пироги едим»... Есть и некоторое недоверие к уму, особенно к соборному в Хомяковском духе: «Ум хорошо, два лучше, а три — хоть брось»... «Ум с умом сходилися, дураками расходилися»... «Чужими умами только бураки подшивать»... «С умом, подумаем, а без ума, сделаем»... «И с умом, да с сумой»... «Счастье ума прибавляет, а несчастье последний отымает»... Ведь всё это настоящий кладезь жизненной правды. В какой-то мере это народное понимание мира отражало и русское законодательство времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого; оно было гораздо умереннее и гуманнее многих западно-европейских. В «Русской Правде» штраф преобладает над казнями и даже над тюрьмой. В ту пору в Германии отец имел право собственной властью казнить сына. Не умевший читать и писать князь Владимир, услышав, что у Соломона сказано: «Вдаяй нищему Богу взаим дает», велел «всякому нищему и убогому приходить на княжой двор брать кушанье и деньги из казны»[16]. Невольно хочется сказать, что кое-чему тут могли бы поучиться цивилизованные государства и наших дней.

Л. — Я готов допустить, что во всём этом не очень много «безмерности», уж если вы так странно — и пространно — подходите к русской мысли именно с этой точки зрения. Но признаюсь, мне кажутся не очень убе-

---

[16] Сергей Соловьев, *История России с древнейших времен,* Москва, 1857 г., том I, стр. 206.

дительными и ваши старания увидеть в древней русской литературе воплощение красоты-добра. Для разрешения этого вопроса нам надо было бы коснуться литературы богословской, а мы тут не очень осведомлены.

А. — Насколько я помню, например, учение Кирилла Туровского, в нем то, что на протестантском языке можно было бы назвать эстетическими элементами, тесно сливается с чисто-религиозными настроениями. Кажется, знатоки его признают замечательным поэтом в истории русского богословия. Впрочем, Г. П. Федотов считает это мнение не очень верным»[17]... Мне жаль, что я вас утомил соображениями о мнимой безмерности русской культуры, — что ж делать, она ведь ложный канон и, по-моему, довольно вредный. Я всё-таки хотел бы еще кратко добавить, что, к счастью, ни малейшего намека ни на какую безмерность нет и в лучшем из ранней русской прозы, — в «Фроле Скобееве», в «Повести временных лет», в «Горе-Злосчастии». А записки старых русских путешественников, как подлинные, так и апокрифические? Все эти умные и толковые люди скорее удивлялись безмерности *западной*. Это сказывалось даже в мелочах. Некоторых из них поражала грандиозностью не только Византия. Одни, правда, просто врали, как автор «Слова о некоем старце», который в «граде Египте» нашел 14.000 улиц, а на каждой улице 10.000 дворов, да 14.000 бань, да 14.000 кабаков» (оговариваюсь, я этого «Слова» не читал и цитирую не по первоисточнику[18]). Но и очень серьезные, правдивые путешественники наивно изумлялись величию и грандиозности третьестепенных западных городков, вроде Юрьева, Любека, Брауншвейга. В них всё «вельми чудно», — странники захлебываются от восторга, плохо вяжущегося и с национальной исключительностью, и с

---

[17] George P. Fedotov, *The Russian Religious Mind,* 1946, p. 369.

[18] А. Н. Пыпин, *История русской литературы.* С.-Петербург, 1898, т. II, стр. 253.

ксенофобией, и даже с пониманием (правда, несколько более поздним) Москвы, как Третьего Рима.

Л. — Ваше утверждение прямо противоречит свидетельству всех иностранцев, посетивших Россию. Все они подчеркивают именно и национальную исключительность «московитов», и их гордыню, и их убеждение в том, что другие культуры ничто по сравнению с русской. Ведь на этом частью была основана и несомненная любовь москвичей к Ивану Грозному, любовь, которую одни историки признавали с удовлетворением, другие с горечью, но признавали почти все. На нашем языке это приблизительно и упрощенно можно было бы передать так: «Зверь? Но наш защитник и какой могущественный, какой «безмерный»! «Аз бо есмь до обеда патриарх, а после обеда царь, а царь есми над тремя тысящами цари и шестью сот, а поборник есми по православной вере Христовой, а царства моего итти на едину страну десять месец, а на иную страну не ведаю и сам, где небо и земля столкнулась». Да собственно и переписка Ивана Васильевича с князем Курбским частью строилась на его собственной, так сказать персональной «безмерности», на безмерности царской власти и на безмерности идеи родины. И заметьте, большинство наших историков, особенно прежних, признают тут за царем какую-то моральную или морально-политическую победу. Даже сам почтенный и либеральный Пыпин, хотя он в общем на стороне князя, называет его бегство «прискорбным». А Карамзин! Вспомните: «Ознаменованный славными ранами муж битвы и совета возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников.... Обласканный Сигизмундом... он предал ему свою честь и душу: советовал, как губить Россию»[19], и т. д.

---

[19] Н. А. Карамзин, *История Государства Российского,* СПБ., 1834 г., т. IX, стр. 55-65.

А. — Что ж на это ответить? Курбский, «в странстве будучи, и долгим расстоянием отлученный и туне отогнанный от оные земли любимого отечества моего», ошибался, когда писал Иоанну: «Пождем мало, истина недалеко». Спор не разрешен и по сей день. Вспомните знаменитые слова Дантона о том, почему он не эмигрировал. Тут всё зависит от обстоятельств. Как вы догадываетесь, мои симпатии в этом споре всецело на стороне первого русского эмигранта... Я рад, что вы упомянули об этой переписке, замечательном памятнике русской литературы и диалектики. Она имеет прямое отношение к нашему спору. Конечно, если был человек, совершенно во всех отношениях чуждый Платоновскому принципу, то это Иван Васильевич. Только наивный, мало знавший и еще меньше понимавший Константин Аксаков мог усмотреть в нем художественную натуру...

Л. — Я думаю, что Аксаков был прав. Иван Васильевич был превосходный писатель. Кроме Курбского, Нила Сорского и, разумеется, Аввакума, никто так хорошо не писал в московский период русской истории.

А. — Я этого не отрицаю, но в делах Ивана Грозного художественная натура совершенно не сказывалась. Он был вдобавок довольно вульгарный, хотя и даровитый, комедиант. Конечно, он сам не верил большей части того, что писал князю. Курбский же, напротив, даже в своей эсхатологии, отчасти выражал идею красоты-добра. По некоторым своим мыслям он был именно близок к заволжским старцам, выражавшим эту идею с необычайной силой. Я и хотел бы закончить наш спор о древнем — ссылкой на Нила Сорского.

Л. — Не совсем понимаю, при чем тут он. Я восхищаюсь тем, что он говорил о нестяжательстве в споре с Иосифом Волоцким, его благородством и терпимостью. Но не думаю, чтобы он сыграл большую роль в истории

русской мысли. Ему и у Митрополита Макария отводится всего две страницы[20].

А. — Это еще хорошо. Весьма *светский* историк, покойный президент Масарик, в книге, посвященной русской исторической и религиозной философии[21], отвел Нилу четыре строчки (а о Вассиане Косом не сказал ни слова). Однако Нил Сорский и просто как писатель занимает большое место в истории русской литературы. Он был стилист необычайной силы, в своем роде, гораздо более отвлеченном, не уступавший Аввакуму. От него идет очень многое и очень разное в русской литературе. Даже в чисто-стилистическом отношении. Вы не верите? Перечтите «Нила Сорского предание и устав»: «Страшно бо, в истину страшно и паче слов»[22]... Разве это, просто по словесной ассоциации, не вызывает немедленно в памяти «Соотечественники, страшно» Гоголя, который, быть может, и прямо это позаимствовал у Нила...

Л. — Если сам Нил не позаимствовал этого у западных отцов церкви: кажется, тогда это делали многие.

А. — Даже в этом случае заслуга стилистическая за ним осталась бы. Но дело, конечно, не в стиле. По существу от Нила идет прямая линия к Толстому... Еслиб я не боялся вас ошарашить произвольностью в выборе имен или, избави Бог, щегольством в нем, я сказал бы, что эта «линия» проходит также по лучшим образцам русской архитектуры и даже живописи, вплоть до Врубеля. Но ход к Толстому совершенно прямой и бесспорный. «Аще бо и весь мир преобрящем, но в гроб вселимся, ничто же

---

[20] Митрополит Макарий, *История русской церкви,* С.-Петербург, 1874 г., т. VII.

[21] Th. G. Masaryk, *Zur Russischen Geschichts- und Religionsphilosophie,* Iena, 1913, p. 40.

[22] *Памятники древней письменности и искусства,* вып. XVI, стр. 28.

от мира сего вземше, ни красоты, ни славы, ни власти, ни чести, ни иного коего наслаждения житейского. Се бо зрим во гробы и видим созданную нашу красоту безобразну и бесславну, не имущу видения; и убо зряще кости обнажены, речем в себе: кто есть царь или нищь, славный или бесславный? Где красота и наслаждение мира сего? Не всё ли есть злообразие и смрад?..»[23]. Разве это не Толстой? Тут и князь Андрей со своими мыслями о славе и смерти на Бородинском поле, и Левин перед зеркалом, проверяющий состояние своих мускулов, волос, зубов, и умирающий Иван Ильич, и весь Толстой «Исповеди»... Но в связи с нашим спором, я в частности имею в виду у Нила Сорского мысли о «бескрайности»: «И самая же добраа и благолепнаа делания с рассуждением подобает творити и во благо время... Бо и доброе на злобу бывает ради безвременства и *безмерия*»[24]... Нил Сорский был чистым воплощением Платоновского принципа, а не того, что вы считаете характерным для русской культуры.

Л. — Так вы вашу идею готовы обосновывать и примерами из всех искусств. Тогда сначала наметьте и тут вашу «табель о рангах».

А. — Я считаю, что Толстой был величайшим русским прозаиком, Чайковский величайшим русским композитором, Врубель величайшим русским художником.

Л. — Врубель был поляк.

А. — Да, полуполяк, хотя уже его отец почти не знал польского языка. Мать же его была чисто-русская, Басаргина, родственница декабриста... Но доводы этого рода позвольте вообще отклонить. Надеюсь, вы не ис-

---

[23] *Памятники древней письменности и искусства,* вып. XVI, стр. 66.

[24] Там же, стр. 85.

ключаете из русской культуры французов Леблона, Фальконета, Монферрана, Томона, итальянцев Фиоравенти, Растрелли, Росси, полунемцев, а то и чистых немцев, Герцена, Фонвизина, Тона, шотландца Камерона, евреев Левитана и Рубинштейнов, полуевреев Серовых и Мечникова, людей смешанной крови Чайковского, Бородина, Брюллова, чтобы не упоминать «негра» Пушкина, «шотландца» Лермонтова и многих «татар». Вероятно, вы не исключаете из французской культуры Монтэня, Руссо, Зола, а из испанской — Доменико Теотокополи, создавшего себе мировую славу под именем Эль Греко. Прочтите обо всем этом у Грабаря. Отмечу еще, что Кондаков находил невозможным установить по знаменитым фрескам киевского Софийского собора национальность их создателя: славянин, варяг или грек[25]. Слишком много значения в нынешнем мире приписывают «крови». В старину, в средние века, еще раньше это людей интересовало гораздо меньше.

Л. — Тут вы совершенно правы. Простите, что ни к чему вас перебил.

А. — Я готов продолжать табель о рангах, относя ее и к *родам* русского искусства. По-моему, руссская архитектура занимает в нем место, разве только немногим уступающее русской литературе и много высшее, чем русская живопись. Она имеет мировое значение, тогда как русская живопись его не имеет. Вероятно, это связано с «бессюжетностью» архитектуры вообще. Растрелли в своем гениальном ансамбле Смольного Монастыря сказал новое слово, сочетав римское барокко с русскими монастырскими формами. Но еслиб он каким-либо чудом и знал, что произойдет с его созданием в 1917 г., это едва ли имело бы для него очень большое значение. Так же

---

[25] А. П. Новицкий, *История русского искусства*, Москва, 1903, т. I, стр. 57.

и Баженов не знал, что в своем необыкновенном дворце готовит гроб для заказчика, императора Павла. Гваренги и Томон строили биржу в форме храма, и с точки зрения их «красоты-добра» это было не очень важно...

Л. — Считаете ли вы, что «предметность» русской живописи была достоинством или недостатком? Скажем, предметность передвижников, о которых Александр Бенуа, помнится, говорил, что они конфузливо писали картины, потому, что не умели шить сапоги?

А. — Есть предметность и предметность. Картины Иванова или лицо Ивана Грозного на картине, над которой долго потешались наши эстеты, вполне соответствует моему пониманию искусства. Лично я склонен думать, что живопись везде к предметности вернется, с поправками и новшествами конца девятнадцатого столетия. В русской же живописи, по-моему, выше всего портрет или то, что в ней его включает, — здесь тоже сказалась «тяга» к человеку и к его душе. И, быть может, та же тяга отчасти объясняет высоту русского зодчества, — архитектура, дающая людям и кров, человеческое искусство par excellence. В России она продолжала западное творчество, не боялась и не стыдилась этого, и в значительной мере его обновила, сочетав с русской стариной, доведя, например, ампир до высших в мире образцов, создав ансамбли, которым я знаю мало равных. Не говорю уже о Смольном Институте, но и в обычно забываемом Киеве площадь древних строений, Софийского Собора и Михайловского монастыря, есть нечто неповторимое, как, пожалуй, и на несколько веков позднейший ансамбль императорского дворца с Мариинским парком и Царским садом. Растрелли и Мичурин *учли* Днепр и киевские холмы, как Флорентийские архитекторы учли свои холмы и Арно, а венецианцы — Большой канал и остров Сан-Джорджио. То же относится и к Лавре и в меньшей степени к Военно-Никольскому собору, к нескольким

ансамблям Печерска, которые когда-либо будут оценены и иностранцами.

Л. — Что ж, по-вашему, именно эти ансамбли выражают идею красоты-добра?

А. — Зачем тут иронизировать? Они и многое другое: в архитектуре, кроме Смольного, Собор Василия Блаженного, в живописи творчество Врубеля, в частности его киевские фрески, с их новой, по-моему, концепцией, если не Красоты, то Добра. Его голова безбородого Моисея на редкость напоминает голову Демона: сходство, конечно не случайное. Таков же и ангел со свечой, таков же «Падший Демон», таков же, по крайней мере по замыслу, его пушкинский Пророк. Отметить зло в ангеле, отметить добро в демоне, это идея чисто-русская и, кстати сказать, противоположная бескрайностям: умеряющая, не слишком восторженная, — мир не делится на черное и белое. Это тоже ведь из Нила Сорского.

Л. — Зародыш этой идеи есть и в живописи Леонардо да Винчи, у которого Вакх похож на Иоанна Крестителя... Сходство у Врубеля могло тут происходить от единства его художественной натуры или даже просто от единства в манере и приемах. Вообще трудно из пластических искусств делать сложные идейные выводы. Закончим же табель о рангах. Кто же величайших русский философ?

А. — Вы, вероятно, скажете: Владимир Соловьев? Он, конечно, был, быть может вместе с Франком, самым универсальным из русских философов (в тесном смысле этого слова), а может быть, и самым даровитым. Почти все системы нашего времени так или иначе, в большей или меньшей мере, вышли из Соловьева, хотя бы от него отталкиваясь. А сам он из русских ни из кого не вышел: влияния на него главным образом иностранные, от Платона до Баадера. Как у Бердяева, у Соловьева было

несколько философских учений. Не даром биографы и исследователи делят его уже на периоды, — кто на три, кто на четыре. Это деление, кстати сказать, лучший признак славы, — кажется, из русских философов никто другой его пока не удостоился. Верно, удостоится Бердяев, и у него «периодов» можно будет установить десять или еще больше... Я люблю Соловьева и как поэта, — это верно вызовет улыбку у некоторых современных поэтов. Люблю и как публициста, и даже как критика, — его статья о Пушкине, как бы к ней ни относиться по существу, одна из самых важных статей, когда-либо о Пушкине написанных. Это такой же удачный набег философа в область литературы, как статья о Чехове Льва Шестова. Я сказал бы даже, что и в области точного знания Соловьев порою высказывал мысли, опередившие его время. В своих размышлениях об атомизме он намечает различие не только между атомами Демокрита и атомами ученых 19-го века (чтó было бы не очень ново), но и различие между атомами химика и физика, «отнимающее у физических теорий атомизма, как противоречащих друг другу, всякое обязательное значение для философа»... Так же откровенно признаюсь, что многого я у Соловьева просто не понимаю. Совершенно не понимаю его учения об андрогинизме. Не понимаю единения Абсолюта с Первоначалом, различий между «понятием и тем, что в нем выражается», между первым и вторым полюсами абсолютного.

Л. — Только ли он писал таким языком! Это язык новейшей философии, и насмехаться над ним было бы так же странно, как иронизировать над языком новейшей физики.

А. — С той разницей, что физики под каждым своим нынешним сложным понятием разумеют всё-таки всегда одно и то же и нечто математически определенное, тогда как о философах этого сказать нельзя. Тот же Соловьев

обвиняет часть философов в том, что они второе абсолютное смешивают и отождествляют с спервым[26]. Я впрочем и не думал насмехаться. Этому языку надо научиться, и это не труднее, чем, вероятно, научиться турецкому языку. Жалею правда, что русские философы взяли свой язык у немцев, а не у французов или англосаксов. Если я не понимаю некоторых доктрин Соловьева, то это моя вина, а не его... Быть может, Соловьеву в литературе всё же иногда нехватало простоты и чувства смешного (в жизни у него этого чувства, говорят, было очень много). Прочтите его «Мнимую критику», — сердитую полемику с Чичериным, в которой оба они совершенно серьезно сравнивали друг друга с Торквемадой! Тема была очень серьезна — и в частности по вопросу о смертной казни, Соловьев, ее решительный враг, был неизмеримо выше своего оппонента. Но одновременно они спорили и об отправлениях животного организма. Человек, — писал Чичерин, — «не стыдится наполнения себя материей, но он стыдится освобождения от излишней материи. Что же, это освобождение от ненужной пищи есть тоже *недолжное?»*. Соловьев, правда, указывая на «невысокий сорт» довода, отвечает, что вопрос основан на двусмысленности слова «должное» в русском языке: «По-немецки два смысла здесь различаются в словах «Müssen» и «Sollen». Впрочем, я охотно готов удовлетворить любопытство г. Чичерина. Указанный им физиологический факт есть лишь частичное и, так сказать, хроническое проявление той аномалии, острое обнаружение которой дано в смерти и тлении организма. В обоих случаях аномалия состоит в перевесе материи над формой»[27], и т. д. Мне право трудно представить себе такую полемику, с «формой и материей», с «Müssen» и «Sollen», во французской или английской философской литературе... Не

---

[26] В. Соловьев, Собрание сочинений, т. II, стр. 302.

[27] В. Соловьев, Собрание сочинений, т. VII, стр. 658.

будем входить в обсуждение общего учения Соловьева. Нового о нем ничего не скажешь, — всё сказано и пересказано, — да это и не относилось бы к теме нашего разговора. Чтобы остаться в ее пределах, скажу одно: в известных мне его произведениях нет ни одной строчки, противоречащей идее «красоты-добра». В своих возражениях Ницше он, по-моему, без основания сопоставил и даже объединил с «красотой» «силу» (следуя тут, правда, ницшеанской фразеологии). Но что же сказал Соловьев по существу? Он начал с древней цитаты: «И бысть егда поражаше Александр Македонский, сын Филиппа, иже изыде от земли Хеттии, порази и Дария, царя персидского и мидского, и воцарися вместо его первый в Елладе. И состави брани мнози, и одержа твердыни мнози, и уби царя земския. И пройде даже до краев земли и взя корысти многих языков, и умолча земля перед ним, и возвысися, и вознесеся сердце его. И собра силу крепко зело, и начальствова над странами и языки, и мучительми, и быша ему в данники. И *посем паде на ложе и позна яко умирает*». Последние слова, подчеркнутые самим Соловьевым, очень сильные в своей сжатости, он затем подробно развивает, от чего они лучше не становятся: с теми стилистами состязаться трудно. Его аргументация тут не так интересна: «Разве сила, бессильная перед смертью, есть в самом деле сила? Разве разлагающийся труп есть красота?[28] и т. д. Посрамлять ницшеанство ждущей всех людей смертью было довольно бесполезно, тем более, что этот довод-туз бьет все карты во всех колодах. Посрамлять самого Ницше его собственным безумием[29] было вдобавок и не очень великодушно. Но каков же тут вывод самого Соловьева? «Сила и кра-

---

[28] В. С. Соловьев, *Оправдание Добра,* Собрание сочинений, т. VII, стр. 9 и следующие.

[29] «Как известно, — говорит Соловьев, — этот несчастный писатель, пройдя через манию величия, впал в полное слабоумие». (Там же, стр. 10).

сота божественны, только не сами по себе: есть Божество сильное и прекрасное, которого сила не ослабевает и красота не умирает, потому что у него и сила, и *красота нераздельны с добром*». Выпустим «силу», при чем она тут и что в ней «божественного»? Русская литература никогда особенно силу и не любила. В ней нет Конрадов и Джеков Лондонов, мало и «людей действия», — разве «босяки» Горького? Классические русские писатели обычно вливали в жилы «людям силы и действия» иностранную кровь. Тургенев выбрал болгарина Инсарова, Гончаров немца Штольца, Чехов немца или шведа фон Корена, Лесков швейцарца Рейнера и поляка Ярошинского. Базаров исключение, да его действие волей судьбы и не началось... Главное же в мысли Соловьева никак Платоновскому принципу не противоречит. Да и в «Критике отвлеченных начал» он «реализацию божественного начала» определяет как задачу искусства, «свободной теургии»[30]. Нет у Соловьева также почти ничего носящего печать бескрайностей. Говорю «почти» потому, что при известном желании можно было бы признать «безмерной» его мысль: Бог хочет, чтобы существовал хаос. Эту мысль он высказал в одной из второстепенных своих работ. Ни в «Оправдании Добра», ни в «Критике отвлеченных начал» этой мысли нет. И только намеки на нее есть в «Повести об Антихристе», которая, как и «Три разговора» вообще, представляется мне одним из слабейших произведений Соловьева... Предполагаю, что вы не берете его в укрепление вашей позиции в споре?

Л. — Не предполагайте: его эсхатологию беру.

А. — Напрасно. Соловьевская *счастливая* эсхатология — история кончится Царством Божиим — лишь очень далекая, слишком далекая и, по-моему, ничем неоправданная экстраполяция всё той же идеи «красоты-добра». На

---

30 Вл. Соловьев, там же, стр. 334.

вашем месте я взял бы только трех русских мыслителей, которых сейчас назову. На заданный же вами вопрос «Кто величайший русский философ?» я всё же не отвечу: Соловьев. Я без колебания назову Герцена. Из него вышли и «персонализм», и русская субъективная школа. И он для меня высокое воплощение того, что Гегель называет «lebendige Freiheit». Перечтите главу Гегеля об афинской культуре. Ее особенность он видит в «одухотворенности гением красоты» («Geist der Shönheit»)[31]. В России политической свободы было немного, но внутренней свободы было больше, чем где бы то ни было, именно в вышеуказанном гегелевском смысле, тесно примыкающем к Платоновскому принципу. Такова же особенность *вершин* русской культуры. В искусстве это Толстой, в области чистой мысли Герцен, «наш дорогой Герцен», как называл его автор «Войны и Мира» в письме к Стасову (кстати, кажется, Толстой ни об одном писателе таких слов не говорил). Надеюсь, вы Герцена не отведете на том основании, что он не принадлежал к «цеху» и писал не на «профессорском жаргоне».

Л. — Никак его не отвожу, но я действительно имел в виду «мыслителей» в более узком смысле слова.

А. — Если опять-таки не в смысле одного узко-философского цеха, то я указал бы как «величайших» Лобачевского и Чебышева. У нас пишут историю русской мысли даже не упоминая об этих двух великих людях. Между тем чисто-философское значение их работ не меньше их математического значения. Владимир Соловьев всё-таки нового слова в истории мировой отвлеченной мысли не сказал. Бросили новое философское слово эти два математика...

---

[31] Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, Leipzig, стр. 339.

Л. — Нельзя требовать от философов, чтобы они занимались и математическими науками.

А. — Почему же собственно нельзя?.. Но они тоже принадлежат к другому цеху... Не из цеха и те философы, которые подтверждают вашу точку зрения. Как вы, вероятно,догадываетесь, первый из них Константин Леонтьев. Я его не люблю и едва ли кто-либо *любит* его. Но не могу отрицать, что он был один из самых оригинальных русских мыслителей девятнадцатого века.

Л. — Вы имеете в виду его политические предсказания, которые высоко ставил Бердяев?

А. — Нет. Политические предсказания хороши, когда они совершенно конкретны. Конкретно было предсказание, сделанное за несколько месяцев до первой мировой войны бывшим министром Дурново, и я это предсказание считаю лучшим из всех мне известных, да и, прямо скажу, гениальным: он предсказал не только войну (что было бы нетрудно), но совершенно точно и подробно предсказал всю конфигурацию в ней больших и малых держав, предсказал ее ход, предсказал ее исход. Предсказывать же в очень общей форме, как это делали столь многие известные люди, приводящие своими пророчествами в восторг потомство, — это заслуга не большая. Таково предсказание Лермонтовское: «Настанет год, России черный год, — Когда царей корона упадет, — Забудет чернь к ним прежнюю любовь, — И пища многих будет смерть и кровь»... Конечно, оно сбылось. Но что же оно собственно значило? Ничто не вечно, не вечна и корона царей. После французской революции, после восстания декабристов, нетрудно было делать такие предсказания. Правда, Лермонтову было, помнится, лет шестнадцать, когда он написал эти стихи... Предсказания Леонтьева, если о них вообще можно говорить, носили слишком общий характер: будет уравниловка, будет ре-

волюция, будет кровь. В смысле узкой политической эсхатологии: ни один государственный организм в истории не прожил более тысячи двухсот лет, значит подходит к концу и западно-европейский мир, Франция, Англия, Германия[32]. Что же еще? Тот приятный крепостникам вздор, который он говорил о «разрушительно-эмансипированном процессе» в России[33]? Или же «Конец петровской Руси близок. И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв»[34]? Или предстоящее «вступление русских войск в Царьград» и не «с обще-эгалитарностью в сердце и уме», а «именно в той *шапке-мурмолке,* над которой так глупо смеялись наши западники»[35]? Или то, что в случае русско-германской войны Россия и Германия пожертвуют слабейшими союзниками, т. е. Францией и Австрией? В этом последнем предсказании он, кстати сказать, сходился с Энгельсом, от чего верно пришел бы в совершенный ужас. Да чего он собственно в политике хотел? Говорил, что воевать с Австрией желательно, но разрушать ее — избави нас, Боже, ибо она «драгоценный нам карантин от чехов и других уже слишком европейских славян». Что он для России предвидел? Ей, по его словам, «предстоят две дороги — обе безповоротно европейские — или путь подчинения папству и потом в союзе с ним борьба на жизнь и смерть с антихристом демократии, или же путь этой самой демократии ко всеобщему безверию и убийственному равенству»... По правде сказать, политик Леонтьев был никакой. Еслиб этот необыкновенно одарен-

---

[32] К. Леонтьев, *Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения,* Собрание сочинений, т. VI, стр. 67.

[33] К. Леонтьев, *Племенная политика, как орудие всемирной революции.*

[34] К. Леонтьев, *Средний европеец,* Собрание сочинений, т. VI, стр. 79.

[35] К. Леонтьев, там же, стр. 77.

ный человек был *только* политиком, то и быть бы ему всю жизнь консулом в балканской глуши. Мне даже не очень понятно, что именно его к политике влекло? Вот как, по-моему, не очень к нему идет, что он, при своем антигуманизме, был врачом... Знаю, что некоторые историки русской мысли теперь смотрят на Леонтьева иначе, но я всё же думаю, что в основе его миропонимания или, точнее, мироощущения, лежит одно «чувство красоты», своеобразное и очень тонкое. Кое-чем, — мне трудно было бы определить точно, чем именно — он напоминает мне П. П. Муратова, который, будучи штатским человеком, писал о военных вопросах так же много и с такой же любовью, как Леонтьев писал о внешней политике...

Л. — Значит, вы этого ушедшего в монастырь человека считаете «антигуманистом» или даже «аморалистом»?

А. — Таким его до недавнего времени, кажется, считали все. Я так далеко не иду... Не люблю опошленного слова «эстет», назовем Леонтьева «эстетиком», благо он сам нередко употребляет это слово. Но к «добру» у него в самом деле особенной любви не было. Да, он находил, что «поэзию изящной безнравственности» может вытравить «поэзия религии». Значит, тоже «поэзия»? И вытравила ли у него самого? Противоречивое миропонимание этого сложного человека менялось, правда, часто. Он одобрительно повторял слова Каруса, что в известные годы «man wird sich selbst historisch». Леонтьев даже этим злоупотреблял, как несколько злоупотреблял и словесной водой: еслиб выжать полное собрание его сочинений, остались бы том или два ценнейших и тончайших замечаний. В эсхатологии же «эстетика» он был гораздо более прав, чем в чем бы то ни было другом. Действительно, в недифференцированном обществе искусство может ждать печальная участь. Советская беллетристика это достаточно доказывает (независимо от гнета большевистской

цензуры). Очень тонко говорил он, что в быту южных славян «Анна Каренина» была бы просто невозможна. О Леонтьеве лучше всего судить не по существу его доктрины, а по разным отрывочным замечаниям. В своих воспоминаниях он говорит, что перед первой встречей с Тургеневым (тот его «открыл») он «ужасно боялся встретить человека *не годного в герои* (его курсив), некрасивого, скромного, небогатого, одним словом жалкого труженика, которых вид *и тогда уже* (курсив мой) прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки, и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом»[36]. Насчет демократии это тоже сказано для красоты слога. Много цитат можно было бы привести из Леонтьева в доказательство того, что «его идеал позади», — в темной дали. Не привожу их потому, что это было бы всё-таки не вполне верно: не сомневаюсь, что еслиб он жил при Петре I, в период безграничного самовластья, он возненавидел бы и Петра, как ненавидел бы и любой другой строй, — вот же при Николае Павловиче считал себя «крайним демократом». Он сам себя где-то называет «человеком, с которого только что сняли кожу». Он ушел в монастырь и считал себя глубоким знатоком русского монашества. Говорю «считал себя», так как он и тут высказывал мысли странные и необычные. Он не раз издевался над христианством Достоевского. «Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. отцов и старцев Афонских и Оптинских»[37]. Говорил, что «творчество Зола в этом случае гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сантиментальное сочинительство Достоевского

---

[36] К. Леонтьев, *Мои дела с Тургеневым,* Собрание сочинений, т. IX, стр. 77.

[37] К. Леонтьев. *Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе,* Собрание сочинений, т. IX, стр. 13.

в «Братьях Карамазовых»[38]. — Зола! То есть, воплощение вольнодумного «мещанства» (в Леонтьевском и Герценовском смысле этого слова). Я думаю, никакие нападки со стороны Верховенских или Ракитиных не могли бы оскорбить Достоевского больше, чем эти пренебрежительные замечания — со стороны Константина Леонтьева. Так же пренебрежительно он говорил о Толстом, «который кощунственно зовет себя христианином»[39]... Не всегда помогала ему и эстетика: не обо всем можно было судить исходя из ненависти к «жизни пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака». Однако его положение было легче, чем у Герцена. Для него, как для чистого «эстетика», мещанство было в нивелляции быта, а она означала гибель искусства. Кроме того, Герцену в его ненависти к «juste milieu» всё-таки создавал затруднение его социализм, ибо социалисты, как сказал Прудон (и повторил Леонтьев), должны покинуть нынешнее либерально-консервативное juste milieu во имя будущего juste milieu социалистического. «Будь теперь крайним, чтобы позднее стать средним»... Леонтьев же хоть к обоим juste milieu мог относиться совершенно одинаково,. Он где-то говорит, что правды нигде нет, не было и *не будет*. Он признавал Каткова гениальным человеком... Нет, он вне русской традиции. Леонтьев в русской культуре — первое из трех исключений, выгодных для вас для защиты вашей позиции в споре.

Л. — А два другие?

А. — Федоров и Розанов. И еслиб я не боялся схем, всегда всё огрубляющих, я сказал бы: Леонтьев из Платоновского принципа фактически так или иначе принял только «красоту», Федоров принял только «добро», а Ро-

---

[38] К. Леонтьев, там же, стр. 17.

[39] К. Леонтьев, *Записки отшельника,* Собрание сочинений, т. VI, стр. 137.

занов не принял ни того, ни другого. Мне трудно говорить о Федорове, так как его основное учение я понимаю еще гораздо меньше, чем страницы об Андрогинизме у Соловьева. Федоров и в мировой литературе совершенно ни на кого не похож, хотя бы и отдаленно, — случай, можно сказать, единственный. Скажу больше: он ненавидел традиции европейской мысли. Гегель, любимец русских философов и философствующих писателей, как «левых», так и «правых», был для него поистине bête noire. В отношении к Гегелю у этого подлинного праведника появляется и нечто похожее на личную ненависть. Он пишет: «Гегель, можно сказать, родился в мундире. Его предки были чиновники в мундирах, чиновники в рясах, чиновники без мундиров — учителя, а отчасти, хотя и ремесленники, но, тоже, цеховые. Всё это отразилось на его философии, особенно на бездушнейшей «Философии Духа», раньше же всего на его учении о праве. Называть конституционное государство «Богом» мог только тот, кто был чиновником от утробы матери. Нельзя читать без глубочайшего отвращения определения его «Логики» или «Феноменологии», если переложить в них живые, конкретные»[40]... Не думаю, чтобы позволительно было такими доводами отмахиваться от грандиозной системы, сыгравшей огромную роль в мировой истории мысли. Еще хуже было его отношение к другому, более позднему, западному любимцу философской или философствующей России: «Amor fati», — говорит Федоров, — «это формула величайшего унижения, падения человека ниже зверя, ниже скота, *ниже самого Ницше*»![41] Было ли тут что-то от избытка национализма или от нелюбви к немцам? Ни в малейшей степени. Федоров собственно ненавидел и русскую литературу: «Так на-

---

[40] К. Ф. Федоров, *Философия общего дела*, Москва, 1906-13, т. II, стр. 87.

[41] Там же, т. II, стр. 162.

зываемая русская литература, называющая наше царство темным, наши города «Глуповыми» и т. п., не есть ли только «Россика», т. е. сочинение иностранцев о России, а не подлинных сынов русского народа»[42]. Вы скажете, он имел в виду лишь обличительную литературу Щедринского образца и ненавидел ее, как «подлинный сын», из любви к старым устоям. Тоже ни в малейшей степени. Он и Гоголя, и Толстого, и даже «светлого» Пушкина, никак не обличителя, считал — правда, лишь «в некоторых отношениях» (спасибо и на этом) — «иностранцами, пишущими о России» (как он Ницше почему-то считал «русским, пишущим о Германии и вообще о западе»). Что ж делать, у них не всё «добро», есть и «красота». Тут уместно было бы вспомнить те замечательные слова Нила Сорского, которые я вам уже приводил: «И доброе на злобу бывает ради безвременства и *безмерия*». Я знаю, Федоров был замечательный человек, истинный подвижник, приближавшийся по человеческому типу к Нилу Сорскому. Вероятно, именно этим он производил огромное впечатление на людей, даже на Льва Толстого, который гордился тем, что живет в одну эпоху с Федоровым. Но всё-таки к чему всё это Федорова привело? Не касаюсь его критики Апокалипсиса, которую Бердяев считает гениальной. Всё же главное в его философии это теория воскрешения мертвых. Бердяев ее обходит молчанием и мягко замечает, что в ней «есть, конечно, элемент фантастический». Действительно, есть. Позвольте вам напомнить: «Радикальное разрешение санитарного вопроса состоит в возвращении разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали... Таким образом, вопрос санитарный, как и продовольственный, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознательный процесс рождения и питания, в действие, во всеобщее воскрешенье, человечество через

[42] Там же, т. II, стр. 396.

воссозданные поколения делает все миры средствами существования... С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от всеобщей смертности, явившейся, как случайность, от невежества, следовательно от бессилия, и чрез наследство сделавшейся врожденною, эпидемической болезнью, перед которой все прочие эпидемии могут считаться спорадическими болезнями. Смертность сделалась всеобщим органическим пороком, уродством, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. Смерть некоторые философы не хотят признать даже злом на том основании, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувств, смысла; но в таком случае и всякое отупение, безумие, идиотство нужно исключить из области зла, а чувство и разум не считать благом»[43]. Повторяю, не могу понять. И достаточно прочесть его произведение, чтобы исключить возможность какого-либо фигурального или символического толкования его мыслей о «воскрешении». Нет, он своему учению придавал смысл буквальный. В этом «санитарном» подходе к бессмертию есть и довольно грубый материализм. Нам, конечно, было бы здесь бесполезно возвращаться к сопоставлению «Intellige ut credas» и «Crede ut intelliges». Этот спор не был закончен, конечно, и знаменитыми возражениями Джона Стюарта Милля Виллиаму Гамильтону, со всеми разбиравшимися Миллем примерами, вплоть до несколько наивного «мы *знаем,* что мы существуем, что существует наш дом, наш сад в тот момент, когда мы на них смотрим, и мы *верим,* что существуют русский царь и остров Цейлон»[44]. Но ни к одному варианту мнений, высказанных в этом вековом споре, учение Федорова не относится. Разве только к

---

[43] К. Ф. Федоров, *Философия общего дела,* Москва, 1906-13, т. II, стр. 277-8.

[44] John Stuart Mill, *La Philosophie de Hamilton,* французский перевод Козелля, Париж, 1869 г., стр. 74.

«credo quia absurdum»? Или вы это положение считаете русской идеей?

Л. — Я никак не ставлю себе задачей защищать Федоровское учение о воскрешении мертвых. Всё же напомню вам страницу о «прахе» в главе о смерти у Шопенгауера: «прах» живет и будет жить, вечно меняя форму[45]. Вы не станете говорить, что и у Шопенгауера «credo quia absurdum»?

А. — Не стану, потому что у него этого нет и в помине; он не «воскрешает» праха, т. е. не обращает его в прежнее человеческое существо, — он говорит о дальнейших вечных превращениях разлагающейся материи. Не скажу, чтобы эта глава гениальной книги была особенно утешительна, да Шопенгауер, как вы знаете, никогда особенно и не старался утешать человечество. Федоров же верно пытался утешить нас — и особенно себя. Но уж, конечно, его учение еще гораздо менее утешительно, чем эти незабываемые шопенгауеровские страницы.

Л. — Вы упрощаете учение Федорова и, главное, берете в нем не самое ценное. Но даже в мысли о «санитарном» воскрешении людей есть доброе зерно. Он выражал ее словами, что природу в ее нынешнем виде нельзя признавать созданьем Бога, поскольку в ней божественные предначертания либо не выполнены, либо искажены. Федоров это приписывал частью незнанию, частью безнравственности людей. С первой частью утверждения — в другой словесной оболочке — согласились бы и Пастер, и Ньютон. Он был не так неправ, говоря в данном случае и о безнравственности. На те миллиарды долларов, которых стоят атомные бомбы и всё с ними сходное, можно было бы кое-что в природе и «переделать»... Но

---

[45] *Die Welt als Wille und Vorstellung,* Leipzig, т. II, гл. 41, стр. 1251-2.

уж во всяком случае вы должны признать, что и Леонтьев, и Федоров могут считаться доказательствами безкрайности русских идей.

А. — Да ведь я и говорю вам, что они составляют в истории русских идей исключение. Третье исключение: Розанов. Как и Леонтьев и в отличие от Федорова, он был очень одаренный *писатель*. Этим, конечно, а не своими философскими сужденьями, он завоевал русскую критику или во всяком случае значительную ее часть. Как ни смешно сравнивать его с Паскалем (а это сравнение было сделано очень авторитетным человеком), талант у него был большой. С ним однако вышло недоразумение, продолжавшееся приблизительно полстолетия. У Розанова были поклонники и в либеральном лагере. Всё же кумиром он был преимущественно для людей консервативных взглядов. Он писал и в «Русском Слове», но главные его читатели были в «Новом Времени»: завоевал консервативную Россию Розанов, а не Варварин (как вы помните, под этим псевдонимом он писал в либеральной газете). И ее кумиром оказался — совершенный нигилист. Иначе я не могу назвать автора «Апокалипсиса нашего времени». Живя в Сергиевском Посаде, он написал богохульную книгу! С В. С. Печериным, автором «Замогильных Записок», случилось в *этом* отношении нечто сходное: он, став католиком, пробыв двадцать лет монахом, писал: «Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, и теперь издыхает от старческого изнеможения». Но о нем я говорить не хочу и не только потому, что он так смело и безцеремонно похоронил христианство: Печерин вообще вне русской культуры, и писал он немного, и нигилистом он всё-таки не был. Но я рад тому, что оба они, столь друг на друга непохожие, сами себя, каждый по своему, исключили из русской философской традиции.

Л. — Да можете ли вы вообще говорить о русской *философской* традиции, если вы говорите, что философских систем у нас в девятнадцатом веке не было?

А. — Это говорю не я, я сослался на чужое мнение. Но тот же о. Зеньковский замечает, например, что П. Л. Лавров почти был «на пороге создания системы». Это верно. Русская субъективная школа *была* философской системой. Я, впрочем, считал бы ее создателями не Лаврова, а Герцена и Михайловского. Она на западе почти неизвестна. С ней произошло то же, что с Константином Леонтьевым. Ницше ведь в самом деле «вышел» из него, хотя и не подозревал верно об его существовании. Русская субъективная школа предвосхитила главное в учении Риккерта. Это у нас говорилось. Но не говорилось, что она предвосхитила и главное в *нынешнем* экзистенциализме, по крайней мере в его Сартровском подразделе. Сартр просто повторил зады русской субъективной школы (тоже, разумеется, никогда о ней не слышав). Чтобы не быть голословным приведу — в подлиннике, для точности и в виду крайней трудности перевода — лишь один отрывок: «L'homme est possesseur d'une nature humaine, cette nature humaine, qui est le concept humain, se retrouve chez tous les hommes, ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel, l'homme; chez Kant, il résulte de cette universalité que l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois, sont astreints à la même définition et possèdent les mêmes qualités de base. Ainsi, là encore l'essence d'homme précède cette existence historique que nous rencontrons dans la nature. L'existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare qui si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et que cet être c'est l'homme ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela

signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est par définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour le concevoir. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence; l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme... Subjectivisme veut dire d'une part choix du sujet individuel par lui-même, et, d'autre part, impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine. C'est le second sens qui est le sens profond de l'existentialisme. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit, mais par là nous voulons dire aussi qu'en se choisissant il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal; ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous»[46]. Отбросим последнюю мысль, несколько неожиданную и весьма «крайнюю», — Сартр мог бы перечесть тут «Записки из Подполья»...

Л. — Или хотя бы свои собственные романы, где действующие лица неизменно «выбирают зло», а не добро.

А. — Но что, если именно отбросить «nous ne pouvous jamais choisir le mal», возвращающее нас даже не к «Критике Практического Разума», а к добрым старым утили-

---

[46] Sartre, *L'Existentialisme est un humanisme*, Paris, 1946, pp. 20-26.

таристам, которые и не подозревали, что они — экзистенциалисты? Ведь Михайловский говорил, без упора на атеизм, почти дословно то же самое. Вы скажете, что у обоих учений есть общие корни. Не думаю. Едва ли Михайловский читал Киркегардта, и вдобавок Сартровский оттенок *французского* экзистенциализма с Киркегардтом связан мало, а католический экзистенциализм Габриеля Марселя имеет гораздо меньше общего с русской субъективной школой... Нам пора закончить эту «прогулку по садам русской философии». Я ничего не сказал о Хомякове, о Киреевском, о Милюкове, о Новгородцеве, о Трубецких. Их учения входят в ту русскую традицию, о которой я говорил, или по крайней мере никак ей не противоречат. Но уж во всяком случае субъективная школа густо окрашена Платоновской идеей и ровно никаких бескрайностей и безмерностей в себе не заключает... Да и как к людям, оба эти положения в достаточной мере относятся к Герцену, Лаврову, Михайловскому.

Л. — Вы упустили не одних только названных вами лиц. Вы ничего не сказали, например, о Ткачеве. Вероятно, вы считаете его *только* последователем Бланки, над гробом которого он сказал речь? Но уж Бакунин и даже Кропоткин были настоящие *творческие* умы, — между тем я у них вижу настоящую «безмерность». Вообще лучше было бы говорить не о том, чего *нет* в русской культуре, а о том, что в ней *есть*. Не скрою, мне ваши три идеи кажутся несколько натянутыми. И я не вижу, где именно идея красоты-добра перекрещивается с идеей Случая или Судьбы?

А. — Я не повторял в этой нашей беседе того, что говорил прежде. К сказанному я лишь добавлю, что русское искусство выше всего там, где оно не гоняется за искусственной «самобытностью», — очень это легкая и дешевая штука. Пушкин, Толстой, Чайковский, создате-

ли Смольного монастыря и Казанского собора в Петербурге не боялись сочетания русского искусства с западным... В заключение же нашей беседы хочу остановиться — и тут уж не кратко, а более подробно — на одном замечательном русском художественном создании, в котором именно скрещиваются все «три идеи».

Л. — Что же это такое?

А. — Это «Пиковая Дама» Пушкина-Чайковского. Как видите, я тут называю имена *двух* великих русских художников. Делаю оговорку. Чайковский никак не был знатоком литературы. Как впрочем и большинство русских композиторов, а может быть и композиторов вообще, он не всегда выбирал для своей музыки лучшие литературные произведения. Для романсов иногда и вообще не выбирал стихов, а просил вместо него делать это госпожу фон Мекк. Безграмотное либретто «Пиковой Дамы» показалось ему очень хорошим[47]. Что ж делать? Наше *общее* понятие искусства в значительной мере фиктивно. Люди одного из его родов нередко ничего не понимают в другом, тем более, что каждое искусство более или менее герметично и требует для суждения долгой подготовки и даже работы в нем. Так, например, Врубель, любивший высказываться о литературе, считал «Анну Каренину» второстепенным романом! Согласно его другому замечанию, «Война и мир» потому нравится читателям, что в ней хорошо описана барская обстановка, — все графы и князья[48]. Всё же операция, произведенная братьями Чайковскими над пушкинской повестью, поразительна. У Пушкина действие «Пиковой Дамы» происходит в девятнадцатом столетии, — Томский ведь говорит о Германне: «У него профиль Наполеона и душа

---

[47] М. Чайковский, *Жизнь П. И. Чайковского,* Москва, т. III, стр. 344.

[48] А. Врубель, *Биография,* «Искусство», 1910 г., стр. 323.

Мефистофеля». Чайковские перенесли повесть в царствование Екатерины II — и вставили романс, в котором старая графиня вспоминает свою молодость, свою встречу с госпожей Помпадур! В повести граф Сен-Жермен («лет шестьдесят тому назад», по словам Томского) *мог* открыть юной графине свой секрет. В либретто же и тут вышла совершенная хронологическая бессмыслица. А добавленные либретистами действующие лица, этот специально для арии приделанный князь Елецкий, страстно влюбленный в Лизу! (у Пушкина ее особенность именно в том, что никто из мужчин ее общества на нее и смотреть не хочет). А присочиненный для двух арий, нелепый финал, с двумя самоубийствами, на которые у Пушкина и намека нет! Мы часто возмущаемся холливудскими людьми, искажающими литературные шедевры. Однако величайший русский композитор поступил ничуть не лучше с величайшим руссским поэтом. Он и сам присочинял стихи к пушкинскому тексту! И несмотря на всё это, Чайковский почувствовал «Пиковую Даму» изумительно. Вспомните слова Бетховена: «Музыка — высшее откровение всей мудрости и философии». Тут же было поистине «высшее откровение», — всё другое теряет значение. Необыкновенная музыка не только верно передает смысл необыкновенной повести, но еще увеличивает ее глубину. Пушкин и Чайковский здесь навсегда слились. Чайковский написал свою оперу очень быстро, в том состоянии, которое называется «трансом». Много пил: «Вечером страшно пьянствовал», — пишет он в дневнике[49], подчеркивая слово «страшно». И без конца лил слезы: «Ужасно плакал»... Он говорит сильные слова: «Приходил в некоторый азарт»... «Я и вдохновение испытываю до безумия»... «Сегодня писал сцену, когда Германн к старухе приходит. Так было страшно, что я до сих пор под впечатлением ужаса»... Чайковский считал эту оперу

---

[49] *Дневники П. И. Чайковского,* Москва, 1923 г., стр. 255, 251.

своим лучшим произведением. Писал брату: «Или я ужасно ошибаюсь, или «Пиковая Дама» в самом деле шедевр»... «Я испытывал в некоторых местах, например в 4-ой картине, такой и ужас и потрясение, что не может быть, чтобы слушатели не ощущали хоть части того же»[50].

Л. — Я очень люблю и повесть Пушкина, и оперу Чайковского. Но не преувеличиваете ли вы их значения и нет ли у вас умышленного желания ими чрезмерно восторгаться? Это нередко бывает с критиками и очень им вредит; они поддаются гипнозу имен. Напомню вам довольно пренебрежительные слова Римского-Корсакова: «Наклонность к итальянско-французской музыке времен париков и фижм, занесенная Чайковским в его «Пиковой Даме»[51]... Пушкинский же рассказ всё-таки небольшая вещь.

А. — Я себя проверял и не думаю, чтобы тут поддавался гипнозу. Лев Толстой, достаточно компетентный судья, говорил незадолго до своей смерти об этой небольшой вещи: «Так уверенно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!». В самом деле, по уверенности, сжатости и силе есть мало произведений в прозе, равных этой повести. Из ее сюжета легко можно было сделать длинный роман; Пушкин сделал короткий рассказ. К сожалению, пушкинисты, кажется, точно не установили, *как* именно писалась «Пиковая Дама». Думаю, что она, как и опера Чайковского, была написана сразу, быстро; об этом, быть может, свидетельствуют и две-три мелких погрешности, выделяющиеся и режущие в удивительном языке этого шедевра. При длительной отделке, Пушкин едва ли бы говорил о

---

[50] М. Чайковский, *Жизнь П. И. Чайковского,* Москва, стр. 349.

[51] Н. А. Римский-Корсаков, *Летопись моей жизни,* Москва, 1928, стр. 304.

«суетных увеселениях» петербургского света, он не сказал бы: «Германн трепетал как тигр», — ему не свойственны были ни банальные слова, ни фальшивые образы. Это, конечно, мелочи. С самого начала, короткие, даже по звуку мрачные, фразы «Пиковой Дамы» готовят к чему-то очень значительному: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно»... Так же написана и последняя глава в игорном доме: «В следующий вечер Германн опять появился у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной... Германн стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но всё улыбающегося Чекалинского... Это похоже было на поединок»... Удивительно и в чисто-словесном смысле, без восторга читать нельзя. У нас Пушкин положил начало *всему,* всем видам поэзии и прозы. Так и здесь. Достоевский сказал: «Мы все вышли из гоголевской «Шинели». С большим правом он мог бы сказать: «Мы вышли из «Пиковой Дамы». Несмотря на краткость рассказа, в нем все люди живые. Живой даже Томский, которому едва ли отводятся две страницы, живой Чекалинский, — ему отведено несколько строк. Живая и Лизавета Ивановна, прообраз Сони «Войны и Мира». Из старой графини Анны Федотовны вышли чуть не все брюзжащие, капризные старухи русской литературы. А что сказать о самом Германне? Достоевский недаром им восхищался и называл его лицом необыкновенным. В Германне уже дан целиком Раскольников. Собственно и идея та же. Оба идут на преступление ради денег, но сами по себе деньги им и не нужны; это самообман, если не обман-просто. Раскольников строит на Наполеоне свою философию. Пушкин не случайно два раза подчеркивает физическое сходство Германна с Наполеоном. И он, и Раскольников гордецы и честолюбцы. Но как они предполагают удо-

влетворить свое честолюбие, — непонятно. Чем же они стали бы, еслиб разбогатели? Их проблематическое богатство никак честолюбия удовлетворить не могло бы. Раскольников не ждал, конечно, у мелкой ростовщицы больших денег. Три карты в случае удачи могли бы дать Германну двести восемьдесят две тысячи. Столь скромным состоянием честолюбия не насытишь, а для обыкновенной карьеры было достаточно и того, что у него было перед началом игры. Что же дал бы ему выигрыш? Что дали бы Раскольникову нищенские «драгоценности» старухи? В какие Наполеоны он мог бы с ними выйти! В «Пиковой Даме» всё вообще непонятно и таинственно, начиная с мелочей. Был ли Чекалинский шулером? Он «провел весь век за картами»... «Долговременная *опытность* заслужила ему доверенность товарищей»... Понимай как знаешь. Точно так же и автор «Войны и Мира» не сказал, шулер ли Долохов. Сообщено только, что Долохов «употреблял для игры» бывшего приказного Хвостикова, — тоже понимай как знаешь, хотя и немного яснее, чем у Пушкина. Кстати, и в приемах обоих игроков сходство иногда доходит до повторения выражений. Чекалинский говорит Германну: «С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». То же самое говорит Долохов: «Господа, прошу класть деньги на карты». Один из игроков сказал, что, он надеется, что ему можно поверить. — «Поверить можно, но боюсь спутаться, прошу класть деньги на карты», — отвечал Долохов. Это тоже мелочи: не всё ли равно, честно ли играл Чекалинский? Но в «Пиковой Даме» тщательно скрыто и «главное». Любил ли Германн Лизавету Ивановну или нет? Как будто не любил, — сама Лизавета Ивановна пришла к мысли, что «всё это было не любовь! Деньги — вот чего алкала его душа!». Однако о Германне же сказано, что его письма к бедной барышне «уже не были переведены с немецкого. Германн

их писал вдохновенный страстью». Какой именно страстью, только ли страстью к игре, — не указывается. Не вполне ясно даже и то, влюблена ли в Германна Лиза. Она очень быстро успокоилась после драмы и вышла замуж. Да не разъясняется и самый сюжет повести: был ли секрет у старой графини, или же весь рассказ о Сен-Жермене — сплетня? Всё непонятно и таинственно. Зачем эти эпиграфы к главам, неизвестно у кого взятые (только под одним подпись — и какая: Сведенборг!). В своей повести «светлый» Пушкин устроил какой-то почти незаметный общий погром. Все хороши! Не остановился и перед людьми церкви. Над телом старой, выжившей из ума, всем осточертевшей, всех угнетавшей развратницы архиерей «произнес надгробное слово». В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующей в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Пушкин незаметно иронизирует и над читателями. «Заключение» он пишет так, как и до него, и после него писались десятки повестей: «Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние»... «Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине»... И уж совершенное (только противоположное) издевательство над читателями в словах о том, что благодаря новейшим романам Германн «это уже пошлое лицо»! Ни в каких «новейших романах» такого «пошлого лица» не было. Германн лицо новое и, конечно, во многих отношениях необыкновенное, воплощающее огненное воображение в сочетании с навязчивой идеей. Об этом вскользь говорит и сам Пушкин: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как и два тела не могут в физическом ми-

ре занимать одно и то же место»... Во имя чего же ирония, вообще Пушкину мало свойственная?

Л. — Вы хотите сказать: во имя Платоновского принципа?

А. — Смысл повести в пересечении этой идеи с идеей случая. Ни мудрости, ни красоты, ни добра не было. Тем не менее всё как будто шло превосходно. Германн секрет старой графини узнал, сорок семь тысяч выиграл в первый день. Девяносто четыре тысячи выиграл во второй день. Но вот на третий день «обдернулся»: вместо туза положил все деньги на пиковую даму. Случай! И как изумительно это вышло у Чайковского! Разумеется, я не смею спорить с Римским-Корсаковым. Но, он, во-первых, был современником и «собратом», т. е. соперником по любви публики, — к несчастью, отношения между большими людьми в искусстве, современниками или представителями смежных поколений, почти неизменно напоминают отношение госпожи Монтеспан к г-же Мэнтэнон, сменившей ее в милостях Людовика XIV. А во-вторых, автор «Снегурочки» и «Садко», при всём своем таланте, был не очень глубоким «философом». Он ни в чем не сомневался: Стасов всё объяснил... Музыкальная философия «Пиковой Дамы» посложнее и «Града-Китежа». Какая тут «итальянщина»! Я не пойду вслед за талантливым историком оперы, который усмотрел в сцене в спальной графини ее мистическое венчание с Германном. Не могу согласиться и с теми, кто считает эту оперу венцом религиозной музыки Чайковского. Не знаю даже, был ли он по-настоящему верующим человеком. Возможно, что не был, — тогда с большой горечью, как все неглупые и не слишком поверхностные атеисты. Но скорее, по-своему, верующим человеком был. Великий князь Константин Константинович предложил ему написать «Реквием». Чайковский отказался и ответил интересным и даже замечательным письмом: «В

«Requiem» много говорится о Боге-судье, Боге-карателе, Боге-мстителе. Простите, Ваше Высочество, — но осмелюсь намекнуть, что в такого Бога я не верю, или, по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед Создателем и источником всякого блага, — которые вдохновили бы меня. Я с величайшим восторгом попытался бы, еслиб это было возможно положить на музыку некоторые евангельские тексты. — Например, сколько раз я мечтал об иллюстрировании музыкой слов Христа: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные» и потом «Ибо иго мое сладко и бремя мое легко». Сколько в этих чудных простых словах бесконечной любви и жалости к человеку! Какая бесконечная поэзия в этом, можно сказать, страстном стремлении осушить слезы горести и облегчить муки страдающего человечества»...[52]

Л. — Это деизм Толстовского оттенка. Чайковский боготворил романы Толстого, хоть в человеке Льве Николаевиче несколько разочаровался. Повидимому, и Толстой необычайно любил его музыку. Он писал Чайковскому в 1867 году: «Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер». Это едва ли было простым комплиментом после прослушанной им музыки Чайковского. Уж скорее комплиментом могло быть то, что молодой Чехов послал композитору свои «Рассказы» с надписью «Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста»[53]... Кстати, надеюсь, вы не защищаете шаблонную параллель, родство душ: Чайковский-Чехов-Левитан»?

А. — Нет, никак не защищаю. Не знаю даже, на что у Чехова, если не считать «Черного монаха», Чайков-

---

[52] М. Чайковский, *Жизнь П. И. Чайковского,* Москва, т. III, стр. 637.

[53] *«Пиковая Дама», к 45-летию постановки в Мариинском театре,* Ленинград, 1935 г., стр. 41.

ский мог бы написать музыку? Он предпочитал напряженные драматические сюжеты, души, начиненные динамитом. Верно этим его и увлек Германн. Вы слишком любите точные определения: «деизм Толстовского оттенка». Это не совсем так. Конечно, Лев Николаевич не ради комплимента написал Чайковскому то, что вы процитировали. Но и у него сродства душ с Чайковским быть не могло: Толстой для этого слишком страстно любил жизнь... Возвращаюсь к «Пиковой Даме». Из ее трех лейт-мотивов, разумеется, лейт-мотивы Германна и трех карт важнее лейт-мотива старой графини. За что собственно мог Германна карать Чайковский? Тут Толстой ни при чем. Для автора «Войны и Мира» Германн был бы просто авантюрист, играющий наверняка, т. е. шулерски, человек много хуже, например, Долохова, который хоть не занимался шантажем при помощи пистолета. Чайковский, как и Пушкин, «не любит» Германна. В самом деле за что же его «любить»? Но это человек, «вступивший в борьбу с Судьбой». Тема огромная и соблазнительная. У обоих художников Германн карается. Чайковский, быть может, даже усиливает кару по сравнению с Пушкиным. Только этим можно было бы объяснить (хотя и плохо) то, что композитор согласился на глупый финал, предложенный его братом.

Л. — Действительно объяснение плохое и весьма натянутое. Чайковский просто принял более сценический финал.

А. — Не знаю и не настаиваю, но, мне кажется, финал в доме умалишенных был бы и сценичнее, и в музыкальном отношении благодарнее; он и продлил бы тему галлюцинаций пятой картины.

Л. — Думаю, что он не доставил бы вам идейного удовлетворения: какие же «красота» и «добро» в сумасшествии!

А. — Да ведь Германн, по самому замыслу, отрицание Платоновской идеи, влекущее за собой «кару». Красота и добро в пасторали, в чудесной второй картине, отчасти и в первой, в любви...

Л. — Которой, однако, как вы только что сказали, нет!

А. — Я этого не говорил: у Пушкина, повторяю, всё оставлено под сомнением; у Чайковского дана расстроенная душа Германна: любовь, золото, три карты. Со стороны же Лизы — быть может, всё-таки чистая любовь. И у художника нежность к лучшему из того, что было в старом ушедшем мире, то самое, что и в «Войне и Мире» так прельщает и волнует даже людей, не слишком этот старый мир любящих: чистое волшебство гения.

Л. — Да ведь это и есть «фижмы и парики».

А. — Конечно, это не так «красочно», как, например, песнь индийского гостя, которую я слышать не могу: так она и мне, как Освальду Ситвеллу, надоела по исполнению в ресторанах... Не автору «Садко» и «Снегурочки» было попрекать Чайковского и идеализацией старины... В «Пиковой Даме» покараны люди, безбожно нарушавшие заповедь красоты-добра: Германн и старуха. Но они *могли бы* быть и не покараны. Случай, торжество Случая, тема трех карт.

Л. — Не слишком подходящее воплощение для Платоновой идеи. Да поверьте, Чайковский ни о чём таком и не думал.

А. — Почем вы знаете? Писал же в дневнике: «Так было страшно, что я до сих пор под впечатлением ужаса»... Притом, ведь у нас сто лет существует пропись: «Художник мыслит образами».

Л. — Но уж очень произвольно вы их истолковываете. И если истолковывать так, то что же торжествует из двух тем: «добро-красота» или Случай?

А. — Обе. Случай помогает торжеству добра или, по крайней мере, каре, которую несет его отрицание. Вершина творчества Чайковского — сцена в спальне графини. В ней всё гениально, начиная с первых, страшных звуков, предвещающих, что сейчас произойдет преступление, но за ним последует и кара. Ведьма-старуха немногим лучше шантажиста, невольно становящегося убийцей. Не сдобровать обоим. А эти необыкновенные речитативы, а так удивительно вставленный чужой французский романс! Темы старости, смерти, любви, случая — самое важное, самое главное в жизни человека.

VI

ДИАЛОГ О ТРЕСТЕ МОЗГОВ

Л. — Согласно общему вашему взгляду, смысл человеческой деятельности заключается в борьбе со случаем, в ограничении его роли. Естественно, вы должны сделать из этого выводы практические, — иными словами, в значительной мере политические выводы, так как «политика есть рок наших дней». Вы должны сочетать общее ваше миропонимание с вашим демократизмом. Он, правда, в некоторых отношениях казался и кажется мне сомнительным, но сами вы утверждаете ведь, что вы демократ?

А. — Да, я демократ. Однако не слепой. В одном романе сказано: «Демократия недурной выход из нетрудных положений». Дополню: я демократ потому, что пока люди не выдумали менее плохой формы государственного устройства. Я не вижу оснований по поводу успехов демократии в последние десятилетия производить «a jubilant noise», какой по древнему ритуалу британские лорды на коронации должны производить в момент объявления монарха законным. Напротив, я вижу всё более серьезные основания искать «коррективов» к демократии.

Л. — Это «демократизм» весьма относительный. Я, напротив, демократ настоящий, убежденный и, если хотите, «абсолютный», — по вашей терминологии, вероятно, «слепой». Критикой демократии на протяжении столетий не занимался только ленивый, и не могу сказать, чтобы критика была очень убедительной или плодотворной. Тут честные, умные, искренние теоретики потерпели в общем такую же неудачу, как *практики,* т. е. диктаторы, свергавшие в своих странах свободный строй, а за-

тем заказывавшие ученым или полу-ученым наймитам разные теории для оправдания своих действий, — собственно они могли прекрасно обойтись и без всяких теорий: каждый из них всегда действовал в силу своего «индивидуального империализма», — употребляю выражение одного французского писателя. И их индивидуальный империализм обычно (хоть не всегда) кончался, говоря символически, крюком мясника на площади, как у Муссолини... Я предпочел бы, чтобы вы и тут высказались вполне определенно. Теперь во всем мире — 38-ая параллель, и каждый из нас обязан занять место по ту или по другую ее сторону...

А. — Я свое давно и прочно занял: по ту же сторону, что и вы, разумеется. Но отказываться от права критики я не могу и не хочу.

Л. — Никто от вас этого и не требует. Однако, ничего нового вы тут не скажете. Общие и частные недостатки демократического строя, государственная слабость, к которой он ведет в некоторых странах, неустойчивость парламентских правительств, шаткость коалиций и их парализующая работу роль, недостатки бесчисленных избирательных систем, не-эквивалентность между волеизъявлением народа и волеизъявлением парламента, — всё это достаточно известно. В области более отвлеченной, философской, новейший французский теоретик довольно произвольно делит критиков демократии на четыре разряда. Одни ее критикуют во имя esprit de conquête, (духа завоеваний), — таковы Ницше, Жорж Сорель, — почему-то к ним он причисляет и Пеги. Другие осуждают демократию во имя esprit sacerdotal; по учению этих критиков, лишь одна небольшая группа людей — или даже только один человек на земле — получает прямо от Бога исключительное право и обязанность руководить миром; так думали Бональд и де Местр; на этой позиции стоял когда-то и Ватикан, отвергнувший в пору французской революции идею Декларации прав

человека и гражданина. Третьи критики исходят из esprit de classe (духа класса), как Карл Маркс. И наконец, четвертые, как Моррас, руководятся esprit artistique: демократия, мол, «некрасивая» форма правления, ничего истинно-прекрасного не создающая и вдобавок исходящая из моральных труизмов... Боюсь, что к этому четвертому разряду принадлежите, с вашей метаэстетической аксиоматикой, и вы?

А. — Нисколько. Ни в малейшей мере. Эстетике в этой области решительно нечего делать. Вполне возможно, что демократия не могла бы создать Версальский дворец, Кремль, Кельнский собор. Но и диктатуры нашего столетия ничего сходного не выстроили. Они создали концентрационные лагеря и камеры для сожжения людей, и если этим руководили иногда «эстеты», то им место на виселице или в доме умалишенных. В области архитектуры, создания современных диктатур, поскольку я могу судить по фотографиям, сильно отстают от построек современных демократий. И зданию рейхсканцлерства в Берлине, и новым московским постройкам, кроме еще не законченного здания университета, всё же далеко хотя бы до Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Русскую художественную литературу времен Сталина, немецкую времен Гитлера было бы смешно и сравнивать с современной французской, американской, английской. То же самое относится к живописи и к большинству наук. Только в области музыки и математики творчество в СССР приблизительно равноценно западному. Моральные же «труизмы» демократического строя уж наверное никак не теряют и в эстетическом отношении по сравнению с чудовищными пошлостями Альфреда Розенберга и других новейших «теоретиков» диктатуры. Не очень убеждают меня и критики первых трех разрядов. Теперь в эмиграции в большой моде поносить марксизм. Психологические основания для этого, конечно, есть и даже двоякие. Во-первых, Маркс в течение большей части своей

жизни весьма недолюбливал Россию и почти всё русское, — гораздо менее благодушно, гораздо острее, грубее и даже вульгарнее, чем, например, Бокль и чем очень большая часть западной «левой» интеллигенции. «Il faut avoir l'esprit de hair ses ennemis»[1], — левая русская интеллигенция, кроме Бакунина, Герцена и некоторых их современников, этому правилу не следовала ни в отношении Маркса, ни даже в отношении Энгельса (который тут шел еще дальше, чем его друг, и вдобавок был тремя головами ниже его). Во-вторых же, в Кремле тридцать пять лет тому назад засели люди, как ни как называющие себя марксистами упорно. Правда, нынешнее новое поколение этих людей в книги Маркса, в частности, в «Капитал», вероятно, никогда и не заглядывало, — «ни при какой погоде», — с полной готовностью признавал о себе Есенин. Это, быть может, даже единственное, в чем оно сходится с некоторыми эмигрантскими ненавистниками и обличителями марксизма. Я весьма далек от марксистского учения, даже в его «меньшевистском» понимании; но будем справедливы, да и заодно отметим, что на западе, притом отнюдь не только в социалистических кругах, философия Маркса теперь более признана, более влиятельна, чем была при его жизни. Сам Трельш в своем труде уделил марксистской диалектике 57 страниц, видит в ней «einen ausserordentlich wirksamen Vorstoss des historischen Denkens in die konkrete Wirklichkeit»[2], и признает ее историческое значение огромным[3]. Между тем и западные философы, если не испытали всего того, что испытали мы в большевистское время, то во всяком случае хорошо это знают; марксистов же антибольшевистского толка они видели у власти в своих странах. Было бы невозможно, да и бесполезно, отрицать огромные ум-

---

[1] Надо иметь ум — ненавидеть своих врагов.

[2] Ernst Troelsch, *Der Historismus und seine Probleme,* Tübingen, p. 371.

[3] Там же, стр. 5.

ственные силы Маркса. «Виновен» же он преимущественно необычайной общедоступностью своего философского и социологического учения: оно дало возможность слишком большому числу людей «объяснять» слишком многое — и даже всё что угодно, вплоть, вероятно, до существования в мире сиамских близнецов. В этом, впрочем, больше, чем Маркс, «виновны» Энгельс и другие марксистские магнаты и магнатики. Но, как и у многих других больших мыслителей, у Маркса были очень серьезные внутренние противоречия, частью (хоть не всегда) относящиеся к его идеям в *разные* периоды его жизни. В его книгах и письмах можно найти и защиту, и осуждение классических принципов демократии. Всё же психология должна была уступать место логике, как ни редко и неохотно она это вообще делает. И нет логических оснований винить одну школу марксистов за преступления другой.

Л. — Во всяком случае, с октябрьской революцией обе школы, в этом смысле, так сказать, повисли в воздухе: Маркс, кажется, не говорил о том, что его последователям надо будет делать *после* прихода к власти. Его учение сводится к анализу «*до*».

А. — Допустим, можно ответить, что он оставил метод и для анализа «после». Но в этом вы правы. Самый метод, в совершенно новых условиях, оказывается еще более условным, чем прежде. Теперь гораздо труднее сказать что-либо вполне определенное, в частности и об отношениях между марксизмом и демократией. Совершенно изменилась мировая обстановка и по сравнению с той, в которой возникла критика «сацердотальная». А об «esprit de conquête», в его старом смысле, после двух небывалых в истории боен, говорить не приходится.

Л. — Тем более, что эти бойни кончились победами демократий: Соединенные Штаты устояли, хотя вели войну, сохраняя свободные учреждения, производя выборы главы государства в точно таких же условиях, как всег-

да, не вводя политической цензуры, печатая ежедневно (в отличие от диктатур) официальные сообщения враждебных штабов, — даже в те дни, когда эти сообщения были для демократий катастрофическими. Державы же с другой формой правления, по крайней мере многие из них, рухнули.

А. — Этим доводом я советовал бы вам не пользоваться. Победа в войне вообще доказывает немногое, а уж относительно преимуществ и недостатков государственного строя не доказывает почти ничего. Если демократии существуют и не захвачены большевиками, то это объясняется тем, что, по случайности, одна из них, Соединенные Штаты, самое могущественное государство в мире. Ничего не доказывает и победа западных демократий в 1918 году; без императорской России они первой мировой войны не выиграли бы. А во второй войне, право, режим Гитлера уж скорее давал ему лишний шанс на победу. Да и победили его общие силы демократий и диктатуры. Не было ничего невозможного в победе немцев... По-моему, лучше не обобщать причин побед и поражений в войнах. Даже независимо от того, что эти обобщения не принимают в расчет случая, они сами по себе слишком часто сводятся к вздору: «В 1870 году победил прусский школьный учитель»... «Сражение под Ватерлоо было выиграно на полях игр Итона»... «Вооруженный раб не может состязаться со свободным гражданином» и т. д. Вооруженные рабы Гитлера воевали ничуть не хуже свободных граждан, солдаты главных воевавших стран были грамотны приблизительно одинаково, а развиваемый Итонским крикетом спортивный дух был в этой войне ни при чем, как впрочем был ни при чем и в сражении при Ватерлоо, — это была выдумка, очень понравившаяся тем немногочисленным англичанам, которые воспитываются в Итоне. Я не пользовался бы в нашем разговоре и ссылками на успех и неуспехи демо-

кратий и диктатур в их внешней политике. В свете «заднего ума», все действия и тех, и других представляются сплошной чудовищной ошибкой. Демократии выработали нелепый Версальский договор — и его не осуществили. Они не помешали Германии вооружиться после ее краха 1918 года, а некоторые из них даже очень ей в этом помогли. Они в 1933 г. не сломили шеи Гитлеру. Они в 1918-20 гг. не помешали большевикам овладеть Россией...

Л. — Это было и не так просто.

А. — Это было и не так трудно. Кое о чем из этого мы уже гооворили. Почти во всех революциях и гражданских войнах всё всегда fifty-fifty: — может победить одна сторона, может победить и другая. Черчилль тогда стоял за посылку десятка лишних дивизий в помощь генералу Деникину. С очень большой вероятностью можно сказать, что, при крайней слабости большевиков в то время, эти десять или двадцать европейских дивизий дали бы Деникину победу, несмотря ни на какие глубокие соображения социологов...

Л. — И тогда в России установилась бы тоже диктатура, но генеральская и правая.

А. — На некоторое время, вероятно, в самом деле, установилась бы. Но уж во всяком случае эта диктатура не стремилась бы вызвать революцию во всём мире, никаких чужих стран не захватывала бы, не имела бы в них пятых колонн, не пользовалась бы нежным расположением столь многих просвещенных людей на западе. Эти просвещенные люди и помешали осуществлению идеи Черчилля. Кроме того, Ллойд Джордж признал, что отправка новых дивизий обошлась бы слишком дорого. Он сделал экономию, — одну из самых блестящих «экономий» в истории, если принять во внимание нынешний военный бюджет демократий. То же самое продолжалось и

после второй войны. Демократии тотчас разоружились, положившись на честное слово, на дружбу, на миролюбие Сталина. Они не помешали захвату Польши, Чехо-Словакии, Румынии, Болгарии, Китая. Всё это была сплошная Чемберленовщина, — только уже *после* опыта Чемберлена, над которым издеваются тринадцать лет люди, сделавшие то же самое, что он. Всё это известно. Однако такую же сплошную ошибку, подтвержденную его гибелью, представляли собой дела Гитлера. С несколько меньшей уверенностью то же можно сказать о Сталине. Еслиб он в 1939 г. стал на сторону демократий, войны, вероятно, не было бы. И уж во всяком случае он воевал бы в союзе с французской и польской армиями, и немецкие войска не дошли бы, надо думать, до Волги и до Кавказа, не разорили бы половину Европейской России. Говорю об этом лишь кратко, но было бы нетрудно показать, что диктаторы в общем оказались не умнее демократий. Будем исходить следовательно не из ошибок демократических правительств.

Л. — Из чего же? Вы не придаете решающего значения их ошибкам, вы не согласны с критикой, исходящей из четырех перечисленных вами «esprits». Что же вы вменяете в вину демократии?

А. — Я ничего не вменяю ей *в вину*. Но я констатирую, что она пришла в противоречие сама с собой. Пользуясь языком старых философов, я скажу, что в демократии есть «субстанция» и «акциденция». Демократия это, с одной стороны, свобода во всех ее видах: свобода совести, свобода мысли, свобода слова, уважение к правам человека. С другой стороны, это народное волеизъявление, — скажем упрощенно: всеобщее избирательное право. Это два кита, на которых демократия стоит издавна. В течение очень долгого времени считалось, что они неразрывно между собой связаны: где нет одного, там нет и другого. Здесь тоже молчаливо — или не молчаливо —

признавалось существование «предустановленной гармонии»: где есть выборное начало, разумеется, правильно и честно осуществляемое, там есть и свобода. Правда, уже в 19-ом веке были кое-какие печальные отклонения, — например, плебисциты, утвердившие власть обоих Наполеонов. Теоретики и поклонники демократии либо старались их замалчивать, либо, чаще, утверждали, что в этих плебисцитах выборное начало осуществлялось именно неправильно и нечестно. Теперь этот вид «предустановленной гармонии» оказался совершенно несостоятельным: киты не были родными братьями, один даже не без успеха пытался съесть другого.

Л. — Что, еслиб вы, вместо метафор, обратились к фактам?

А. — Первым зловещим фактом или, точнее, первым зловещим предзнаменованием были выборы в Российское Учредительное Собрание, происходившие в 1917 году в условиях полной свободы, на основе самого демократического в истории избирательного закона...

Л. — Нахожу очень странным, что вы решаетесь ссылаться на факт, доказывающий нечто прямо противоположное вашему утверждению: на этих выборах две трети населения России высказались за свободный строй.

А. — Это, конечно, верно. Зловещим предзнаменованием может твердо считаться лишь то, что одна треть населения России высказалась против свободного строя. Лично я — впрочем без уверенности — сказал бы, что еслиб выборы, тоже в условиях полной свободы, происходили несколькими месяцами позднее, то, по всей вероятности, большинство получили бы коммунисты: люди, жившие тогда, как я, в Петербурге, быть может, согласятся со мной, что жажда немедленного мира в народе преобладала над всеми другими чувствами. Немедленный

мир обещали одни большевики. На этом, хоть и не только на этом (об ошибках не стоит тут говорить), мы нашу трагическую партию против большевиков и проиграли. Всё же не буду настаивать: выборы в Российское Учредительное Собрание были только *предзнаменованием* факта. Затем началась гражданская война, длившаяся с переменным успехом очень долго. Она кончилась победой большевиков. Скажу убежденно, она, со всеми ошибками их противников, спасла честь России. Вели ее, как вы знаете, и правые, и левые: были армии Деникина и Колчака, были также волжская армия и армия Архангельского правительства. На западе теперь всё это очень охотно забывают, — забывают в особенности то, что только в двух странах, в России и в Испании, диктатуре было оказано долгое, упорное, героическое сопротивление. Гражданская война кончилась. Вопреки поговорке, победителей все же иногда судят. Но побежденных судят всегда, очень строго и обычно лицемерно. Вы верно помните настроение в западно-европейских странах после разгрома противников большевизма. Нас принимали снисходительно — и с оттенком пренебрежения. Некоторые этот оттенок скрывали, в особенности в отношении левых. Отдаю здесь должное французским, германским, английским социалистам (никак не австрийским и не итальянским). Всё же тон был такой: да, по человечеству вас жаль, вина не столько ваша, сколько вашего народа, — он не культурен, он никогда свободы не знал, он ею не дорожит, он принял большевистский деспотизм, как принял Брестский мир; на западе, конечно, всё это было бы совершенно невозможно. Кое-кто из нас отвечал, что «русский народ теперь болен». Менее вежливые иностранцы всё прямо приписывали «азиатской дикости» России. Что ж, судьбе угодно было послать нам злорадное утешение. Деспотическая власть, правда более мягкая, установилась в Италии. Гордые итальянские социалисты и радикалы, лет за пятнадцать до того клявшиеся,

что «никогда не пустят в Италию русского тирана», и действительно помешавшие приезду царя в их страну, без особенно кровавых боев подчинились власти Муссолини — и этим поставили других западно-европейских людей в затруднительное положение: Италию ведь никак нельзя было признать азиатской страной. Выход был скоро найден: вспомнили, что она страна земледельческая, экономически-отсталая. Вандервельде горделиво начертил карту Европы: в странах первобытных сельскохозяйственных орудий — диктатура; в странах промышленно развитых, передовых в техническом отношении — демократия. Очень была удобная точка зрения. Как на беду, еще через десять лет, диктатура, самая свирепая по действиям, самая идиотская по идеям, установилась в наиболее образованной, наиболее передовой в техническом отношении стране Европы: в Германии, — уж вы разберите, сколько немецких рабочих голосовало за Гитлера. Карту пришлось выбросить; а так как надо же было что-либо придумать, то в демократических странах, уже несколько менее горделиво, заговорили о «природной, исторической нелюбви немцев к свободе». «История» тут была сфабрикована столь же спешно, как карта Вандервельде. Началась вторая война, произошел захват Франции. Петэн получил в Национальном Собрании в Виши подавляющее большинство голосов. Это в самой умной, в самой свободолюбивой стране мира. Люди, выразившие маршалу доверие, позднее были ограничены в политических правах. Однако избраны они были свободным волеизъявлением народа и, скажем правду, они *тогда* выражали мнение не меньшинства, а большинства французов. В англо-саксонской печати тотчас появились давно знакомые нам, несколько позабытые слова: французский народ теперь болен. Уж слишком часто, согласитесь, болеют народы. Хоть бы теперь несколько меньше говорили о «неуклонной линии политического прогресса».

Л. — Вы, очевидно, хотите вернуться к случаю, к скрещивающимся в истории миллиардам цепей причинности. Неуклонная линия политического прогресса именно в том и заключается, что цепи причинности у огромных групп людей действуют в одном направлении, — в том, по какому их толкают их интересы.

А. — В это надо внести две поправки. Люди руководятся интересами в много меньшей мере, чем страстями. Да и общие интересы их толкают далеко не всегда в одну сторону... У нас есть обидное слово «ренегат». Мы называем ренегатами людей вроде, скажем, Льва Тихомирова или Дорио. Но не будем скрывать от себя, в самой идее всемогущего общего избирательного права есть в какой-то затаенной доле призыв к ренегатству: каждые четыре года рядовому человеку предлагается изменить убеждения.

Л. — Если американский народ значительным большинством голосов в 1948 году высказывается за демократов, а в 1952 году за республиканцев, тут ни малейшего «ренегатства» нет: он беспристрастно расценивает дела и обещания тех и других.

А. — Вы выбрали, и то не совсем убедительно, наиболее легкий пример: в Соединенных Штатах разница между республиканцами и демократами не так уж велика и во всяком случае *основного* не касается. Между тем в Италии, в Германии народ, переходя от свободы к диктатуре Муссолини и Гитлера, отказался именно от основного. Напомню вам, что на последних германских выборах при свободном Веймарском строе, Гитлер получил огромное число голосов, и не может быть сомнения в том, что среди них было бесчисленное множество таких, которые прежде отдавались демократии. В пору исторических мистралей нам только и остается говорить, что «народ болен».

Л. — Да, да слышали, «чернь жадна к новому» — «plebs cupida rerum novarum». Только ничего в этих диктатурах не было нового и в пору Саллюстрия, а в наше время тем меньше. Во всяком случае я совершенно не понимаю, почему вы об этом говорите в ироническом тоне: едва ли нам теперь очень подходят «злорадные утешения». Какой вывод следует из сказанного вами?

А. — Вывод тот, что в двадцатом столетии homo sapiens провалился на слишком большом числе экзаменов. Каждый из нас, демократов, абсолютных или неабсолютных, восторженных или не-восторженных, фанатических или не-фанатических, должен для себя решить, что он в демократии считает субстанцией и что акциденцией (поскольку теперь ясно, что предустановленной гармонии нет). Говорю прямо: для меня субстанция — свобода, а акциденция — народное волеизъявление. В некоторых монархических странах были неотменимые «основные законы». Мы должны ввести такие же — и формально в демократическое законодательство, и морально во всё наше мышление: свобода выше всего, эту ценность нельзя принести в жертву ничему другому; никакое народное волеизъявление, никакой плебисцит, никакое голосование в парламенте ее отменить не в праве: есть вещи, которых «народ» у «человека» отнять не может.

Л. — Не будете же вы всё-таки отрицать несомненный факт: где существует выборное начало, там торжествует часто свобода, — «illa quam saepe optasti, libertas», как говорил Катилина. А там, где его нет, там ее нет никогда.

А. — Это уже некоторая уступка со стороны абсолютного демократа. Но, если история пока подтверждает полностью вторую часть вашего утверждения, то первое представляется мне весьма сомнительным, — даже после

того, как вы заменили слово «всегда» словом «часто». Не знаю, что было чаще в последнюю четверть века: народное волеизъявление со свободой или народное волеизъявление с рабством. Если взять западную Европу и северную Америку, преобладал первый случай. Если взять весь мир, то преобладал второй. Не только в теории, но на практике вполне возможен в будущем случай, когда цивилизованным людям *придется* произвести выбор между двумя китами демократии, между ее субстанцией и акциденцией: выбор не столь логически трудный, сколь психологически мучительный. Не знаю, как вы, а я повторяю этот выбор сделал: в этом случае я выберу не всеобщее избирательное право, не народное волеизъявление, — выберу со слабой, до сих пор исторически не оправданной надеждой, что в той или иной форме неизменная субстанция может существовать без нынешней акциденции.

Л. — Незачем удаляться в область чистой фантазии. И в настоящее время в цивилизованных странах есть коррективы к всеобщему избирательному праву. Почти везде существуют верхние палаты и исполнительная власть.

А. — Ваше замечание исходит из недоразумения. Верхние палаты, основанные на наследственном начале, конечно представляют собой нелепый пережиток прошлого, и незачем повторять почтенной давности общие места: странно давать человеку какие бы то ни было права потому, что его предок оказал стране важные услуги, или был очень богат, или пользовался милостями какой-либо королевы. Верхние палаты, названные так, должно быть, для утешения за то, что они имеют гораздо меньше власти, чем нижние, срезались при недавних исторических испытаниях еще блистательнее. Ценз? Какой же? Возрастный? Цезарь уже умер в том возрасте, в каком теперь кое-где люди получают право попасть в сенат. Образовательный? Карл Великий не умел писать. Иму-

щественный? Да ведь им обладают именно самые тупые и ограниченные, эгоистичные люди из всех. Не очень хорош, как мы видели, оказался в 1940 году и корректив исполнительной власти. Не может быть поправкой к порокам выборного начала то, что так или иначе основано на нем же самом. К несчастью, профессия политика неизбежно превращается в какой-то вид спорта, со всеми присущими спорту недостатками, которые как нельзя лучше проявляются на разных съездах министров и на никому не нужных сессиях Объединенных Наций, где всё сводится к состязаниям, к матчам, к раундам, к мелким уколам и личным обидам... Клемансо будто бы когда-то сказал: «Война слишком серьезное дело для того, чтобы его предоставить генералам». Не возникает ли у вас при чтении отчетов обо всех этих ораторских турнирах желание сказать: «Политика слишком серьезное дело для того, чтобы его предоставить профессиональным политикам, — по крайней мере им одним»? Быть может, им, в пору их спортивных упражнений, не мешало бы иногда напомнить о некоторых более глубоких, «вечных истинах», о том, что эти господа играют с огнем, что от их упражнений зависит жизнь сотен миллионов людей, жизнь каждого из нас? За первую половину двадцатого столетия профессиональные политики дали человечеству две мировые войны и десятки революций с более чем вероятной перспективой новых революций и войн. Непрофессиональные политики, вероятно, добились бы не худшего результата.

Л. — Разве только по той причине, что худшего быть не может. Впрочем, может быть и еще худший. Дюбуа-Реймон рисовал образ «последнего человека, пекущего последнюю картофелину на последнем куске угля». Во время Дюбуа-Реймона для столь веселых предсказаний никакого основания не было. Можно, правда, теперь утешаться тем, что последняя картофелина будет печься не на угле, а при помощи атомной энергии.

А. — Всего сто лет тому назад, в пору Крымской войны, Бокль писал: «Очень характерно для нынешнего состояния общества то, что беспримерный по длине период мира был, в отличие от прежних мирных периодов, нарушен ссорой не между цивилизованными странами, а столкновением между не-цивилизованной Россией и еще менее цивилизованной Турцией»[4]. Русские передовые люди того времени на Бокля не обиделись. К тому же они привыкли к не очень уважительному отношению к ним их западных единомышленников или полуединомышленников. Кажется, Герцен вызвал удивление у русской эмиграции шестидесятых годов тем, что не пожелал в 1865 г. участвовать в женевском Конгрессе мира и свободы — именно чувствуя недостаток уважения к русским. «Он требовал не терпимости, не снисхождения, а признания полного равенства», — говорил об этом Г. Н. Вырубов в своих «Революционных воспоминаниях». Конечно, Россия времени Николая I была менее цивилизованной страной, чем Англия. Но мысль Бокля, после двух мировых войн двадцатого века с участием всех цивилизованных стран, может вызвать лишь горькую усмешку. Да она собственно была не очень добросовестна и в то время, когда Бокль ее высказывал: как ни как, Франция и Англия принимали некоторое участие и в Крымской войне, и даже в ее устройстве. Кажется, Боклю было самому неловко это писать, и он поспешил смягчить свою мысль: «Дурные нравы не более распространены в России, чем во Франции или в Англии, и несомненно то, что руссские более покорны учению церкви, чем их цивилизованные противники. Поэтому ясно, что Россия страна воинственная не потому, что ее население безнравственно, а потому, что оно необразовано (inintellectual). Беда в голове, а не в

---

[4] H. Th. Buckle, *History of Civilization in England,* London, 1858, v. I, p. 177.

сердце»[5]. Людям того времени было приятно приносить сердце в жертву голове. Но в 1914-ом и в 1939-ом затеявшая войну голова была уже немецкая, т. е. «цивилизованная». Это, разумеется, нисколько не мешало, не мешает и не будет мешать повторению глубокомысленных замечаний Бокля... Что ж, в видении Дюбуа Реймона ничего совершенно невозможного нет. Да и без всяких апокалиптических видений трезвый теоретик, «абсолютный» демократ, профессор Беккер считает возможным новый «темный век варварства» («another dark age of barbarism»)[6]. Согласитесь, что хвастать нашим нынешним великим государственным деятелям нечем. Лично я всегда вполне ими доволен, если от них нет хоть большого вреда, — у меня тут давняя, прочная, принципиальная программа-минимум. Впрочем, отметьте ради беспристрастия, что у этих людей в ту пору, когда они находятся у власти, нет ни одной свободной минуты в настоящем смысле этих слов: они тонут, поистине тонут в кулуарных и международных интригах, в расстраивании чужих интриг[7], в болтовне, в приемах, в светской ерунде, в мелкой административной работе, — надо же по человечеству пожалеть и их. Вполне возможно, что некоторые из них по природе *способны* размышлять о делах серьезных. Но они использовать эту свою способность не могут

---

[5] Бокль даже сделал подстрочное примечание к этим словам: «Были высказаны предположения, что в России меньше безнравственности, чем в Западной Европе; но это, вероятно, ошибка».

[6] Carl L. Barker, *Modern Democracy,* Yale University Press, 1947, p. 100.

[7] Эти строки были давно написаны, когда автор настоящей книги прочел в «Нью Иорк Херальд Трибюн» (20 января 1953 г.) статью американского государственного деятеля (Edward W. Barrett, former Assistant Secretary of State, *Plea to give Dulles a Chance*). В ней вскользь сообщается: “We have seen Mr. Dean Acheson so busy fending of missiles (some square hits, but most of them foul balls) that he often could give only part time to the problems that are the real threat to the country.”

просто по недостатку времени. Какие уж тут «размышления», когда завтра опаснейший запрос в парламенте.

Л. — Когда же это пошли «наши нынешние великие государственные деятели»? Или прежде было иначе?

А. — По общему правилу всегда было то же самое. Вы ставите правильный вопрос. Кто в самом деле великие государственные деятели в истории (говорю тут, разумеется, не только о демократиях)? Мы все знаем, что Рембрандт был великий художник, Лавуазье — великий ученый, Бетховен — великий музыкант, Эдисон — великий изобретатель, Шекспир — великий драматург, и т. д. Кто же подлинно великие люди в сфере государственной? Конечно, нельзя отрицать, что Ришелье, Кромвелю, Наполеону, Бисмарку были свойственны редкие достоинства: ум, энергия, знание людей, а некоторым из них и специальные качества вроде военного таланта, если таковой вообще существует (что отрицал не только Толстой, но собственно и маршал Фош, да отчасти и сам Наполеон). Однако, каков же был результат их государственной деятельности? Либо этот результат оказывался гибельным и для их стран, и для них самих: так было с самым гениальным из всех, с Наполеоном. Либо их актив слагался из статей, весьма сомнительных по существу и столь ограниченных во времени и в пространстве, что он теперь вызывает невольную улыбку, как «l'abaissement de la maison d'Autriche» (унижение австрийской династии), о котором столько писали восторженные хвалители Ришелье. От их дела через десять, двадцать, пятьдесят лет ровно ничего не оставалось. Говорю это не касаясь их пороков, их коварства, их преступлений. То же самое мы видим и на несколько более низком, хотя тоже высоком уровне, — когда дело идет, скажем, не о «гениальных», а просто о «больших» государственных деятелях, вроде Дизраэли. Что от него осталось? Псевдоним «императрицы Индии», поднесенный им Виктории?

Англичане из Индии ушли или их оттуда высадили. «Достижения» Берлинского конгресса? От них ровно ничего не уцелело еще при его жизни, и роль этого конгресcса в истории оказалась весьма злополучной. Или эти великие люди в своих речах и воспоминаниях бросали миру ценные мысли, давали в них квинтэссенцию своей мудрости? Нет, этого тоже почти никогда не было. Уж если кто придумывал те принципы, мысли, которыми они пользовались, то это «теоретики», государственной деятельностью не занимавшиеся или занимавшиеся ею на третьестепенных постах, Аристотели, Гоббсы, Маккиавелли. Во имя чего же, во имя какого *практического* результата, проливались гениальными или просто выдающимися людьми потоки крови? Ту же Индию «дали» Англии Клайвы, Гастингсы, Велльслеи, а старались дать Франции Дюплексы, Ла Бурдоннэ, Лалли-Толлендали. Они иногда кончали плохо: Клайв должен был покончить с собой, Лалли-Толлендаля казнили. Но «слава» осталась: их именами называются улицы городов, кое-где красуются их памятники. Чуть не вся внешняя политика Англии в течение почти двух столетий строилась на «защите путей в Индию». Из-за этого происходили войны, на это тратились неисчислимые суммы, об этом написаны тысячи страниц. Теперь, когда Индия больше англичанам не принадлежит (и отпала без помощи внешнего врага), всё это представляется глупой шуткой. То же самое можно сказать о пятидесяти победах Наполеона. Очень прочно стоит в Париже Вандомская колонна, несмотря на Ватерлоо и границы 1815 года. Что же всё это доказывает, кроме человеческой глупости?

Л. — Я знаю, вы в истории видите нечто вроде музея Гревена, где стоят рядышком вылепленные из воска знаменитые политические деятели и знаменитые уголовные убийцы. Я смотрю на историю, конечно, не так, как вы. Линкольны и Гладстоны во всяком случае памятников

заслуживают. Всё же жду от вас объяснения: кем вы хотите заменить «профессиональных политиков»? Платоновскими «мудрецами? Но эти мудрецы были именно профессионалы и даже ультра-профессионалы. Их должны были подготовлять к государственной работе приблизительно так же, как Гитлер собирался подготовлять своих гауляйтеров. Мудрецам, по плану Платона, надлежало появляться в результате подбора детей и их тщательной подготовки для руководства государством, — руководства довольно своеобразного. Сократ два раза уподобляет их любящим кровь молодым собакам. Допустим, в маленькой афинской общине, где все знали друг друга, можно было кое-как подбирать наиболее способных детей и с ранних лет готовить их в «мудрецы», — хотя и там это была чистая теория, так и не дождавшаяся практического осуществления. Но что же об этом вздоре говорить теперь, при современных огромных государствах! Когда в истории не осуществлялось выборное начало, власть всегда достигалась либо в наследственном порядке, либо путем захвата и насилия. Если же иметь в виду «элиту», то ее иногда выделяли на государственные посты выборы, но ничто другое не выделяло почти никогда.

А. — Да и выборы весьма редко выделяли элиту, — как в умственном отношении, так и в моральном. Теперь старая мысль Монтескье о том, что в основе демократии лежит добродетель, кажется не менее забавной, чем Платоновский подбор детей. Эта «аксиома» имела огромный успех в мире. Ее косвенно признавал сам Гегель, которого к демократам никак нельзя причислить. Того, что называется коррупцией, в демократических странах уж никак не меньше, чем в других. Не говорю, чтобы ее было больше: это оптический обман, так как в тоталитарных странах о ней просто запрещается писать. Скажем, ее везде приблизительно одинаково. Поставить *всё* на доб-

родетель демократии столь же невозможно, как поставить всё на ее ум. Платон хоть правильно определил те качества, которые нужны правителю: разносторонняя ученость, мужество, беспристрастие, независимость и пренебрежение к почестям. Люди, обладающие этими качествами, конечно, везде очень редки, но они всё же есть. Не скрою от вас, я их среди государственных людей не вижу. Поэтому скажем, на помощь им — должна быть, думаю, создана коллегия из «элиты», — образовавшейся никак не в результате подбора детей и их соответственного воспитания. Я предлагаю нечто вроде «Треста мозгов». Такие тресты уже существуют в разных странах, но они ставят себе цели ограниченные и узконациональные; каждый из них исходит только из интересов одной страны и только их ставит себе целью. По-моему, мысль имеет право на повышение в чине. Международный, беспристрастный, независимый «трест мозгов» должен исходить из интересов всего человечества. На его рассмотрение будут ставиться лишь вопросы, от которых зависит участь каждого из нас, как вопросы войны или мира. Его права? Прежде всего право veto, право отвода решений идиотских или вредных миру в целом, хоть, быть может, как будто выгодных какой-либо отдельной стране. Объединенные Нации этого делать не могут, так как состоят из чиновников, из людей еще более мелких, чем члены правительств. По моим наблюдениям, их кухня самая худшая из всех ныне существующих, и вдобавок самая лицемерная. Там обыкновенная политическая лавочка и казенный пирог для множества приказчиков, — от очень важных до переводчиков и стенографисток, — пирог, почему-то много более жирный, чем правительственная служба и вдобавок не облагающийся налогом. При благоприятной обстановке, это учреждение, как и многие лавочки, может, конечно, оказывать некоторые услуги, но вреда от него больше, чем пользы. Выдается же всё это за чрезвычайно важное

и святое дело. Что ж, людям вообще свойственно «идеализировать» то, что им выгодно. Вы не можете помешать жокеям, балеринам или кинематографическим звездам думать, что они вполне заслуживают тех огромных денег, которые им теперь платят, — верно они зарабатывают в десять, а то и в сто раз больше, чем Пастер или Фарадей.

Л. — Согласитесь, это странно. Вы подчеркиваете ненужность Объединенных Наций. В будущее этого учреждения вы не верите. Но вы верите в возможность создания какой-то небольшой коллегии, которой будет предоставлено больше власти, чем в настоящее время, по крайней мере в теории, имеют Объединенные Нации! За вашей коллегией не было бы уж решительно ничего. Не было бы даже политического ценза у ее участников.

А. — В отсутствии этого «ценза», в вашем смысле слова, было бы великое преимущество коллегии, о которой я говорю. В нее должны входить люди никак не с нынешними навыками «мышления» цеховых политиков и не с их спортивными инстинктами. Следовало бы даже ввести обратный «ценз»: кандидатами в нее не будут министры, депутаты, сенаторы. Кандидаты могут быть также обязаны подпиской никогда таковыми не становиться. В этом «тресте мозгов» запаха казенного пирога не будет... «Фантазия», говорите вы. Пока, может быть, и фантазия. Позднее необходимость «ограничить роль «случая» заставит людей пойти на это.

Л. — Да ведь это чистейшая утопия! Кто будет выбирать людей в этот трест или кто будет их назначать? Каковы будут его компетенция и его права? Откуда ему будет знать дела каждой страны? Где найдутся люди столь всеобъемлющей компетентности? Почему правительства и парламенты откажутся в его пользу хотя бы от небольшой части своих прав? Почему предоста-

вят ему хотя бы совещательный голос и притом именно в самых важных вопросах? Да и в чем будет гарантия его беспристрастия и независимости? Что, если каждый отдельный его член будет думать лишь об интересах своей страны или даже просто действовать по инструкциям своего правительства? Вы хотите уменьшить роль случая в мире. На самом же деле вы только переносите случай из парламентов в другую, уж совершенно «случайную», инстанцию. В самом деле кем будут устанавливаться признаки «элиты» и чем тут можно было бы руководиться? Заслугами в науке или искусстве? Поверьте, что коллегия, состоящая, скажем из Эйнштейнов или Пикассо, была бы в сто раз хуже самого посредственного из ныне существующих правительств! Она в течение месяца установила бы на земле хаос. И, разумеется, ее члены очень скоро между собой разругались бы и вышли бы в отставку с «письмами в редакцию».

А. — Вы весьма удачно подобрали имена самых неподходящих людей для такого «треста мозгов». Я мог бы указать гораздо лучших кандидатов. Разумеется, «мозг» в какой-либо одной специальной области не давал бы ни малейших прав на включение в ту коллегию, которую я имею в виду. Не иду так далеко, как Шопенгауер: он утверждал, что многие великие ученые вне своего ремесла были — как сказать? — помнится, он употребляет слова «настоящие волы». Откуда возьмется «всеобъемлющая компетентность» людей треста? Но ведь они будут заниматься лишь основными международными вопросами, а никак, например, не сахарным производством на острове Куба; в основных же вопросах едва ли они окажутся менее компетентными, чем нынешние министры иностранных дел; эти тоже не получили специального образования на каком-либо дипломатическом факультете: в большинстве, это бывшие адвокаты, верно не знавшие, в первые недели по их назначении, ровно ничего об

иностранных делах и о чужих странах; обычно они ни одного иностранного языка не знают. Что гарантировало бы независимость членов треста от тех, кто их «назначит» или «выберет»? Это серьезный вопрос. Но позвольте привести вам пример учреждения, совершенно независимого от назначающего его органа власти. Это Верховный суд Соединенных Штатов. Некоторые американские государствоведы признают, что он имеет больше власти, чем Конгресс и чем президент. В самом деле он отменил десятки актов Конгресса и сотни законов отдельных штатов, признав их не-конституционными. Разумеется, он конституцию толкует так, как признает правильным. Следовательно, его власть действительно огромна. Как вы знаете, Верховный суд состоит из девяти судей, назначаемых Президентом и несменяемых. Судья может быть уволен только в результате уголовного обвинения, и за всю историю Соединенных Штатов был лишь один такой случай, в 1805 году. Джозеф Чот определяет Верховный суд, как основное учреждение, «уравновешивающее и гармонизирующее все части федерального представительного строя». «Этот суд, — говорит он, — встретил одобрение и восхищение иностранных юристов и государственных людей. Он пользуется всеобщим уважением и доверием народа». В самом деле, теперь перед его авторитетом склоняются в Америке почти все. Ругать его, даже полемизировать с ним, не очень принято; это происходит лишь в случаях исключительных. Я не идеализирую это учреждение. Оно сделало очень много добра, но особенно восторгаться некоторыми его решениями не приходится. Верховный суд Соединенных Штатов может считаться некоторым подобием треста мозгов лишь в условном и ограниченном смысле: президент обычно выбирает судей из «элиты» знатоков права. Однако не подлежит сомнению, что они выносят свои решения не считаясь с его желаниями и интересами.

Л. — Ваш пример доказывает не очень многое. Одно дело — область формального права. Члены Верховного суда исходят из чего-то вполне определенного. Совершенно другое дело ваша весьма проблематическая мировая элита, которой и исходить будет не из чего. Можно даже не вспоминать Паскалево «Истина по одну сторону Пиренеев, заблужденье по другую»: и в пределах одной страны вы не найдете и общепризнанных, никем неоспариваемых авторитетов.

А. — То же самое когда-то говорилось и о Верховных судьях в Соединенных Штатах. В свое время самый институт Верховного суда вызывал там живейшую оппозицию... Другой пример, если хотите, это Ватикан, древнейший трест мозгов в истории мира. Кардиналы назначаются папой, но они выбирают его преемника. Так происходит с 12-го века. В первое тысячелетие папы избирались разными способами, обычно несколько хаотически. А, по древней традиции, св. Петр сам назначил своих преемников. Да и кардиналы в далекие времена не имели большого значения; они считались ниже обыкновенных епископов. Я знаю, в Ватикане не признают теории некоторых светских государствоведов, согласно которой кардиналы — министры папы, а сам он вроде главы конституционного правительства. Официально папа — самодержец, и министр у него только один: государственный секретарь. Однако и католические авторитеты, как Мартен, и светские, как Прати, сходятся на том, что кардиналы теснейшие сотрудники папы. «Они его ближайшие помощники, его природные советники», — говорит первый[8]. «Они его советники и помощники по общему управлению церковью. Принимаемые ими решения... входят в силу лишь после их утверждения и авто-

[8] Victor Martin, doyen de la Faculté de Théologie Catholique à l'Université de Strasbourg, *Les Cardinaux et la curie*, Bibliothèque catholique des sciences religieuses, Paris, 1930, p. 12.

ризации папой, но папа не одобряет этих решений лишь весьма редко», — говорит второй[9]. На соборе 1179 года в сущности был создан трест мозгов по церковным делам, и он держится по сей день. Конституция оказалась весьма прочной и столь же удачной. Не восхожу к далеким векам, но в последнее столетие, кажется, в коллегии кардиналов не было ни единого случая коррупции; ни один из ее членов не подвергался обвинениям в личной безнравственности.

Л. — Во чрезмерном честолюбии, в интригах, в карьеризме их обвиняли беспрестанно. Какой-то давний антиклерикальный остроумец, на вопрос, почему из кардиналов вышло сравнительно мало святых, отвечал: «Потому, что каждый из них старался стать *очень* святым», — указание на титул папы «Très Saint Père». Ретц, сам кардинал и поэтому человек компетентный, говорит, что «яркий, ослепительный цвет этой (кардинальской) шапки кружит голову большинству тех, кому она достается»[10]. Я впрочем несколько не отрицаю, что по своему нравственному облику коллегия кардиналов представляет собой элиту. Но она имеет весьма мало общего с вашим трестом мозгов. Для выбора в эту коллегию есть совершенно определенные критерии: долгая, выдающаяся, безупречная церковная карьера, постепенное восхождение по церковной иерархии.

А. — В формальном отношении вы ошибаетесь: папа имеет право назначить кардиналом кого угодно, даже светского человека. Так это часто и бывало в далекие времена. Рафаэль умер, кажется, за несколько дней до того, как папа должен был сделать его кардиналом из уважения к его гению живописца. Маршалу Тюренну

---

[9] Corlo Prati, *Papes et Cardinaux dans le Rome moderne*, Paris, 1925, p. 139.

[10] *Mémoires du Cardinal de Retz*, Paris, 1859, v. 3, p. 368.

было предложено звание кардинала, но старый солдат от него отказался. Другие светские люди (при Льве X и писатели), напротив, принимали назначение. Последний светский кардинал умер в 1899 году. Пию XI, одному из самых замечательных пап в истории, упорно приписывалось намеренье назначить несколько светских кардиналов. По существу же вы, конечно, правы. Однако, без всякой формальной иерархии, и членом треста мозгов не мог бы стать первый встречный.

Л. — Этот пример дает мне повод поставить вам и вопрос, не имеющий отношения к тресту. Считаете ли вы вообще, что ваши мысли о жизни, о случае, о науке, об ее методологии совместимы с положительной религией, всё равно с какой: православной, католической, протестантской, еврейской, магометанской, буддистской?

А. — Отвечаю без колебания: считаю. Так думал и Курно с его теорией случая. Отсылаю вас к его страницам, я ничего к ним прибавить не мог бы. Тут две различных плоскости, и обе они совершенно естественны и законны. У нас не более основания противопоставлять религию научной философии, чем, например, противопоставлять ее музыке. Если у Шумана или Бизе в их творчестве нет религиозных элементов, то из этого никак не следует,что они были или непременно должны были быть неверующими людьми. Добавлю, что атеисты обычно бездарны в философии; она меньше всего обязана им. Не знаю, можно ли добавить, что атеизм дает минимум душевного спокойствия лишь очень немногим людям и в большинстве, кажется, людям ограниченным: я даже плохо себе представляю, каков мог бы быть непессимистический атеизм. Но это едва ли можно тут считать доводом. Возвращаясь же к тресту мозгов, скажу, что идея правления «элиты» была близка и учению знаменитых богословов разных вероисповеданий, была близка и светским богословам девятнадцатого века. Вы найдете

ее у Хомякова, несмотря на его философскую и житейскую нелюбовь к рационализму. Эта нелюбовь не мешала ему утверждать, что «Спиноза, может быть, величайший из мыслителей новейшего времени, человек, которого гений управляет без сомнения всем сокровенным синтезом современной философии (хотя анализом своим она обязана Бэкону и Канту), основатель наукообразного пантеизма и, если можно так сказать, безверной религиозности»[11]. И я не уверен, что «юдофильство» Хомякова, сказывающееся во многих его произведениях и особенно в «Записках о всемирной истории», не связано с присущей еврейской вере тягой к разумному устройству земной жизни. В такой же степени это относится к церкви лютеранской, за исключением, быть может, одной ее незначительной части, которую тот же Хомяков называл «немецкой Аввакумовщиной». Ведь таково основное, самое подлинное у Лютера. Прочтите его — и лучше всего в издании Гааса, — в частности прочтите «Von weltlicher Obigkeit»[12]. Не видит здесь ни малейшего противоречия и Декарт. Идея правильного, разумного устройства земной жизни есть идея чисто-картезианская.

Л. — Тоже из области Ульмской ночи?

А. — Да, весьма вероятно. Именно этого Декарт, вероятно, и искал даже у розенкрейцеров, — едва ли ведь он мог думать, что у них есть философский камень или элексир вечной жизни... Я считаю много более важным второе ваше возражение: что заставит правительства и парламенты отказаться от части своих прав в пользу учреждения проблематического или, во всяком случае неиспытанного? Отвечаю: очень горькие уроки ближайшего будущего. Станет ясно, что всё остальное

[11] А. С. Хомяков, *Полное собрание сочинений,* Москва, 1861, т. I, стр. 89.

[12] *Der ungefalschte Luther,* nach den Urdrucken hergestellt von Dr Karl Haas, Stuttgart, 1881, Band I.

испробовано и дало не слишком удовлетворительные результаты.

Л. — Мне всё же остается совершенно непонятным, в каком порядке мог бы быть создан трест мозгов — для борьбы со случаем и для проверки весьма сомнительной гармонии еще гораздо более сомнительной алгеброй?

А. — В таком же, вероятно, порядке, в каком создавались, например, французское Временное правительство 1848 года, российское Временное правительство февраля и столь многие другие сходные организации. В «порядке самочинном», — как во всех подобных случаях писали грозные обличители. Действительно их никто не назначал и никто не избирал: они сами себя назначили и выбрали, в надежде, справедливой ли или нет, на поддержку общественного мнения. Ламартин, Луи Блан, Милюков, Керенский, Церетели, кн. Львов, как талантливые, выдающиеся и очень популярные люди, *могли* иметь такую надежду. Это никак не значит, что общественное мнение всегда поддерживает такие учреждения. Но еще меньше их устойчивость обеспечивается правильностью юридического оформления. Конституция 1791 года подготовлялась комиссиями, состоявшими из самых компетентных людей Франции, Национальное Собрание обсуждало ее на девяти заседаниях, принята она была с необычайной торжественностью — и просуществовала меньше года. Что от нее осталось? Только ее философская часть: декларация прав человека и гражданина. Эта декларация, несмотря на все позднейшие насмешки над ней, представляет собой писанный разум. Не имеет значения вопрос о том, кто предлагал, писал, переделывал ее 17 статей. Они созданы «в самочинном порядке» всей мудростью восемнадцатого века и лучшими мыслями больших людей в течение тысячелетий. В 1789-91 гг. человечество более или менее созрело для первой попытки их воплощения в жизнь. Они в жизнь

кое-как понемногу и воплотились. Что же было важно: юридическое оформление конституции в сентябре 1791 г., оформление, от которого не осталось через год ровно ничего, или мысль, в позднейшие конституции и не включавшаяся, но ставшая лучшим по духу из того, что делалось в государственной жизни мира в течение следующего века?

Л. — Допустим, что вы правы. Трест мозгов создастся в самочинном порядке. Мощные силы, вырабатывающие общественное мнение, высшая интеллигенция мира, церкви, масонство, поддержат это самочинное учреждение. Понемногу оно получит юридическое, конституционное оформление. Это само по себе граничило бы с чудом. Но допустим. Где же однако гарантия того, что это учреждение не окажется еще более «временным», чем те два правительства, которые вы назвали, и которые, слава Богу, всё-таки по несколько месяцев продержались. Как вы убедите народы в том, что им нужен трест мозгов, что они должны следовать его советам? Ведь с вашей точки зрения, они охотнее следовали бы советам какого-либо треста глупости... Не возражайте, я знаю, что «для отчетливости» и тут несправедливо огрубляю вашу мысль, — прошу меня извинить. Но ведь в самом деле у вас здесь есть противоречие. А ведь без «второго кита» никак обойтись нельзя. В лучшем случае в первые недели от треста еще будут ждать мудрых, спасительных решений. Увы, очень скоро окажется, что никаких таких решений у него нет. Что же в самом деле он предложил бы? Если homo sapiens глуп, то уж будьте добры, научите его. Воображаю, какую маниловщину развел бы ваш трест, еслиб он чудом осуществился.

А. — То, что кажется «маниловщиной» сегодня, может ею не оказаться через десять или двадцать пять лет. В пору Людовика XV разговоры о республике во

Франции были самой настоящей маниловщиной. Олар очень наглядно показал, что еще в первый год революции во Франции не было ни одного республиканца. В те дни, когда мы с вами учились в гимназиях, восьмичасовой рабочий день тоже считался маниловщиной, а теперь кое-где существует и шестичасовый. Да мало ли вообще было «маниловщины» в политике, вдобавок, у так называемых великих ее практиков! Я в хорошей компании. Эпопея президента Вильсона была чистейшей маниловщиной. Бриан в беседах с Штреземаном оказался Маниловым. В пору Мюнхена Маниловыми были не только Чемберлен и Даладье, но и все им сочувствовавшие и аплодировавшие, т. е., скажем горькую правду, три четверти населения мира. В Ялте Маниловым оказался Рузвельт. А Сталин, всё же в 1939 году до некоторой степени положившийся на «скрепленную кровью» русско-германскую дружбу! Правда, он позднее говорил, что использовал два года «передышки» для вооружений; но слепому ясно, что Гитлер использовал эти два года неизмеримо лучше, чем он. Был, был Маниловым и «отец народов». Был им и сам фюрер — он ведь не сомневался в безграничной преданности Герингов и Гиммлеров. Можно сказать, что всякий государственный человек в известный период своей жизни неизбежно и неизменно оказывается в роли Манилова. Следовательно нам, грешным, сам Бог велел.

Л. — Значит, вы верите не только в создание треста мозгов, но и в то, что он найдет какой-то разумный выход из нынешнего тупика?

А. — Я мог бы вам ответить, что иначе его и создавать не стоило бы. Но это не совсем так. В создании треста мозгов нет ничего ни невозможного, ни неправдоподобного. Однако для «разумного выхода» требовалось бы также, чтобы у спорящих сторон была хоть одна общая аксиома.

Л. — Ну, что ж, сделаем и такое предположение: у них общая аксиома оказалась, — обе стороны признают целью, если не благо (его понимание у них различно), то материальное благосостояние людей. Что тогда?

А. — Теперь момент упущен. Но еслиб в 1945 году, тотчас после победы над гитлеровской Германией, трест мозгов существовал, то он мог бы привести нас к результатам, во всяком случае много лучшим, чем нынешние.

Л. — Очевидно, члены треста мозгов должны быть проникнуты идеями Ульмской ночи и находиться в картезианском состоянии ума? Но, извините меня, тогда ваше предположение может производить только увеселяющее действие. Еслиб Сталин был картезианцем, то можно было бы обойтись и без вашего треста. Беда в том, что он был не совсем картезианец, как впрочем не были картезианцами и другие люди, правившие миром во второй половине 1945 года.

А. — Ваши шутки были бы много веселее, если б «не-картезианские» правители мира устроили его очень хорошо или хотя бы только сносно. На самом же деле мы находимся на краю бездны.

Л. — Не все они, как вы знаете, в этом виноваты. Будь в России любое другое правительство, царское, демократическое, социалистическое, какое хотите, мир был бы теперь обеспечен на вечные времена. Точно так же он был бы обеспечен, еслиб коммунистический строй установился в каком-либо другом государстве, а не в России, первой по размерам и второй по могуществу стране земного шара. На коммунистических владык в Болгарии или в Румынии никто и внимания не обратил бы... Какими же представились бы решения треста историку 21-го столетия.

А. — Я рад вашему оптимизму. Собственно, в гибели человечества не больше нелепого, чем в смерти отдель-

ного человека. Вы совершенно уверены, что 21-ое столетие *будет*?

Л. — Будет, будет, не волнуйтесь. Будет и 31-ое.

А. — Историк 21-го столетия прежде всего, вероятно, найдет нужным отвлечься в меру возможного от острых чувств, от страстей, от пристрастия. Это не очень ему удастся, но он сделает такую попытку и попытается быть объективным в отношениях обеих сторон, боровшихся в средине 20-го века. Он признает, что каждая из этих сторон имела актив и пассив. Актив советского блока складывался из следующих статей: СССР выдержал вторую войну так же стойко, как Англия и как — в неизмеримо более благоприятных условиях — Соединенные Штаты, и вел ее много лучше, чем все другие страны. Он потратил огромные суммы — не говорю на народное образование, так как образование в настоящем смысле слова непременно требует свободы, — но на обученье азбуке десятков миллионов людей и на преподавание точных, преимущественно технических, наук сотням тысяч. Он создал много учебных заведений, институтов, лабораторий. Эти статьи актива не очень значительны. Ведь при любом другом строе в России второй войны, вероятно, вообще не было бы, так как всякое русское правительство несомненно с самого начала объявило бы, что выступит на стороне демократий. Мы видели договор Риббентропа с Молотовым, но представить себе договор того же Риббентропа с Сазоновым, Милюковым, Керенским совершенно невозможно. В области же народного просвещения в свободной России за тридцать пять лет сделано было бы, конечно, не меньше, а гораздо больше. Латентные силы русского народа освободились (так же было с французским народом в 1789 году) и трудно себе представить, какой была бы теперь, при ее колоссальных богатствах, Россия, еслиб сохранились условия свободы, еслиб не было гражданской войны, тер-

рора, Коминтерна, ГПУ, еслиб с западом установились мирные дружественные отношения, казалось бы столь естественные. Есть однако и некоторые другие статьи, составляющие особенность именно одного советского актива. СССР доказал, что возможно огромное промышленное развитие страны без частной собственности, что общество *может* существовать без профессий спекулянта, биржевика, банкира, без свиных и медных королей, без богачей, скупающих газеты. Правда, для осуществления этого пришлось завести неизмеримо больше чекистов, чем прежде было спекулянтов, но мы говорим тут только об *активах*. Вероятно, историк признает, что эта сторона бесчеловечного опыта имеет весьма важное значение. Актив Соединенных Штатов был гораздо больше. Они выиграли войну в условиях свободы, и в этих же условиях достигли небывалого в истории процветания; никогда нигде в мире люди не питались так обильно, не зарабатывали так много, не жили так удобно, не помогали так щедро другим. Америка и до войны, и во время войны, и особенно после нее сыпала миллиардами направо и налево и, вопреки тому, что говорят дешевенькие Маккиавелли, делала это преимущественно по идеалистическим соображениям и по природной щедрости американцев: другие страны, в ту пору когда *они* были богаты, никогда ничего похожего не делали: хотя у них и соображения маккиавеллистического расчета могли быть точно такие же, — над всем преобладала любовь к экономии, и вопрос даже не ставился. Демократии — тут уж не только Америка — осуществили свободную жизнь; существование свиных магнатов не мешало полной свободе мысли и слова. Правда, был и свой пассив, прежде всего моральное разочарование значительной части населения демократий: им свободный строй больше удовлетворения не давал, — одним из признаков было то обстоятельство, что отсутствие спекулянтов и бирж в СССР, несмотря на всё остальное, в течение долгих лет

вызывало у миллионов западных людей беспрерывные овации по адресу советского строя...

Л. — Вследствие глупости и неосведомленности этих миллионов.

А. — Совершенно верно, но это меняет не многое. Отчего демократии не позаботились о том, чтобы сделать их умнее? Историк и *предскажет* то, что случилось. Он, быть может, предскажет, что полярная противоположность обоих блоков в таком-то году привела к войне. Никак не берусь судить о последующих главах его труда: тут естественно могут быть весьма существенные варианты. Один из правдоподобных вариантов: западная Европа воевала плохо, да и трудно было хорошо воевать, когда в некоторых армиях из трех солдат один был коммунистом; после захвата советскими войсками европейского континента со всеми вытекающими отсюда страшными, почти невообразимыми последствиями, этот континент был освобожден американцами; Соединенные Штаты в результате воздушной атомной войны одержали победу; Россия «сгоряча» была под самым демократическим соусом расчленена. Затем последовали новые войны за объединение России и т. д., — фантазия имеет пределы.

Л. — Печальная однако вещь миропонимание, основанное на «произвольной аксиоматике». Вы много говорили, пользуясь языком теории вероятностей, о «моральном ожидании», о «математической надежде»; но «ожидание», «надежда» на *хорошее* стали у вас приближаться к нулю? Действительно, в истории началась новая эпоха. Я признаю, что развитие техники и в частности техники военной пошло значительно быстрее, чем умственное развитие человечества; но если Толстой на старости лет говорил, что в пору его молодости люди были умнее и культурнее, чем в двадцатом веке, то его слова всё же относились лишь к верхам; между тем рост культуры

вширь социологически важнее, чем ее рост вверх. Допускаю и то, что в последние десятилетия технический прогресс стал сильно обгонять прогресс в целом. В русско-японскую войну 1904 года один из самых важных постов в японской армии занимал генерал, носивший в начале своей военной карьеры кольчугу и чуть ли не лук со стрелами; он не дожил до атомных бомб, но танки и бомбовозы, кажется, еще застал. Что же однако из этого следует? Новую эру в истории начала не «экипа» Вильгельма II и не «экипа» Ленина, а «экипа» Роберта Оппенгеймера и других создателей атомной бомбы. Мы можем обойтись без смертельно надоевшей ссылки на «Apprenti sorcier», нашедшего силу, с которой он не может справиться. Человек справится и с этой силой, заставит и атомную энергию служить себе. Да она ему уже служит с июня 1952 года, когда в Америке было заложено судно (пусть пока военное) с атомным двигателем, — разве это не истинное чудо? Положение свободных стран трудное, но в процессе развития мира выиграют они. *Логически* Франция и Англия были побеждены летом 1940 года. И слава людям, которые, как Черчилль, как де Голль, этой *логике* не поверили. «Интуиция» нам говорит о неизбежности победы свободы. Не так бесполезны, как вы говорите, и Объединенные Нации. Они имеют меньше престижа, чем покойная Лига Наций, — в особенности потому, что второе представление пьесы всегда менее эффектно, чем первое. Но в общем, позиция, занятая Объединенными Нациями, правильна. Ее в газетах называют «attentisme vigoureux», — название комическое и внутренне-противоречивое — «полная воли выжидательность», что ли? Однако никакой другой позиции пока быть не может. Вы, кажется, больше верите в прогресс искусства, чем в социально-политический прогресс. Я знаю, и Алдус Хексли говорит о «мифе прогресса». «Мы прежде всего констатировали, — утверждает он, — массивное возрождение рабства в его самых скверных, бес-

человечных формах, рабство, навязанное политическим еретикам в разных диктатурах, рабство, навязанное целым классам побежденных народов и военнопленных. Мы видим всё меньшую дискриминацию в истреблении в пору военных действий, бомбардировку целых областей, бомбардировку до насыщения ракетами, атомными снарядами. Отсутствие дискриминации всё увеличивалось в пору второй войны: теперь ни одна страна даже не старается создать видимости того, будто она делает традиционное различие между гражданским населением и солдатами, между невинными и виновными: все стремятся к методическому, научному всеобщему избиению, к массовым разрушениям... Цивилизованные люди, стоящие на высоком уровне науки и техники, пускают в ход пытку, человеческую вивисекцию, обречение на голод целых народов. Есть и вынужденная миграция, миллионы мужчин, женщин и детей штыками изгоняются из своих очагов, отправляются в другие земли, где большая часть их погибнет от голода, лишений, болезней»... — Какое преувеличение! Демократии и диктатуры, видите ли, делали почти одно и то же! Как всё смешано в одну кучу и во имя чего? Что же Гексли предлагает или может предложить, кроме своей кокетливо-пессимистической книги?.. Отдаю вам справедливость, вы за его маседуан нисколько не отвечаете, но и вы имеете право критиковать демократии лишь в том случае, если вы в самом деле можете предложить какой-то разумный «картезианский» выход из кризиса. Между тем «историк 21-го столетия» до сих пор в вашем изложении что-то не упоминал о тресте мозгов — и не упоминал вполне естественно, ибо это чистая фантазия. А если б такой трест существовал в 1945 году, что он мог бы и должен был бы предложить?

А. — Разговор об этом уже довольно бесполезен: теперь не 1945-ый год, а 1953-ий, по вине и ограниченности Сталина время упущено и не вернется. В настоя-

щее время нам всем почти одинаково трудно освободиться от наслоений ненависти и отвращения, от гипноза печати, радиоаппаратов, радиокомментаторов, от парадов, громкоговорителей, — всё ведь это вообще по действию сильнее опиума. Да и правда, к несчастью, была «хуже всякой лжи». Однако, хотя злой правды было вполне достаточно и восемь лет тому назад, — тогда плохой, но сносный, в каком-то маленьком проценте «картезианский» выход еще *был* возможен. Трест мозгов мог и должен был бы сказать обеим сторонам приблизительно следующее: «Советский союз и демократии ценой неимоверных усилий победили гитлеровскую Германию. Но заключить мир вам будет не менее трудно. Между вами пропасть. По соображениям приличия, вы *еще* не можете сказать, как вы ненавидите друг друга. Скоро вы это скажете, однако, по разным причинам, и свою взаимную ненависть вы будете облекать в формы не столько даже лицемерные, сколь неумные почти до наивности. Так, коммунисты будут обвинять демократов, в особенности, конечно, американских, что ими правит Уолл-стрит, что они стремятся к войне ради разных внешних рынков, что их патриотизм пахнет нефтью, и т. д. Быть может, более глупые из коммунистов этому верят твердо; быть может, верят, хоть не так твердо, и менее глупые; эти, к тому же, в результате 35-летнего государственного опыта совершенно убеждены, что врать людям можно что угодно и как угодно, что человек совсем дурак, проглотит любой вздор, — эти и немного верят, и никак приврать не боятся: во вранье нет «слишком»... Несколько забавно тут лишь то, что с коммунистами — о, не до конца, не до конца! — но отчасти, отчасти согласны глубокомысленные западные «социологи»; они коммунистов не любят, избави Бог! — а смотреть надо «в корень», и ведь и в самом деле на глубине глубин тоже Уолл-стрит, рынки и нефть. Мы же в тресте мозгов понимаем, что суждению этих глубокомысленных социоло-

гов грош цена, что Уолл-стрит в Америке имеет весьма незначительную власть, что его вожаки ничего в политике не понимают, что они в большинстве весьма ограниченные и невежественные люди. Правда, истинная правда, что многие из них недурно наживаются на военных заказах и могли бы вначале недурно нажиться и на Третьей мировой войне; но еслиб они для этого хотели начать третью войну, то были бы, вместе с готовыми к их услугам газетами, совершенно бессильны это сделать. Война, вероятно, их бы и смела. Если эти люди войны в самом деле хотят, то разве по той же своей глупости и ограниченности. Никакие «рынки» Америке не нужны и все они вместе взятые не покроют стоимости трех дней войны. Капиталист, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не станет вкладывать в какое-либо дело (вдобавок, в дело отчаянное) миллион долларов в надежде нажить двадцать пять сентов.

Л. — И вы еще говорите о чужой «наивности»! Ваш трест мозгов, очевидно, это генерал Фуллер — наоборот.

А. — Столь же наивны и попытки западных государственных людей приписать советскому правительству какие-то «панславистские цели», погоню за «стратегическими границами» и «неприступными Кенигсбергами», «продолжение политики царей» и т. п. В пору обгоняющих звук аэропланов граница на Одере ничем не лучше и не хуже любой другой черты на карте Европы. В Москве сидят точно такие же «панслависты», как в Вашингтоне или в Мельбурне. Цари тут совершенно ни при чём, всё это такой же вздор, как несуществующее «завещание Петра Великого». Да еслиб это и не было вздором, то это не стоило бы одной «термонуклеарной» бомбардировки, — люди ведь научились называть звучными учеными словами нечто невообразимое по ужасу, какой-то Апокалипсис в кубе. Зачем же, — мог бы спросить трест, — зачем употреблять словесность наивную, или лицемерную, или лжи-

вую, когда было бы так просто сказать: весь конфликт в том, какому быть строю в мире.

Л. — Да так очень часто и говорят, тут нет ничего ни нового, ни картезианского. Неужто не больше оригинальности было бы и в предложении вашего треста мозгов?

А. — Каждая из сторон, образовавшихся в 1945 году, была и остается искренно убежденной, что ее политический строй много выше социально-политического строя другой стороны. И обе стороны понимают, с каким чудовищным риском для них связана новая война. Тут не только риск личный. Конечно, главари победителей отправят на эшафот главарей побежденных. Однако, надо отдать должное государственным деятелям нашего времени: они в большинстве люди лично не трусливые. Дело идет о риске неизмеримо более общем. Что могла бы дать война Соединенным Штатам и в случае полной победы? Ровно ничего, кроме разрушений и разоружения, которое ведь так невыгодно и убийственно для людей Уолл-стрит...

Л. — Зато коммунистам полная победа дала бы власть над миром.

А. — Над миром? Над тем, что от него останется после водородной войны. Над тем, в частности, что останется от России, от русских городов, от русских промышленных центров, от Днепростроев и «комбинатов». Трест мозгов мог бы предложить *настоящее* соглашение...

Л. — Согласитесь, что и это предложение не блистало бы оригинальностью! Да кто только соглашения ни предлагал?

А. — Вы не даете мне досказать мою мысль. Предложение треста сводилось бы к тяжелому социальному опыту, свободному от «дружеских чувств», «искрен-

ности» и «неискренности», от «мы хотим мира, но не боимся войны» и т. п. Трест сказал бы, что вопрос о преимуществах одного социального строя перед другим не может быть разрешен войной, но при известных условиях может быть разрешен миром или, скажем скромнее, перемирием на двадцать лет. В течение этого времени обе стороны будут работать в условиях спокойствия и безопасности. Результаты, вероятно, скажутся сами собой и станет ясно, какой строй «выше». Конечно, морально-политические аксиомы останутся разные, не очень сблизятся духовные ценности, но по крайней мере можно будет сравнивать цифры производства, знаки материального благосостояния; с гораздо большей осторожностью в оценке можно будет даже сравнивать внешние признаки культуры, число, если не качество, школ, книг, лабораторий. Можно будет, без цифр, сравнивать даже степень оглупения народов. Опыт, как говорится, будет «показателен». После него и произойдет выбор.

Л. — Неужели вы говорите серьезно? Разоружение и передышку западные державы и без того предлагали Сталину неоднократно. Да и какой выбор будет произведен по окончании «опыта»? Кем он будет произведен и каким способом? Кроме того, цифры ровно ничего тут дать не могут. Говорю как человек точной науки: для того, чтобы опыт сравнения был «показателен», надо исходить из совершенно одинаковых положений. Скажем грубо: одному из двух одинаковых щенков впрыскивают такое-то вещество, другому не впрыскивают, — кто будет жить дольше, кто будет чувствовать себя лучше, кто будет весить больше? Это убедительный опыт. Но если взять для опыта щенка и старую собаку, то он докажет немногое. Что же вы предлагаете? Ясно, что западноевропейские державы выпадают сами собой, просто как маленькие страны, в результате закона больших чисел; они собственно уже начинают выходить из игры или да-

же вышли. Остаются два гиганта, обладающие приблизительно одинаковым населением и одинаковыми естественными богатствами: Россия и Соединенные Штаты. Но тут я поневоле должен выступить в никак не свойственной мне роли защитника коммунистического строя: разве отправные пункты тождественны? Россия до революции в экономическом отношении отставала от Америки — не говорю «на столетие», как иногда утверждают, но лет на двадцать пять. В 1945 году она была разорена войной и ее чудовищными разрушениями. Америка же от войны пострадала очень мало. Как же было бы сравнивать результаты вашего опыта! Для его «убедительности» было бы необходимо уравнять отправные пункты.

А. — Ваше утверждение справедливо. Поэтому коммунистическое правительство могло бы в 1945 году потребовать постепенного предоставления ему, и не в кредит, а в дар, немалого числа миллиардов деньгами и товарами для восстановления разрушенного немцами, для некоторого «уравнения отправных пунктов».

Л. — Это уже не маниловщина, а сверх-маниловщина, иначе и назвать нельзя. Неужели вы думаете, что американцы дали бы хотя грош Сталину на производство опыта, который имел бы целью доказать нелепость американского экономического строя?

А. — Вы забываете, что я говорю о 1945 годе. Тогда Польша, Чехословакия, некоторые другие чужие земли еще не были захвачены большевиками, внутри советское правительство проявляло «внимание» к церкви, награждало воинов орденами Суворова и Кутузова. Я жил тогда в Нью-Йорке и могу вас уверить, что тотчас после общей победы настроение в Соединенных Штатах было совсем не такое, как теперь. Признаться, я и тогда не понимал, и по сей день не понимаю, почему Сталин не

использовал того момента для многомиллиардного «займа» или подарка. Очень скоро он обманул во всем другом; мог заодно, получив деньги и товары, обмануть и в этом. Но ведь мы говорим не о Сталине, а о тресте мозгов. По-моему, в ту пору соответственное предложение треста имело бы очень много шансов на успех, по самым разным причинам. Оно отвечало бы чувству fair play, столь свойственному англо-саксам. Оно отвечало бы и их спортивным инстинктам. Они были бы уверены, что выиграют в состязании (и были бы правы): все американцы, кроме негров, снобов, попутчиков и, пожалуй, нескольких разочарованных писателей, совершенно убеждены в превосходстве северо-американского образа жизни над всеми другими. Кроме того американцы, повторяю, самый щедрый народ на свете. Им прекрасно известно, что миллиарды, которые они сейчас раздают кому угодно, никогда им не будут возвращены, как не были возвращены миллиарды, розданные ими во время первой войны и после нее; они сами давно об этом забыли: ведь слово «заем» понемногу превращается в эвфемизм. Это предложение обеспечило бы мир, а мира еще теперь страстно желают девяносто девять из ста американцев; тогда же желали все сто. «Займы» советской России с избытком покрывались бы сокращением расходов на вооружение, хотя тогда в Соединенных Штатах никто не мог думать, что их военный бюджет будет в мирное время составлять десятки миллиардов в год. По сравнению с расходами третьей войны эти «займы» вообще ничего не означали бы. Сторонниками «картезианского» решения были бы самые разные группы: интеллигенция по понятным причинам, пятая колонна по приказу из Москвы, «четыреста семейств» и деловые круги в естественной надежде нажить много денег на огромных московских заказах. И, наконец, отказ от такого предложения был бы незаменимым козырем для коммунистической пропаганды в мире.

Л. — Кто же помешал бы тогда Сталину заключить договор, взять деньги, а затем вести его нынешнюю политику?

А. — Я вам сказал, что деньги и товары должны были бы отпускаться постепенно. Разоружение проводилось бы под тщательным контролем. Я, впрочем, нисколько от себя не скрываю, что, по общему правилу, чем разумнее идея, тем меньше она имеет шансов на успех в мире. По общему правилу, картезианские решения разумны, необходимы — и невозможны. Но и «общим правилам» рано или поздно приходит конец. Последним же доводом в пользу «картезианского договора» было бы то, что всё остальное испробовано, привело к тупику и, вероятно, приведет к войне и к общему хиросимскому миропониманию.

Л. — Я еще кое-как, с очень большой натяжкой, мог бы понять вас, еслиб речь шла о договоре с Лениным — его ваш план еще мог бы немного заинтересовать: он был теоретик и, как вы правильно указали, «экспериментатор». В этом смысле была большая разница между ним и Сталиным. Ленин был интеллигент с некоторыми чертами гангстера. Сталин был гангстер с некоторыми чертами интеллигента. Помимо всего прочего, договор, заключенный со Сталиным, не имел бы ровно никакой цены.

А. — В отношении «договоров» я иду гораздо дальше вас: считают пактоманию одним из трагикомических особенностей нашей эры. Помните ли вы, что по договору Юнга, Германия после первой мировой войны обязалась платить победителям ежегодно, вплоть до 1985 года, по триста миллионов долларов. Пожалуйста, не забудьте и того, что вторая мировая война была строжайше запрещена в 1928 году «пактом Бриана-Келлога». К некоторому моему меланхолическому удовлетворению, я в одной из главных библиотек мира насчитал тридцать шесть ученых работ об этом «пакте». Они не стоят бумаги, на

которой напечатаны. Договоры в истории выполняются до тех пор, пока их выполнять выгодно. Тоталитарные правительства выполняли один договор из ста, а демократические, примерно, один из пяти...

Л. — Нет ничего хуже произвольной статистики. «Один из пяти»!

А. — Эта статистика не произвольна. Вспомните о Лиге Наций, о Малой Антанте, об экономических санкциях против Италии в пору войны в Абиссинии, о договоре Лаваля с Хором, о союзе с Чехословакией, об обязательстве не заключать сепаратного перемирия, о долгах Америке, о внутренних долгах... У меня хранится небольшая коллекция разных ассигнаций, выпущенных самыми надежными историческими банками мира: Русским Государственным, Английским, Французским, Федеральным Резервным. На этих ассигнациях черным по белому, или по зеленому, напечатано, что они в любую минуту могут быть разменены на золото. Следовало бы к этой коллекции присоединить еще облигации разных европейских надежнейших займов, внутренних и внешних... Казанова в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды в Лондоне, на вечере у какой-то британской аристократки, он проиграл в карты некоторую сумму и тотчас заплатил ее золотой монетой. После окончания игры хозяйка дома отвела его в сторону и мягко сказала ему, что по простительному иностранцам незнанию английских обычаев, он совершил маленькую неловкость: ведь уплата *золотом* косвенно как бы означает недоверие к ассигнациям Английского банка. О, счастливое время старой капиталистической эры! Тогда была аксиома, вроде Эвклидовских: государства честно платят долги. Начиная с 1914 года, Лобачевские и Риманы разных казначейств наглядно показали, что эта аксиома отнюдь не обязательна, и пустили по миру миллионы людей. Но мой «скептицизм» не относится к настоящему

случаю именно потому, что всем было бы *выгодно* соблюдать проблематический договор, о котором мы говорили... Очень может быть, что теперь капиталистический строй трещит по всем швам. Все же трещины заколачиваются, повреждения чинятся, и от того, хорошо ли и быстро ли будут чиниться повреждения, зависит судьба демократического строя. Трест мозгов и предлагал бы такие починки.

Л. — Вы сами признаете, что в настоящее время поздно было бы выступать с предложением, бывшим, по-вашему, осуществимым в 1945 году. Что же ваш Трест предложил бы теперь?

А. — Это зависело бы от мировой обстановки. Но, по-моему, весьма сомнительно, чтобы она еще раз стала столь же благоприятной, как была в 1945 году. По всей вероятности, после всего того, что было в последние восемь лет, на разумные выходы из кризиса шансов очень мало. Теперь надежду на них действительно можно назвать «сверхманиловщиной», — за чтó вина лежит, разумеется, на Сталине. Если я отнял у вас время этой экскурсией в сослагательное наклонение, то лишь для того, чтобы представить вам теоретическую возможность сколько-нибудь «картезианских» выходов из очень трудных положений.

Л. — Я и с этим согласиться не могу. Какой же тут был бы «картезианский» выход! Понимаете ли вы, ч т ó означала бы для населения России ваше двадцатилетнее «перемирие»? Оно означало бы для него дальнейшее рабство, дальнейшее существование концентрационных лагерей с миллионами ни в чём неповинных заключенных. Как русский, я этого выхода не приемлю, хотя бы он был и ультра-картезианским! О нем очень легко и приятно говорить, находясь в условиях свободной жизни, но никак не на месте, не у нас дома.

А. — Это самый сильный довод из всех приведенных вами, — самый сильный и самый болезненный. Однако, что же *вы* предлагаете взамен этого? Единственная альтернатива — новая мировая война. Вы предлагаете войну, вы хотите войны? Тогда скажите это прямо, и я объясню ваше настроение тем, что вы, по недостатку воображения, не можете себе представить будущую войну водородных бомб. Одно, думаю, можно предвидеть почти с уверенностью: миллионы людей в советских концентрационных лагерях, в случае войны, погибнут поголовно, так как их будут посылать на работы по восстановлению промышленных центров в места, отравленные излучениями термо-нуклеарных снарядов. Вдобавок, я могу обратить этот довод и против вас: очень легко, выйдя из призывного возраста, находясь в тылу, проповедывать войну за освобождение России и таким образом отправлять на смерть десятки миллионов людей всех национальностей, да еще с результатами весьма проблематическими... Повторяю, я знаю и чувствую силу вашего довода. Он имеет и еще одну сторону: процесс развращения народной души, народного ума пока неизменно идет в России. Жорес когда-то воскликнул: «Я не хочу, чтобы в наследство социализму достался от капиталистов слишком развращенный мир!» Без всякого отношения к социализму и капитализму, мы с вами могли бы сказать нечто сходное: вдруг в наследство преемникам коммунистов, кто бы эти преемники ни были, достанется нечто уже непоправимое?

Л. — Я этого никак не думаю. Но если вы так думаете, то не понимаю, как вы решаетесь говорить о картезианской перспективе!

А. — Решаюсь единственно потому, что, скажу еще раз, альтернатива — это третья мировая война с десятками и сотнями Хирошим, притом преимущественно русских. Иными словами, мне оставалось бы лишь то, что покойный профессор Лапшин правильно называл «*фик-*

цией абсолютного скептицизма». Добавлю, и беспросветного пессимизма.

Л. — Немцы говорят: «Лучше конец с ужасом, чем ужас без конца».

А. — Это далеко не всегда так, и то, что кажется концом ужаса, часто оказывается его продолжением. В политике картезианское начало может сводиться только к умению выбирать меньшее зло. Так думали, впрочем, и многие «не-картезианские» государственные люди. Кардинал де Ретц говорил, что Ришелье обладал в высшей степени драгоценным для министра свойством: «умением отличать плохое от худшего, хорошее от лучшего»... Мне всё-таки жаль, что мы заканчиваем *политикой* наши беседы об Ульмской ночи. Я принял эту тему, так как *вы* пожелали сделать необязательные политические выводы из тех идей, о которых мы так долго говорили. Вы верно еще спросите, имею ли я по-настоящему надежду на создание треста мозгов? В ближайшем будущем — не имею. Но думаю, что человечество к нему придет ценой еще других страшных уроков. Вы говорили, что американский Верховный суд исходит из чего-то вполне определенного, из законов Соединенных Штатов, и ставите вопрос: из чего же исходил бы проблематический трест? Ответ ясен: он исходил бы из принципа «красоты-добра», вел бы людей к установлению — не на вечные времена — куда уж! — к установлению общих аксиом или к их ревалоризации, в целях борьбы с мрачными явлениями царства случая. Это соответствовало бы тому, что я называю духом Ульмской ночи.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.
85

Цена: $2.75

